

1989 № 7 (31)  
ИЮЛЬ

# РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА, ПОЕЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,



# РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС  
(главный редактор)  
ЯНИС АБОЛТИНЬШ  
ВИЛНИС БИРИНЬШ  
(ответственный секретарь)  
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС  
ГУНТАРС ГОДИНЬШ  
(редактор отдела)  
МАРИС ГРИНЬЛАТС  
ЭДВИНС ИНКЕНС  
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ  
(заместитель главного редактора)  
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ  
ПЕТЕРИС КРИЛОВС  
ЮРИС КРОНБЕРГС  
АНДРЕЙ ЛЕВКИН  
(редактор отдела)  
ЯНИС ПЕТЕРС  
БАЙБА СТАШАНЕ  
АДОЛЬФ ШАПИРО  
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС  
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

## РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА  
РУДИТЕ КАЛПИНЯ  
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА  
НОРМУНДС НАУМАНИС  
ЭВА РУБЕНЕ

## КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

## КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

## КОРРЕКТОР

НАДЕЖДА РЯБОВА

## ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

Сдано в набор 10.05.89. Подписано в печать 14.06.89. ЯТ 00137. Формат 60×90/8. Офсетная бумага № 1, 2. Офсетная печать. 10+0,5 усл. печ. л., 24,5 уч. л. отт., 14,8 уч.-изд. л. Тираж 143 000 (на латышском языке 100 000, на русском языке 43 000). Номер заказа 875. Цена 50 коп. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 226081, РИГА, БАЛАСТА ДАМБИС, 3. ДБОНЕНТНЫЙ ЯЩИК 35. ТЕЛЕФОНЫ: гл. редактор 224166; зам. гл. редактора 224100; отв. секретарь, техн. редактор 225654; редактор отделов прозы, поэзии, культуры, публицистики 229743; консультант прозы и поэзии 227208; художник 210030. Отпечатано в типографии Издательства ЦК КП Латвии, 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Редакция приносит читателям свои извинения за допущенные в № 6 ошибки.

1. Стр. 71. «Армия Латвийской Республики к 1940 году не превышала 20 000 человек». По сведениям британских военных наблюдателей, командование советских вооруженных сил ввело в Латвию около 200 000 военнослужащих, . . . — в тексте указана цифра 20 000.

2. Стр. 58. Второй столбец примечаний «ересь огосударствления» — в тексте «версия . . .».

3. Работа С. Л. Франка «Ересь утопизма» опубликована в 1946 г. — в тексте не указано.

## ЛИТЕРАТУРА

Лиените Медне, Владис Спаре,  
Юрис Звиргздиньш. «Ода комарам» (1)  
Анатол Имерманис. Стихи (6)  
Айварс Озолиньш. «Граненый стол» (9)  
Петр Потемкин. Стихи (13)  
Андрей Тарковский. «Гофманиана» (16)

## КУЛЬТУРА

Янис Тамужс: « . . . Так родились  
мои рисунки» (30)  
Александрс Кирштейнс. «Воспоминания  
о будущем» (39)  
Лайма Жихаре. «Нет пророка  
в своем отечестве» (42)  
Ежи Гротовский. «Странствование к Театру  
Истоков» (47)

## ПУБЛИЦИСТИКА

Юозас Урбшис. «Литва в годы суровых  
испытаний. 1939—1940» (52)  
Эйн Рэнд. «Природа государства» (55)  
Андрейс Краулиньш. «Входите,  
Иосиф Виссарионович ждет вас . . .» (58)  
Б. П. Вышеславцев. «Многообразие свободы  
в поэзии Пушкина» (64)

## ЛИТЕРАТУРА

Монта Крома. Стихи (72)  
М. Агеев. «Роман с кокаином» (74)

ЛИЕНИТЕ МЕДНЕ, ВЛАДИС СПАРЕ, ЮРИС ЗВИРГЗДИНЬШ

## ОДА КОМАРАМ

РОМАН

Загремел барабан, Апинитис, сально — подобно пожившему сатиру — прихихкивая, кружил вокруг Роландса, волоча за собой запыхавшуюся Мощную Дарту. Стянув с головы платочек и подбоченившись, плыла за ними когдатощняя примадонна улицы Дзирнаву, высшего разряда девица для удовольствий Нежная Мице — беззубый рот коварно усмехался, вспоминая, как в былые годы сновали меж ее стройных ножек оплывшие тела министров и директоров банков, а какой-то бедный студент оставил там стипендию фонда Культуры, предназначенную для поездки в Париж, в Италию — обучаться у великого Джотто, а ничего, и так выучился — бродя вдоль Рижского залива и малюя черные рыбацкие лодки и сохнувшие сети, еще и теперь в музее на почетном месте — национальное своеобразие, наша, собственная школа! Меж ее обширных, округлых грудей рыдали полковники, кавалеры ордена Лачплесиса, те, что в Тирельских болотах, те, что позже за независимую и единственную, за святую Латвию, те, которые в Литене, в зондеркомандах и в легионе, те, кто остался в предместьях Берлина, те, кто в лесах, обросшие вшами, англичан — их алые паруса ожидая — застрелившиеся, а до того — пусть дрожат красные! — утопившие в проруби пионервожатую, девчонку-подростка, развевались подо льдом соломенные косички.

Ах, Мице, меня никто не любит, рыдали у нее на груди. Я люблю, люблю тебя, малыш, говорила она всем и смеялась, громко и отчаянно, чтобы скрыть слезы и ожидания услышать хоть раз в жизни эти единственные слова... Но все они хотели только брать, сотнями и сотнями кружились вокруг нее, получали свое и, торопясь, не оглянувшись, уходили утром.

К танцующим присоединились остальные, круг становился все теснее, громыхал барабан, усаженный на кресло Ван Ли душевно дул в свою дудочку; Гризинькалнский Казимир, усевшись на подоконник, подражал гармошке; «Жаннет, Жаннет, Жаннет» — жалостливо присоединился бывший католик, а теперь адвентист Седьмого дня Доминик из Латгалии. Толпа втащила в себя Петериса, Николавса и Йоргена, объединила с остальными в вихорчатом вихре, подобно щепкам они крутились по течению, вместе с пронзительными звуками дудочки натянулись на стены и отскакивали обратно, омут кипел и затягивал

в бездну, все вокруг плясало и удваивалось, пол скрипел, дрожали стены, над головами качалась, дребезжа цепью, люстра...

Как яичная скорлупа, хрустя, под ногами рассыпался гроб, остатки его сунули в нишу, рядом с Руутой, та — слезы затуманили глаза, платочек проплакан насквозь, она торопится, площадь, толпа, плевки, хула и поношения, ее волокут на костер, языки пламени лижут ноги, страдает тело, но дух свободен, он отлетает в небеса, звучат колокола, мир, голубка на плече, барашек подле ног, дите сосет грудь, над головой золотое свечение и полки ангелов, дребезжит звонок, с ребенком на руках бежит сквозь пепелища, опрокинутые телеги, танки, пушки, трупы, вот-вот рухнут небеса и тысячи пульсов сольются тогда в один и остановятся разом, тишина, восклицательный знак над горизонтом превращается в вопросительный — что, атом расщепили? И продемонстрируют всему миру? И миру — точка? В голове гудят колокола, воют полицейские сирены, в черной кожаной куртке, с обнаженной грудью, с автоматом в руках она стоит на баррикадах, сеет смерть во имя свободы, колокола звучат все глуше, темп ускоряется, жизнь как взбесившийся океан, как волны, прилив и отлив, волна за волной...

Где-то в самом центре, в вихре над Роландсом, высоко над колышавшейся толпой раздался голос Апинитиса:

— Любовь сильнее смерти! Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте!

Роландс, открыв глаза, видит склонившуюся над ним взлохмаченную ведьму, которая своим слабым ростом заслоняет его от танцующих, протянутые руки зовут к себе Роландса, и тот на четвереньках, как ползунок, утыкается головой в выцветшую ситцевую юбку и плачет:

— Меня никто не любит... Никто... не любит...

— Я люблю, люблю тебя, малыш, — сквозь громыхание барабана и шарканье ног едва слышно, как зудение утомленного долгим солнечным днем комара, доносится шепот и дрожащая рука ласково гладит затылок. — Только... что уж теперь... Я стара, как мир, и седа, как рождественская елка, старая заезженная кляча, которую давно пора на живодерню, а ты еще молодой и ладный жеребчик — вон какая у тебя курчавая челка — ты еще далеко проскачешь. На Стекланную гору взберешься и спустишься, будет у тебя еще своя Джульетта... у тебя их будет сотня... тысяча Джульетт, и, только поманишь ми-

зинчиком, они все прибегают и разденутся перед тобой и ты выберешь ту, которую пожелаешь. А если захочешь они станцуют тебе танец живота. Ты видел настоящий танец живота тех лет?

— Да, танец живота мне положен, — Роландс приподнял голову. — Мне он полагается по положению... Да, я в таком положении, я в положении...

— Танец живота! — втиснулся Зальцманис.

— Ангел светлый, скинь покровы! — сложив руки по-пасторски, серьезно глядел покрасневший в результате многочисленных стаканчиков вина Апинитис. И добавил — Порукс.

Взбодренные сумасшедшим танцем, старушки в упоении аплодировали, старики топали и стучали тростями. Обождав, пока возня и аплодисменты поутихнут, Апинитис подмигнул Йоргену и, как школьник, одним махом выпалил:

— Романтично на диване лежит дама вверх ногами.

— Тоже Порукс, — пробурчал он вполне удовлетворенный.

Руута в темноте густо покраснела, как же так, Апинитис, ее Апинитис и такие гадости! А Йорген?! Рычит так, что заходится и все пихает локтем в бок стоящую рядом тетку, а та уже сама смеется, только немного стыдливо, отвернувшись и нервно то зашелкнет, то отшелкнет замочек парчовой театральной сумочки.

— Ты... ты... Для тебя нет ничего святого! — закричал Петерис и плюнул в лицо Апинитису, но от перевозбуждения плевков пролетел хорошо если сантиметров десять, так что шлепнулся на пол возле ног самого Петериса.

Никлавс смеялся от души, однако с некоторым оттенком осознания запретности — свойственным настоящим интеллигентам.

— Кончай дергаться, Петерис, — выдохнул он сквозь смех. — Это тоже поэзия, вспомни хотя бы Рабле, карнавальность, Бахтина...

Петерис уничижающе отмахнулся.

— Но понравилось и мне и тебе! — Никлавс повторил только что услышанную строчку. — Да, я свинья и ничто свиное мне не чуждо. И ты тоже свинья, только лицемерная! Пуританская свинья...

Он подошел к Апинитису и крепко пожал его руку.

— И мне и всем понравилось, — сказал он серьезно. — Ты большой актер, Апинитис! И другу моему понравилось, только он считает, что это не Порукс. Ему кажется, что Райнис.

— Райнис, — бормотал Петерис. — Райнис и Аспазия одновременно. Монолог Маленького принца. Антуан де Сент-Экзюпери. Свиньи, дерьмо...

— Но всякое дерьмо достойно стать искусством, и всякое искусство всего-то лишь дерьмо. О том изрек Рабле могучий и это подтвердил Бодлер! Маркиз де Сад того же мнения, а с ними — я, о, вне сомненья, слуга покорный ваш, лицо который должен утирать, поскольку плюнула в него тратата блядь, — продекламировал Апинитис, вытирая лицо рукавом фланелевой рубашки.

Аплодисменты наполнили зал, привели в движение громадные хрустальные подвески люстры и их звон, как небесный, осыпал толпу, чествовавшую неизвестного автора и своего великого актера Апинитиса.

### VIII

Двери залы распахнулись, и в них, влекомый двумя брадатými мужами, подталкиваемый хрупкой блондиночкой, въехал броневик, нет! — Никлавс потряс бородой. — Болотная черепаха?! Глупости, у той же нет колес! А труба-то зачем? Вьется над трубой дымок, пивко стряпает хорек? Запах-то основательный, серьезно воняет.

Йорген глазом знатока оценил устройство, зеленоваторжавые бока которого — местами проржавевшие — были украшены изысканными готическими буквами, в сумме сообщавшими, что сие есмь полевая кухня времен первой мировой, изначально принадлежавшая не то Германии, не то Австро-Венгрии, так что и сам Швейк с котелком в руках

имел шанс войти в отношения с данной реликвией — прошедшей сквозь галицийские степи и через Карпаты; пережив кутерьму дурацких наступлений и еще более дурацких отступлений, она оказалась погруженной в поезд, доехала до Риги, какое-то время стояла возле теперешнего Художественного музея, сподобилась увидеть последнего из Гогенцоллеров — Вильгельма II; через старый Любекский мост была увезена в Лиенау, и из нее там была предоставлена тарелка чечевичной похлебки самому Андриевсу Ниедре, латышскому «патриоту», который — чечевичную похлебку хлеба — раздумывал о том, как эти вещи делались; собирая материал для проповедей и воспоминаний предателя родины; качаясь на волнах истории, вновь была сорвана с места и оказалась на углу старого Елгавского шоссе и улицы Коку, где кормила всю Западнорусскую армию, собранную фон дер Гольцем и двинским капельмейстером Бермонтом, себя — вот ведь дурачина! — именовавшим князем Аваловым: пока всем глупостям последнего не был положен конец, и тогда — уже изрядно полекшая — через всю Земгале, мимо Елгавы и Рундале, к литовцам, а там — брошена, заросла чертополохом и мать-и-мачехой возле хутора Цизари, рядом с кирпичным заводиком на берегу Лиелупе; с окончанием войны, когда каждый гвоздь был на счету, ее обнаружили в болоте и, раздражая топку торфом, гнали из сахарной свеклы самогон: ну, разумеется, конфискация и три года простояла, снабженная инвентарным номером, вещественным доказательством, а потом попала в колхоз, который за два грузовика суперфосфата отдал ее Рижской киностудии, собиравшейся как раз подменить москвичей в создании следующих за семнадцать мгновений весны, так что сам Штирлиц мог бы показаться в кадре на ее фоне, да вот директора киностудии, с целью улучшения дел на Рижской киностудии и усиления производства высокохудожественных фильмов, министерским приказом перевели в Министерство соцобеспечения, на прощание и для успокоения ему устроили небольшую отвальную с преподнесением небольшого памятного подарка, и вот, на третий вечер прощания, перевязанный голубой лентой, по ясеневой аллее, актерами и техническим персоналом влекомый и подталкиваемый, подарок вкатывает в замок, юбиляру целуют щеки, жмут руку, качают, три раза подкидывают — два ловят, с почетом тут же и хоронят, а перевязанную лентой полевую кухню вносят в реестр, украшают новым инвентарным номером и предоставляют работу по профессии... И работает же!

Тонкой струйкой дым вытекал из закопченной трубы, распространяя по помещению ядовитый, перемешивающийся с ароматами подгоревшей, сваренной на воде ячки, запах.

Апинитис внезапно поблек, стал почти на пядь ниже и с ненавистью во взоре обернулся в сторону вошедших: улыбающегося завклубом, уже успевшего отчитать свою бороду от пятнышек красной краски; седоватого и горбоногого санитара, одновременно исполнявшего и обязанности повара; завхоза, которая, сжав тонкие губы, держала в руке громадную, смахивающую на ковш, поварешку.

— Финита ла комедия! — выдохнул Апинитис с глубоким сожалением и, повернувшись, засунул в нагрудный карман Роландса обе золотые, блестящие монетки.

Комедия? Роландс насторожился. Театр. Ну, разумеется, театр (гр. theatron) — дом, где происходят т-ные представления: в широком смысле — все, что связано с драматическим искусством... *Latviešu konversācijas vārdnīca, XXI sējums\**. Но это и так было ясно, и Роландс взглянул вверх, на люстру, подвески которой мерцали столь же ярко и загадочно, как перед спектаклем в Опере, где он с высоким чувством ответственности избрал слугу, получая три рубля шестьдесят копеек за пятиминутное держание факела, но главный режиссер — вот дурак так дурак! — заменил его другим рабочим сцены после того, как Роландс, по завершению первого же спектакля, вышел на поклон и простоял все время рядом

\* Латышский энциклопедический словарь, XXI том.

с ведущим тенором, кланяясь еще и после того, как все остальные покинули сцену, а в зале не осталось ни единого человека.

— Почему нам не сменяют котел? — сказал из-за спин фельдшер. — Это свинство! Это против санитарных норм, против правил Красного креста, Красного полумесяца и Красного льва!

— В супе черви! В супе черви! — хлопали в ладоши старики.

— Сами кровяную колбасу жрут, маргарин лопают, и повидло! — гомонили старушки.

— Мы протестуем! — громче всех кричал Залцманис. — Кто мы вам, в конце-концов? Люди или нет? Уже и гробы со станции сам вози и могилу себе, что — тоже сам копай?!

— Протестуем, протестуем! — с новыми силами присоединились старушки.

— Спокойно, только спокойно! — санитар сдвинул на ухо заляпанный поварской колпак, он что, разве против? нет же, эх, дали бы волю, он бы стариков такими бы яствами потчевал бы! свиное жаркое, карп, припущенный в молоке, трехэтажные торты — пусть едят и радуются, так нет же! Не позволяют, денег нет! Это завхоз разве? Жаркое не предусмотрено! Это ж черт знает что, Плюшкин в юбке, купец Моляеровский... Он раздраженно высморкался.

— Прошу вас! — нервно улыбнулась завхоз. — Вы же хорошо знаете, что администрация неоднократно обращалась в вышестоящие инстанции! Но у государства нет денег. Когда денежки появятся, у вас будет новый котел! В следующей пятилетке выделят фонды... а что касается кровяной колбасы, то это ложь.

— Нищенский приют, а не государство! Какое нам дело до ваших фондов! — неугоманивался Залцманис. — Мы отказываемся есть из котла, в котором гитлеровцы сварили партизана!

— Это противоречит санитарным нормам! — упер руку в бок фельдшер. — Это каннибализм!

— Кусок в горле застревает... — шлепала губами Толстая Анна.

— Вам привиделось! — незабудковые глаза завхоза сверкнули решительно. — Нет и не было никакого партизана! Никого вообще в этом котле не варили. Это все голоса вредителей и классовых врагов. Шепчутся только по углам и клеветят! А маргарин я, между прочим, вообще не ем, у меня от него изжога, кровяную колбасу стянул Тенис, а повидло перегнали на самогон ваши милые Владис и Юрис, в распитии же принимали участие и товарищ Залцманис и фельдшер Валфридсонс, вот так вот! В Красном уголке!

Зал мрачно молчал — еще прикажет вывалить кашу свиньям, отправит спать не евши, объявит карантин, отправит служить в армию, в Сибирь сошлет, мало ли...

На этот раз бунт был подавлен мирным путем, можно было приглушить строгостью, чистая психология. Лиените с признательностью помянула «Психологию толпы» ле Бона, завтра надо будет отправить Юриса в пункт приема утиля со списанными матрацами, а Владиса — с остатками библиотеки — в пункт приема макулатуры, на заработанные деньги и талоны удастся, может быть, купить «Государя» Макиавелли, и тогда настанет мир в доме, полная утопия...

— Ну, — мило улыбнулась она, — идите же есть! Последний разик. Завтра поеду в центр, и мы получим этот котел, вот увидите, а теперь идите, а то остынет...

Лиените вывалила на тарелку скользкий комок каши и — ободрав — протянула тарелку Хромой Илзите. Та, словно спрашивая разрешение, посмотрела на остальных.

— Но тогда мы сдвинем столы! — воинственно распрямылся Апинитис.

— Сдвигайте, сдвигайте! — завхоз дружелюбно помахала поварешкой.

Старики кинулись переставлять разноцветные пластиковые столы, а Хромая Илзита облегченно вздохнула, взяла тарелку в дрожащие руки и села на дальний конец стола-змеи.

Возле котла быстро возникла очередь.

— И вот так все время, — Залцманис пристроился в конец. — Только обещания и ничего больше.

— Санитарные нормы... — вставил фельдшер.

— Да что ты все про эти нормы! — прервала его Тучная Эмма. — Не сожрали бы повидло, было бы чем кашу заправить!

— Куда ты денешься, когда в животе ветер гуляет, — грустно покачал головой Атиньш Барабанщик.

— Ох, времена, времена... — согласилась Хорошенькая Марта.

Лиените ловко распределяла кашу, привычными движениями раскидывая ту по шербатым тарелкам и алюминиевым мискам.

— А в мертвеца зачем опять играть? — укоризненно осведомился Юрис Сумасброд у получавшего свою порцию Апинитиса.

— А как хочу, так и отдыхаю! — гордо отрезал Апинитис. — Иначе тут в самом деле от скуки подохнешь. И еще неизвестно, что сам бы делал, если бы тебе живому гроб подарили?

— Ну, уж не ломал бы, во всяком случае, — рассудительно ответил Юрис Сумасброд. — Списать будет трудно...

— Ах вот как! Списать! А мы — уже списаны! Смотряка, о чем беспокоится! — Апинитис зло замаха руками, миска перевернулась, на пол плюхнулся комок жидкой каши. — И вообще, это был мой гроб! Хочу — ломаю, не хочу — не ломаю! Если что, то гроб мне и не нужен, и вообще, я и тебя еще переживу! До коммунизма доживу, у меня нутро крепкое! Котел бы лучше достали!

Йорген выставил на стол полуопустошенные ведра с вином, и санитар, принявшись, одобрительно и с интересом взглянул на кучку гостей.

— Инструкцией не предусматривается присутствие посторонних в пансионате, — сказал он все же, но рука с кружкой уже сама тянулась к ведру, зачерпнула, поднесла вино к губам и, с каждым глотком, размывала косные фразы инструкций. Ему-то, в конце-концов, что! — Юрис Сумасброд распробовал вино, напиток был правильный: «Агдам», еще глоточек и еще — ну что ему, латышскому парню, все эти инструкции! Еще точку... Юрис Сумасброд уже в Риме, на вершине Олимпа, э, да что там — на Александровской высотке\*, лишь оттуда — Гайзинькалнс низковат! — можно бросить взгляд через Атлантику, увидеть всех этих эксплуататоров, живодеров, Рокфеллеров, Хьюзов и Хантов, а среди остальных, и Зельду — сбежавшую в Америку предательницу-жену! Да пусть бежит куда хочет, волк ее задери! Но она, дрянь такая, забирает с собой и сердце и ум Юриса. С сердцем-то обошлось, она его раз — и через борт, впрочем, не сразу — уже где-то в Карибском море. А сердце не ребенок маленький, крутится кругами как бутылка с красным вином по Гольфстриму, идут годы, доплывает до Балтийского моря, вот и залив, и уже ближе к осени, когда первые заморозки себреят траву, выплескивается на берег, прямо к ногам Юриса... А ему что остается, поднимает сердце, обтирает обшлагом и вставляет в грудь на место. Еще бы и умишко до дому добрался, но нет, жена умишко в море не выкинет: одна голова умна, а две — умнее! Умишко жене в Америке самой пригодится, бизнес осуществлять, с Рокфеллерами да Хантами! Но Юрис особенно не расстраивается, уж обойдется как-нибудь! Где те умники, где те безумцы? Наклони голову, прислушайся к голосу сердца, а тот шепчет: иди-ка, говорит, работай в нищенский приют, санитаром, для остальных-то ты слишком безумен. Ну, раз так, что поделаешь, слушаюсь! И что, разве плохая работа? Старичье каждый вечер комедии устраивает, вино, как большому господину, на дом приносят... И этих, с ведрами, он уже где-то видел... Вот так вот, Юрис утер губы, сел рядом с Владисом и нагнулся над тарелкой с кашей.

Глухо, как треснувшие звоночки, алюминиевые ложки звякали о края мисок, грустно щелкали зубные протезы.

\* Прежнее название дома скорби в Риге (прим. пер.)

В большом котле остывал прозрачный, безвкусный чай. Апинитис, бросив вороватый взгляд в сторону администрации, погрузил кружку в ведро с вином. Завхоз промолчала, и его примеру последовала еще одна-другая пара нетвердых рук. Кое-кто, пригнув голову, обшарил складки одежды, и возле тарелок легли маленькие шуршащие пачечки.

Хорошенькая Марта, стараясь не встретиться с внимательными взглядами соседей, положила в рот высохшую, оставшуюся с прошлых праздников конфету.

Толстая Анна, развернув пергаментную бумагу, достала четыре печенюшки и, мгновение поколебавшись, протянула одно Мощной Эмме.

— Спасибо, дорогая, — ласковый шепот погладил ее ухо.

Как транзитные пассажиры в вокзальной столовке, Владис поглядел на склоненные головы, чужие и одинокие, каждый только за себя, будто сюда они забежали лишь на минуту, поест на дорожку и отправиться домой, к своим. Сейчас, вот-вот, резко прогудит локомотив, и они, оставив недоеденное, вскочат и кинутся на станцию, которую можно разглядеть сквозь зарешеченное окно башни, в первый же поезд и прочь, прочь и все равно куда! Его-то кто отправил в этот уголок: после ярко начатой карьеры в райкоме комсомола, за которой, вместе с записью в личном деле, последовало мгновенное падение на Чикуркальский дровяной склад? А там — пришел Юрис со своими сладкими речами: там тебе будет тихо и спокойно, романтика, переживешь ренессанс... И маленькая завхоз, маленькими ручками схватила его за шиворот — или за сердце? — и теперь спешит налить в его кружку чай — чтобы в той — упаси господь! — не осталось места ни для капли вина!

Хромая Илзите, очистив сваренное вкрутую яйцо, обратилась к сидящей напротив Нежной Мице:

— Может, половинку?

— Нет, нет, что ты! — Нежная Мице опустила ложку, засомневалась. — Ты же знаешь, я на ночь ничего такого не ем. У меня же изжога...

— Да бери же! — Хромая Илзите сгрела скорлупу в аккуратную кучку. — У меня еще одно есть. Наверху, в спальне...

— Ну, если еще... — Мице протянула дрожащую ложку, и пол-яйца пропутешествовало через стол.

Залцманис жадно проводил ложку взглядом и вновь склонился над своей тарелкой.

— В яйцах есть это... — громко, ни к кому не обращаясь, сказал Большой Янис. — То, что память портит. Ага, вспомнил! В яйцах — склероз!

— Роза? — задумчиво переспросил Атиньш Барабанщик. — Я когда-то работал садовником, мне это только в пенсии не засчитали...

— Склероз! — придвинувшись поближе, повторил Большой Янис.

— Турайдская? — поднося ложку ко рту, недоверчиво покачал головой Атиньш Барабанщик.

— Склероз! — сложив ладони у рта как рупор, старательно прокричал в ухо приятелю Большой Янис.

— Обычная?

— Да, да, — обрадованно закричал Янис. — Склероз...

— Цветы... это красиво, — понимающе кивнул Атиньш и, сунув за щеку ложку влажной каши, философски добавил. — Мой путь не был устлан розами...

— Атис, Атис, ты уже ничего не слышишь... — печально всплеснул руками Большой Янис.

— Это так, верно, — согласился Атиньш Барабанщик.

С интересом выслушав разговор о склерозе, Хорошенькая Марта зашептала, придвинувшись, Утонченной Ингеборг:

— Мой Карлис всегда дарил мне розы. Большие, красивые розы. Я только слышу: внизу остановилось авто... И что же, поднимается по лестнице посыльный. Здесь ли живет госпожа Марта?

— Ах, милая, ты об этом в какой уже раз! — Утон-

ченная Ингеборг, покончив с кашей, зло шелкнула замочком своей парчовой сумочки.

— Но послушай, в розах записочка, я ее и теперь как бы вижу перед глазами... — Хорошенькая Марта прикрыла глаза.

— И там написано, что без тебя жить не может, — Ингеборг презрительно изучала спрятанную под тарелкой Марты смятую конфетную обертку.

— Нет, нет, вот видишь, ты не слушаешь! Там было написано: «Я тебя люблю. Я жить без тебя не могу. Карлис.» Нет, «Твой Карлис». Вот так там было написано, и я чувствую, что голова кружится...

— Да дай же спокойно поесть! — Ингеборг оттолкнула пустую тарелку на середину стола.

— Прости, дорогая, — осеклась Хорошенькая Марта, но губы продолжали беззвучно двигаться: пропал без вести, как пришел, так ушел, я еще последний раз рубаху постирала, сказала, куда же ты пойдешь, останься, что ты, в одиночку весь мир не исправишь, не уходи, погреб выроем, я буду приносить тебе еду... Не послушал, ушел и не вернулся... не возвратился... Марта бросила взгляд на дверь, но та не распахнулась, она подождала мгновение, не идет! и продолжила есть.

Ясновидящая Гриете, с трудом проглотив пару ложек каши, поднялась и, опираясь на рябиновую палку, доковыляла до окна. Приникла к нему — кривой нос уперся в раму, седые волосы свесились вдоль лица. Высоко над верхушками елей месяц, бледный и нагой, перемигиваются звезды, в болоте сушатся деньги, на пустошах гниют кости, из баронской каплицы в дворцовом парке тысячу пустых глазниц глядит фон Унгерн-Штейнберг, пугающе ухают филины, на берегу речушки свои длинные волосы сушат русалки, в лугах веселятся нимфы, по длинному белому лунному лучу вниз спускается паучок, тонкая паутинка сквозз выбитое в верхнем окне стекло скользит к люстре, обвивает хрустальные подвески и отражается в зеркале окна — лучи делятся и ломаются, изображение в запыленном стекле дрожит, фокус меняется... серые спины возле стола приходят в движение...

Поднимается Залцманис, усы что пики, рука, поди, срослась с рукоятью сабли, верхом на коне проходит горячей Каховкой, головы летят как репы...

Хромая Илзите, обретя прежнюю живость, отмокла после чистки овина в трех чанах, кружится как бабочка в пестром крепдешиновом платье на танцульках, пахнет Томберговой «Белой Сиренью», от партнера к партнеру, лучится, светится, от танца к танцу...

Утонченная Ингеборг, взьерошив мальчишескую головку, сидит в кафе Отто Шварца, а за соседним столиком, с котенком на коленях, — Карлис Скалбе, пьет зельтерскую, а дальше, в испанской шляпе, с красным шарфом вокруг шеи Падегс, Розенберг-Калдрозе, сумасшедшие братья Хермановские, Аншлав Эглитис, Андрейс Йохансонс прогулял гимназию, а чуть дальше — изысканный Эрик Адамсон со своей очаровательной госпожой, и в самом углу — Александрс Чакс, уже задетый вечностью...

За плугом земля вздымается, идет Большой Янис — эх, земля-земелька! — за спиной солнце ярко освещает крышу дома новохозяина, нет, барон Унгерн-Штейнберг, дома на колесах я делать не буду, моя эта земля, отец мой и дед свой пот тут проливали, и пошел ты к черту...

Мощная Дарта встречает сына с войны, сидит на вечернем солнышке, гладит его по головке и все повторяет: «Сынок мой, сыночек...»

Дети, внуки и дети внуков поздравляют Толстую Анну в день ее восьмидесятилетия, горят на громадном торте свечки, правнучка за пианино, Анна склоняет голову, по морщинистой щеке катится большая слеза. «Это от счастья», — шепчет она...

— А я? Где же я? — горячее дыхание Ясновидящей Гриеты затуманивает оконное стекло, паутинка гаснет, зеркало запотеваает, лишь в самом уголке еще небольшой ясный участочек — там, в конце стола, завхоз, завклубом, санитар... так? Верно ли она видит или... они отодвигают свои стулья от стола, придвигаются друг к другу,

сдвигают головы, перешептываются, пишут что-то, листы бумаги летят на пол, другие — складываются в папку, перечеркивается — будто ее и не было — история какой-то жизни, ее место не спросившись занимает другая... они поднимают головы, видят в зеркале ее, Гриете, понимают, что обнаружены, раскрыты; словно уличенные в чем-то дурном, кидаются обратно к столу и, как ни в чем не бывало, снова берутся за ложки...

Через выбитое стекло, усиливаясь, в зал проник шум мотора легкой машины, приближается ко дворцу, лучи фар преломляются в люстре, награждая лица сидящих разноцветными кристалльными отблесками.

Проверка из Риги, из министерства? — Лиените настояжилась. — Так поздно? Вряд ли! Это бывший муж едет, чтобы предъявить очередную претензию на какую-то из книг, приобретенных в давно бывшей совместной жизни! В прошлый раз, уходя, снял со стены портрет ее любимого певца Кета Стивенса, поскольку ведь «мой друг подарил это моей жене, а так как теперь у меня другая жена, сама понимаешь... и вообще, мне он нужен больше, ты ведь знаешь, что музыка — мое единственное увлечение». Да бери, бери, прихвати еще и книгу про Сальвадора Дали, уходи только! И больше не приезжай!

В тишине громко хлопнули двери машины, Юрис Сумасброд встал и оба ведра с вином сунул в камин, не дай бог инспекция, опять во всем виноватым окажется санитар! Кто ему, после того тарарама, когда комиссия с санэпидемстанции изловила его возле самогонного аппарата, поверит... А повидло у Лиените в тот раз утащил Владис, и аппарат изготовил он же, из старой стиральной машины. Да уж ладно, не будешь же об этом кричать на весь свет, не стучац же!

Старики и старухи прекратили есть, Хорошенькая Марта прижала руки к груди, блестящими глазами вглядываясь в дверь, один только Атиньш Барабанщик в одиночестве стучал ложкой.

Дверь приоткрылась, сквозь нее бочком, как первоклассница, проскользнула маленькая, высохшая старушка с узелком в руке. Держа ее под локоток, ее вел тучный седоватый мужчина в сером костюме, на ослепительно белой рубашке в вырезе жилета пламенел красно-полосатый галстук. Старушка в замешательстве остановилась на пороге.

— Ну иди же, мам, — мужчина подтолкнул ее на шаг вперед.

— Иду, сынок, иду, — старушка высвободила локоть и дрожащими пальцами принялась распутывать узел мешочка.

— Ну так я пошел, — мужчина, сцепив руки за спиной, тяжело переминался на месте.

— Погоди немного, я сейчас... — узелок не поддавался. — У меня для тебя тут...

Мужчина повернулся, взялся за дверную ручку, надавил.

— Ты увидишь, тебе будет тут хорошо, — сказал он косяку, за долгие годы заласканному немощными пальцами. — Пока на машине обратно...

— Я сейчас, — мешок, наконец, развязался, старушка, покопавшись в его внутренностях, извлекла большое, красное яблоко и, обтерев уголком платка, передала сыну.

— Это на дорожку, сынок.

— Ну что ты, мама, я вовсе не хочу! — Мужчина отпустил дверную ручку. — Ты лучше сама съешь.

— Я не люблю, — старушка взяла сына за руку и положила яблоко в ладонь. — Для меня слишком твердое, не откусить. Сгниет ведь, а ты ведь у меня яблоки любишь. Еще когда маленьким был...

— Ну, если так... — мужчина подкинул яблоко, поймал в широкую ладонь, надавил красный бок большим пальцем. — Но ведь вовсе не такое твердое!

— Ну ладно, я пойду! — откусив приличный кусок, добавил он с набитым ртом.

— Иди сынок, иди... У тебя еще дальняя дорога впереди, Бонапартика тоже еще погулять вывести надо, песику ведь побегать надо... — старушка посмотрела, как дверь закрывается за спиной сына.

Шаги быстро удалялись, грохнули наружные двери, загудел мотор машины, и фары еще раз облизили люстру.

Лишь теперь, повернувшись к залу, старушка увидела сидящих за столом.

— Новенькая, — прошептал кто-то.

— Как ей хорошо, ее хотя бы кто-то бросил, — Нежная Мице грустно улыбнулась Хромой Илзите.

— Будет о ком думать, — отозвалась Хромая Илзите.

— Мир вашему дому, — маленькая старушка поклонилась и нетвердыми, меленькими шажками подошла к тем, с кем проведет свои последние — сколько уж боженька отпустит — денечки, кто проводит ее в последний путь...

Владис, стремительно отодвинув стул, вскочил и подвел новоприбывшую к столу, пододвинул стул, усадил напротив Атиньша Барабанщика, Лиените наскребла со дна котла остатки каши, с дальнего конца стола, передаваемая из рук в руки, медленно приближалась тарелка.

Не хватало ложки. Атиньш Барабанщик, окончив трапезу, тщательно облизал свою ложку и уже было засунул в нагрудный карман жилета, но передумал, протер носовым платком и галантным жестом передал через стол.

— Позвольте предложить, госпожа? Совершенно чистая! — кричал он, не слыша своего голоса. — Здесь у каждого своя ложка. У вас с собой есть? Своя?

Ощупав содержимое мешочка, старушка покачала головой и, не отрицая и не соглашаясь, столь же неопределенно, как утром, глядя, как сын подкрепляется перед дальней дорогой и говорит, говорит... что ты, мама, есть зазря будешь, там ведь покормят, не хотят тебе, мама, давать пенсию, так мы их все равно вокруг пальца обведем! Пусть-ка монету гонят, деньгами не хотят — так натурой, пусть кормят, глядишь, копеечка и сэкономится...

— Позвольте, я предложу свою!? — Атиньш, перегнувшись через стол, положил свою ложку возле тарелки новенькой.

— Атиньш положил ложку! — громко расхохотался Апинитис. — Вы слышали, Атис добровольно заявил, что кладет ложку!

Над столом зашелестели смешки, старики топали ногами, старушки аплодировали.

— Ах, милый, не спеши, все будет в своей черед... — довольный произведенным эффектом, пропел Апинитис.

Гризинькалнский Казимир выплюнул на ладонь зубной протез, сунул его в карман и продолжил хототать, широко отворяя свои, внезапно съезжившиеся губы. Хорошенькая Марта в умилении взвизгнула и пихнула Утонченную Ингеборг локтем в бок. Новенькая несмело засмеялась, взглянула на Атиньша Барабанщика, сконфуженно ворочавшего головой, и осеклась.

— Мой внучек тоже подумал, что я ложку положил! — гомонил Апинитис. — Но я только поиграл со смертью. Я-то смерти не боюсь, не боюсь, не боюсь, — затянул он пронзительным голоском. — Я-то смерти не боюсь, нет! Внучок, ты слышишь? Иди сюда, к своему дедуле!

Вокруг длинного стола из уха в ухо шепотки: внучек из Австралии... из Новой Зеландии... из Прейлей... Внучек приехал навестить своего дедушку... своего бесстрашного деда... нашего Апинитиса... нашего великого актера Апинитиса...

— Где внучек?! — Апинитис ударил кулаком об стол. — Иди сюда, детка, я расскажу тебе всю свою жизнь! Я не только смерти не боюсь, я и Его не испугался, я в Него плюнул, потому что у меня влажная дикция. Вот так вот! На комиссии по приемке, когда Он сидел в первом ряду, я подошел к рампе и плюнул в него, потому что это я мог себе позволить! Потому что у меня влажная дикция! И ничего, что после этого мне доверяли играть только мертвецов, плевать мне на это! Я лежал на сцене в гробу и плевал в потолок! И ты плюнь на все и иди ко мне! Почему ты не идешь? Почему он не идет? Где мой внук?

Из уха в ухо, усиливаясь, прокатилось: где? где внучек из Австралии, из Новой Зеландии, из Прейлей? Где внучок, сынок, где он? Он? Ну, тот! Ну, этот самый! Который только что! Который здесь! Куда делся? Кто делся? Кто

остался? Ушел или пропал? Кто пропал, кто остался? Почему? Ах, ничего не понять...

— Где мой внучек? — поднялся на ноги Апинитис.

— Так они же еще раньше ушли! — бросила Ясновидящая Гриете.

— Их администрация выгнала! — сказал фельдшер Вальфридсон.

— Да, да, сама видела, через маленькую дверь ушли, — добавила Хромая Илзите.

— Эти трое их пинками вытолкали! Мы все видели! — очи Залцманиса блистали за стеклами очков.

— В суле черви! — поддержал остальных Атиньш Барабанщик.

— Внучонка моего прогнали! — Апинитис уткнулся лицом в кулаки, крупные слезы текли по его щекам, падали с всхлипом в пустую тарелку.

— С каждым годом становишься все одио... одиноко, родные душа за душой оставляют тебя... — прочувствованно декламировал он подавленным голосом.

— Прекратите балаган! — Владис, поймав беспомощный, умоляющий взгляд Лиените, попытался укротить Апинитиса.

— И редки цветы на пути твоём! — рычал Апинитис.

— Мы и сами не видели, как они ушли, — оправдывался Юрис, вытаскивая из камина ведра с вином. — Мы и не знали, что он внук.

Ван Ли серьезно кивнул. Ванас, соглашаясь с ним, кивнул в ответ. Зазвучала дудочка. Подошел тот миг, ради которого они все давно и долго закупали, выменивали, выпрашивали, шныряли по полузасыпанному окопам и блиндажам, собирая неразорвавшиеся боеприпасы, извлекали из тех порохов; из рукавов синего халата Ван Ли выпорхнули бумажные шарики, как мыльные пузыри перенеслись к котлу с чаем, уселись на его краях и расцвели невиданными цветами.

Подняв Ван Ли на закорки, Ванас направился в восточную башню замка, в дверях они столкнулись с Медленной Маде, прискакавшей в зал верхом на метле. Апинитис осекся на полуслове, Райнис тут уже не поможет, тут надо чего-нибудь покруче, черт с ним, с внучонком, даст бог, судьба пошлет другого, но вот это скачущее явление, развевающиеся одежды и взор, обращенный вдаль... Редкий цветочек, Аспазия, превлеченная сюда пусть и перевернутыми, зато самого Райниса словами! Медленная Маде, которая всегда и всюду опаздывает, на этот раз появилась в самое время!

— Так... Теперь опять начнется! — прошептала про себя Лиените, встала и направилась в сторону дверей.

— Как на седенькой кобылке скачет сказка по тропинке, — за спиной грохотал голос Апинитиса.

Лиените, запыхавшись, взобралась по винтовой лестнице на верх башни, втиснулась в маленькую комнатенку с узкими оконцами. Возле стены чернел металлический ящик. Встав на стул, дрожащими пальцами она одну за другой вывинчивала скрипящие электропробки, те, звякая, падали на пол, в окна дворца гас свет, во вспотевшую ладонь легла последняя, Лиените застыла на шатком стуле, напряженно вглядываясь в наступившую темень.

— Довольно... это невыносимо! — она, придерживаясь рукой за стену, сползла на пол, села, высоко задрав колени, нащупала в кармане сигареты, зажгла непослушными пальцами спичку, втянула дым. Вслушалась...

— Света, света! — звучало снизу.

— Довольно, никакого света! — шептала она, опустив руку с мерцающим огоньком сигареты и размеренно, плавным голосом принялась почти декламировать: я спокойна, я совершенно спокойна и совершенно нормальна, все спокойны и нормальны, старики совершенно спокойные и нормальные старики, Юрис и Владис совершенно спокойны и совершенно нормальны, это совершенно нормальный нищенский приют, Апинитис нормальный и одинокий старый актер и совершенно нормально играет свои старые, нормальные роли, все играют свои роли, и все это совершенно нормально и спокойно... нормально и спокойно... спокойно, вот только света не надо, и все будет нормально и спокойно...

С чистым звуком, звякнув, распахнулось окно соседней башенки, вспыхнули и рассыпались яркий свет и искры и, сопровождаемый взрывающимися ракетами и грохотом петард, в воздух поднялся желто-красный дракон, шелестели складные шелковые крылья, тускло светились бронзовые, инкрустированные перламутром когти, три длинных, колеблемых ветром, волоска драконовой бороды удерживали душу Ван Ли бережно, словно яшмовую чашу, пахло жасмином...

Поднялся восточный ветер, дракон, чей хвост развевался как знамя, описал круг над башнями замка и, искря и попыхивая, растаял, дымный — как от масляной лампы — след скрутился в облачко и исчез в восточном направлении.

*(Конец первой части)*

Перевел АНДРЕЙ ЛЕВКИН

АНАТОЛ  
ИМЕРМАНИС

О, выплеснутый на помойку чай, в котором мокнут дохлые чайники — безвестные крестины и поминки, и чьи-то «Здравствуй», «...навсегда прощай». А ведь его недавно кто-то пил, закусывая судьбами, как хлебом. И с губ его холодных пар сходил и жарким дымом возносился к небу.

Чай государственный, остывший чай, крутой, недолговечный, чрезвычайный. Сказали «Здравствуй», говорим «Прощай». И свежий чай уже заварен в чайнике. Но мы, свидетели твоих торжеств, мы — угольки в потухшем самоваре, мы — крошечные искры страшных зарев, мы помним каждый шаг и каждый жест. Да, чай без дыма и огня не сварить. Но тот, кого твой кипяток ошпарил, тот на тебе еще не ставит крест.

Когда нас везли расстреливать,  
мы плакали, пели, кричали.  
Солдатам плакать не велено —  
солдаты только молчали.

Видать, неплохими ребятами  
солдаты в сущности были.  
Пока мы большими лопатами  
рыли себе могилы,

они, чтоб нам скучно не было  
шутили, пытались развлечь нас.  
Потом разрешили на небо  
взглянуть: полминуты. Полвечности.

Не больше. Мы их не винули.  
Мы — сами солдаты. Мы знали,  
солдаты очень спешили —  
другие расстрела ждали.

1967

От эпохи в дым и стельку пьяный,  
я ее статист (иль трубочист?),  
принимаю капли валерьяны  
и жую сухой лавровый лист.  
Жду, чтоб время увенчало лаврами.  
Но, меня бессмертьем одарив,  
время ждет, чтоб стал я динозавром,  
вымер, превратившись в полумиф,  
в смутный след гигантского скелета.

И пытаюсь в этом мне помочь,  
дергает меня и так и этак,  
передергивает день и ночь.  
Щедро шлет инфаркты и инфарктики,  
Шлет инсульты, культы шлет, но я  
валерьянку пью для профилактики  
и жую лавровый лист не зря.  
Лавр идет не на венок, а в пищу.  
Неувенчанным лежать в гробу.  
Все равно трубу эпохи чищу,  
сам рискуя вылететь в трубу.  
Очищаю «хорошо» от «плохо»,  
Чтоб огонь эпохи был бы чист.  
Я — поэт. Я не статист эпохи,  
а ее бессмертный трубочист.

1965

## НАША ИСТОРИЯ

В этих старых домищах, пропахших бог весть чем,  
где цветы натюрмортов давно утеряли свой цвет,  
где, забитые пылью, застыли в молчании вещем  
вековые часы — есть какой-то зловещий секрет.  
Словно здесь никогда не шумели погромы и свадьбы,  
не влетали камни в окно, не стекало вино на паркет,  
не бывало трагедий, о которых нам лучше не знать бы —  
словно это не дом, а сплошной восковой кабинет.  
Страшно видеть, как люди страдают и гибнут в натуре.  
Но страшнее паноптикум — быть, превращенная в ложь:  
бутафорский кинжал, что проткнул восковую фигуру,  
и покрытая плесенью чья-то предсмертная дрожь.  
О, домище истории! Все так антично, так чинно.  
Замшевая, в каминь давно превратились костры.  
Кровь убитых сгустилась в колоритную краску картины —  
на портретах владык, на их красных лампадах застыв.  
Твоих старых часов миллионнопудовые гири,  
отстучав миллионы смертей, отдробив миллионы голов —  
замерев на ходу, придают твоим мрачным квартирам  
старомодный уют, пропыленную прелесть веков.  
Вот, что делает время — алхимик с замашками скальда:  
из страдания — пыль, из тебя — респектабельный дом.  
Пожелтеют со временем даже ужасы Бухенвальда,  
когда время их клеит в твой пухлый семейный альбом.  
Будто в муках не бились кровоточащие судьбы,  
а ставился опыт — и бились стекла реторт.  
Химический запах истории! Выветрить эту жуть бы!  
Не выветришь! Слишком поздно!  
Натура ушла в натюрморт.

7  
AVOTS

Вы плакали часто, навзрыд и не к месту,  
вы плакали черным свинцом,  
когда из окопа — взбухающим тестом,  
одним за другим мертвецом,  
та цепкая сила, что жизнью зовется  
(слепой инфузории свет),  
из вас вытекала: на стенке колодца  
слизняк, оставляющий след,  
когда умирает, ту слизь, что засохнет,  
как только вас жаром обдаст  
огонь, от которого слепнет и гложет  
земля, породившая вас. .  
Закончен наш путь, что безудержно пройден,  
как плоть нам велит и приказ —  
на дно, где без всяких приязней и родин  
лежат мертвецы: не анфас,  
не в профиль. Лежат безчертовою массой,  
сам черт не поймет, что к чему.  
И только из памяти свитое лассо  
пытается на лету,  
в просвете от жизни до собственной смерти  
поймать высыхающий след.  
Мой друг, ты — комочек болотистой тверди,  
ты — тьма, проглотившая свет.  
А памятник будет с кирасой и саблей,  
он будет красив и высок,  
тебе, что всего лишь кровавою каплей  
из устья вернулся в исток.

1974 (?)

## ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

В обнимку с жизнью падать на кровать!  
Коль разобьется, разве ты виновен?  
В чаду калькуттских нищенских жаровен  
ты на булыжнике улегся спать.  
А завтра ты — Париж, ты — стюардесс  
улыбка сквозь нейлоновые ноги.  
И твой десерт — тончайший хвост миноги,  
морских шелков отборнейший отрез.  
Ты — коммивояжер. Твой чемодан  
набух от образцов земли и неба,  
людей, страстей. Весь мир — для ширпотреба,  
а ты осколки потонувших стран  
откапываешь в мусоре столетий.  
Лианой обвиваешь тонкий ствол,  
и соками давно минувших зол  
питаешь жизнь, наивную как дети.  
Добро имеет столько разных лиц.  
Его от антitezисов отсеяв,  
лукавый ум халдейских чародеев  
о иступленность финикийских жриц  
шлифуешь ты, и, с лондонской тоскою  
в глазах продажной девочки смешав,  
живешь настоем ядовитых трав —  
целебнейшим. Жизнь, будь же водопоем!  
Будь жаждою! Наложницей беру!  
Царицею! В часы вселенской смуты  
на нищенском булыжнике Калькутты  
с тобою встретив щедрую зарю,  
тебя раздев в мансарде Монпарнаса  
и голой положив на полотно,  
с тобой сливаюсь в существо одно,  
цветок в немой лапе свинопаса.

Рига, 29.03.81  
ул. Пернавас

In memoriam О. М.

Дар самоуничженья — божий дар.  
Увы, не им награждены поэты.  
Их просто унижают. Как ракеты  
они уходят ввысь, когда пожар  
спалил их дом и нищенскую мебель,  
и надо побираться, чтобы жить.  
Им легче в небе по ночам парить,  
чем христардничать, моля о хлебе.  
Но кончилось горячее. Сто строк  
еще под облаками — дымной стружкой.  
Упившись поэтической пирушкой,  
хмельной еще не протрезвился бог.  
А тянет уже вниз балласт — живот.  
Его за борт не выбросить, не срезать.  
И приземляется в приемной Креза  
поэт, упав с заоблачных высот.  
Ему сейчас бы мудрый божий дар,  
ему бы в ноги плюхнуться «Спасите»!  
Но он — гордец. Хотя и ниц и стар,  
пустую руку протянул как витязь,  
кому вручают ключ от городов  
богатых золотом, винами, шелками:  
«Что надобно, добудем с боя сами!»  
И он шагнул по бородам купцов,  
что стелются ковровою дорожкой.  
Дружинники подставили свой шлем  
под водопад червонцев . . . Между тем  
Крез авансировал поэта ложкой,  
а кашу обещал, когда тот сдаст  
две тыщи строк, и чтобы имя Креза  
упоминалось ровно двадцать раз.

Была та ложка просто из железа,  
со ржавчиной. Уже великий Дант  
ее, железную, что к воле божьей  
приравнена, брал из руки вельможьяй,  
как Магомет из божьей брал Коран.  
Кормился ею часто Мандельштам.  
Она одна среди лагерных отбросов.  
Не задавала каверзных вопросов.  
В ней ясно все. Она дана векам.

15.02.72

Дубулы. Дом творчества

Жить — блаженство. Умирать? Не знаю.  
Ночь темна — тайник или темница.  
По безлунью пристально гадаю,  
кто ты — что за зверь? А, может, птица?  
Там, где в тьму закутанные выси  
чуть черней — от Ориона вправо —  
светятся глаза твои по-рысьи.  
Не монашеского ты устава,  
если видно мне без телескопа  
(мглу на миг как одуванчик сдуло) —  
ты из золотистого окопа  
целишься в меня пунцовым дулом.

Что ж, стреляй! Пусть долгая одышка  
разрядится судорожной спазмой.  
Вот уже меня пронзила вспышка,  
заливая огненно плазмой  
естество мое. Без церемоний,  
с похоти срывая все покровы,  
мчатся кони бешеной погони  
в край, горящий пламенем багровым.

Я лежу, и нити паутины  
тянутся, блаженствуя, за мною.  
Два крыла упругих, лебединых  
чуть трепещут под моей рукою.

Зверь, что может превратиться в птицу,  
тьму при вспышке разрывая в клочья . . .  
Будто из провинции в столицу  
Я бегу в твою темницу ночью.

Москва, 28.04.82  
на улице

Я в зеркало гляжусь.  
А там звезда.  
Я?  
Нет, не я, а кто-то посторонний.  
Я сам не свой.  
Так чей же я?  
Казенный!  
Как по трубе канализационной  
по мне стекает мутная вода.

Как страшно быть нечеловеком  
и стылым стоком нечистот.  
Все, что выплевывалось веком,  
так неприкаянно живет  
во мне  
и Каином зовет.

Во мне текут остатки клея  
и слипшиеся в рой идеи,  
все клятвы и проклятия — в меня.  
В меня — анафемы и аллилуйи.  
Полуобугленные поцелуи  
плывут по мне, пытаются всплыть со дна.

Их забивают сводки, даты, числа.  
Они плывут огромным косяком.  
И детский трупик гениальной мысли  
беспомощно плывет особняком.

Звезда эпохи,  
светлая звезда,  
ты ночью падаешь в мой темный люк —  
клоаку мерзостей, отстойник мук.

Ты расплываешься, дрожишь,  
и мечется по мне твой свет.  
И сквозь тебя —  
кочки афиш,  
обрывки писем и газет,  
покрытый плесенью декрет,  
плевки, окурки сигарет  
плывут, плывут . . .  
Ночь напролет —  
поток вчерашних нечистот.

Но еле наступил рассвет,  
тебя уже нет.  
Простыл и след.  
Ты наверху.  
И ты чиста.  
Вся грязь опять досталась мне.

Ребенок досчитал до ста.  
Спит.  
Видит боженьку во сне.

На пепелище  
мы становимся чище.

Из золы сварят мыло.  
И божественно чист,  
на свидание с милой  
придет трубочист.

Ты свои губы не загрязнишь,  
целуя его уста.  
Какая темь, какая тишь,  
какая чистота!

Ведь это я,  
сожженный дотла,  
его устами целую тебя,  
пока сама не сгоришь.

Москва, 1966

Ты кайфуешь, куролесишь, колобродишь.  
В кущи райские меня спяная заводишь.  
Здесь свой кодекс, звон посуды, пересуды.  
Нынче в моде, говорят, опять Иуды.  
И всем тем, кто плюс и даже минус,  
свой гарем — и дома и на вынос —  
продают за твердые валюты  
мальчики Скуратова Малюты.

Мальчики, вы сделаны не пальчиком.  
Не в игрушечной вы лавке куплены.  
Разливая водку по бокальчикам,  
ты их знаешь, краля, как облупленных.  
Ими продана и перепродана,  
словно веком, ты живешь мгновением,  
чья-то родина, а, может, родинка,  
обнаженная грехопадением.

Видя в шлюхе грешную святую,  
а в спиртном — потешную геенку,  
я с тобой отчаянно кайфую,  
мчась сквозь сумасшедшую вселенную.  
Развлекайтесь, как умеете, ребята!  
В этом мире ничего не страшно.  
Если кто-то вас покроет матом,  
не вступайте, детки, в рукопашную.  
Лучше притворитесь, будто сдуру  
приняли его за сутенера.  
А потом продайте его шкуру  
за пятак. Вот это будет здорово!

Ты кайфуешь, куролесишь, колобродишь.  
В райских куцах змия-искусителя.  
нет в помине. Змий сейчас не в моде.  
Вместо змия медсестра без кителя.  
Лесбиянка — пока колет тебя в задницу,  
палец ищет и на ощупь пробует.  
У меня с тобой свиданье в пятницу.  
Но зачем ты мне с такой хворобою?

Впрочем, сказано про нас в евангелии:  
«Тот, кто без греха, пусть бросит камень!»  
Краля, ты вполне сойдешь за ангела,  
если губы выдержат экзамен.  
Как он сладок, этот путь окольный —  
на коленях поцелуй с укусом.  
Девочка, подай мне табель школьный:  
заслужила ты пятерку с иллюсом.

Мне пора уже на боковую.  
Не волнуйтесь — я плачу.  
оставляя здесь одну святую  
и полдюжины иуд в придачу.  
Кто-то мне из них подаст с издевкой  
носовой платок. Мерси! Спасибо!  
Ну а ты? Прикинувшись плутовкой,  
держишь на крючке меня, как рыбу.  
А твои колени светят матово.  
А твои соски под тонким свитером  
мальчикам Малюточки Скуратова  
издали подмигивают хитро.  
До свиданья! Не прощаюсь, зная —  
со всегдашней затаенной болью  
к вам вернусь, чтоб видеть, как ныряет,  
как на дне гуляет метрополия.

Москва, 24.04.82  
Б. Серпуховская

# АЙВАРС ОЗОЛИНЬШ

## ГРАНЕННЫЙ СТОЛ

Участвуют:

Большой Товарищ (БТ)

Товарищ Маленький Начальник (ТМН)

Язепс Якобовичс (ЯЯ)

Журналист Журналист (ЖЖ)

**ЖЖ:** Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы подключаемся к трибуне, где за нашими круглыми микрофонами собрались руководящие товарищи, с тем, чтобы совместно обсудить наши самые наболевшие места. Они будут отвечать на вопросы. Первый из них и самый больной, это вопрос о социальной справедливости. Пожалуйста, товарищи, что бы вы сказать по этому поводу?

**БТ:** Здравствуйте, добрый день. Кхм! Товарищи! Сегодня, когда как никогда наша страна добилась грандиозных успехов в мирном завоевании космоса, и это, независимо от того языка, на котором мы говорим, живя здесь, вызывает невиданный подъем и глубокое удовлетворение в рядах широких масс трудящихся. Опыт предыдущего года учит нас, что первое, чтобы сделать человека счастливым, это то, что начинать улыбаться надо уже сегодня, с тем, чтобы построить это счастье уже следующим поколениям. Мы видим, что рост ухудшения ситуации растет теперь повсеместно, а также по многим аспектам одновременно. Вопрос сегодня стоит таким образом, что каждому из нас следует любить этот исторически многонациональный уголок земли, являющийся родиной. Принимая, разумеется, во внимание и чувства местных товарищей, но без эмоций. Хочется заверить, что наше ускорение будет ускоряться и впредь, касаясь, прежде всего, космоса, а также и наших комбайнов, человеческих ресурсов и другой техники. Не могу все же не сказать, что существенного продвижения вперед добиться нам не удалось. Поэтому, хочу обратиться ко всем тем, кто может хорошо работать, но все еще где-то как-то запоздал, что ли, что надо однажды и раз и навсегда засучить рукава и все прочее и приступить к работе с полной отдачей.

**ЖЖ:** Спасибо! Многие телезрители в своих письмах встревожены социальной справедливостью. Что вы думаете по этому вопросу?

**БТ:** Есть такая проблема. Я вот тут был в Японии, так они, японцы, там тоже работают. Мы же, со своей стороны, получили миллиард пудов чугуна, а вот общая механизация всего государственного комплекса составляет восемьдесят один процент. Мы также сократили производственно-фабричное число трудящихся человек. И это хорошо. Только вопрос состоит и в том, что, особо не преувеличивая, можно сказать, что надои от каждой доярки вновь увеличились до размеров никогда ранее не предусматриваемой величины. Все это потому, что коровы получают теперь не только органические, но и неорганические удобрения — известь, доломит, гранитную крошку, дитирамбоз, а так же ряд других факторов. В чем мы видим выход? Только в полной механизации всего животноводческого комплекса.

**ЖЖ:** Следует ли это понимать в том смысле, что от каждого по способностям и каждому по труду?

**БТ:** Нет, дважды в день. Люди есть, гербициды тоже, надо только работать.

**ТМН:** Товарищи. Как метко выразился наш общий большой друг, друг всего прогрессивного человечества, пролетая над, Юрий Алексеевич Гагарин, полковник, сказал так, что ситуация, выражаясь словами Маркса Энгельса, архаичнейшая. Вниз и взглянуть страшно.

**БТ:** Повторю еще раз, что надо работать. Несмотря ни на что, деньги у нас есть, хотя с материальными средствами трудности еще сохраняются.

**ЯЯ:** Товарищи, если позволите, в этот момент я бы хотел обратиться и поделиться одним, так сказать, примером, имевшим место не так давно с одним нашим товарищем, когда он шел по улице. Только в начале я зачту, что пришло, так сказать, поступило предложение, оно поступило от трудового коллектива, собрание которого вынесло и постановило, чтобы в этом календарном году отметить очередную день рождения, который исполняется выдающему... юемся... выдающемуся, тут так написано, работнику, э... хмм, кхм, э... отметить, так сказать... которому исполняется, если не ошибаюсь, сотый юбилей товарища Урбулиса, с тех пор, как он находится в наших рядах... Нет, э... хм, я тут что-то не могу разобрать... Товарищи, я тут что-то не понимаю... Товарищи, почему это нам предстоит отметить этого э... тов. Урбулиса, так сказать, шестьдесят девятый день? Тут так написано...

**ЖЖ:** Уважаемые радиозрители! Вы слушаете запись с трибуны, на которой сегодня находятся, с которой перед нами выступают сегодня три ответственных товарища, и, пользуясь случаем, хочу задать им некоторые из вопросов наших зрителей, которые задает, например, товарищ Локомоторович, проживающий в колхозе. Его в известной степени сокращают различные процессы. Эту его встревоженность в известной степени разделяет и товарищ Дрена с завода. И ее тоже заботит вопрос социальной справедливости. Хочу спросить у наших собравшихся товарищей об их мнениях по данному вопросу.

**ЯЯ:** Но тут так и написано! И подпись есть!

**БТ:** Пусть меня простит пишущая интеллигенция, однако теперь пишут очень многие. И это можно понять. Это вызвано тем, что развитие объективной реальности пошло в настоящее время по двум руслам различного направления. Вероятно, это осложнение, откуда оно возникает? Оттуда, что существуют конкретные люди. Мы с товарищами посоветались, обсудили и наш ответ, как и ответ каждого честного советского труженика, будет один — нет! И еще раз — нет! И еще раз. Демократия уже приблизила нас к тому, чтобы люди могли высказывать мысли.

**ЖЖ:** Да, спасибо.

**ЯЯ:** Я повторяю, товарищи, тут так и написано.

**ТМН:** Позвольте, товарищи, пару слов по поводу демократии...

**ЯЯ:** Товарищи, хочу сказать, почему я хочу на трибуну,

потому что мы, так сказать, еще можем сбалансировать положение, поэтому для иллюстрации, товарищи, позвольте привести конкретный случай с нашим товарищем, который, как я уже отмечал выше, шел по улице, хочу только отметить, что не следует оставлять без внимания и вопрос об праздновании юбилея товарища Урбулиса, приняв по этому вопросу окончательное, так сказать, решение. Поскольку была создана комиссия, чье и мое также мнение такое, что рабочий класс ждет и может не простить. Нам к ним надо подойти с уважением, и здесь так прямо и написано.

**ТМН:** Товарищи, хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что человек я уже, как говорится, в годах, седой, но было и у меня детство, а теперь у нас плу . . . пру . . . плю . . .

**БТ:** Есть такое мнение. Скажу, что недавно нами с товарищами было проведено обсуждение, мы все хорошо обдумали, а также приняли закон. Считаю необходимым отметить, что это будет хороший фундамент для того, чтобы на нем меньше говорить, но больше работать.

**ТМН:** Да, товарищи, нами была организована комиссия. Считаю, это правильный подход.

**ЖЖ:** Да, спасибо. Но на некоторое непонимание отдельных зрителей нашей газеты оказывают влияние известные процессы, наблюдаемые, иной раз, в обществе ежедневно. Так например то, что в городе, а так же и в его окрестностях по-прежнему совершенно безнаказанно орудует Гепатит. Кое-где замечена и Сальмонелла. Нашим корреспондентам представляется, что указанные явления в какой-то мере игнорируют принцип социальной справедливости. Что вы думаете по этому поводу? Игнорирование ли социальной справедливости это?

**БТ:** А разве так говорят? Я, разумеется, не вполне компетентен в данном вопросе, но хочу поделиться своими мыслями о том, что во всех сферах нашей действительности более широко следует вводить причастия с окончанием на «ка» . . .

**ЯЯ:** Хочу полностью присоединиться, а также напомнить о случае с нашим товарищем, шедшим по улице, который, идя, так сказать, по улице, встретил другого жителя города, либо его окрестностей, которому и помог. Не следует, также, забывать и известного работника, тов. Урбулиса, поскольку нам что-то предстоит делать в связи с его торж . . . отметить его открытие.

**ТМН:** Товарищи. Могу сообщить, что по поводу вышеупомянутого случая имело место заседание нашей комиссии . . . наша комиссия имела заседание . . . в котором, у меня есть протокол, сочла произошедшее . . . проекты неполными . . . э, кхм . . . не полностью ценными, кхм . . . да . . . и, таким образом, приняло к сведению о необходимости более полного выработки . . . выработанности . . . выработки. Имелись также исправления редакционного характера. Поправки. Было решено, что рождение . . . таким образом.

**ЯЯ:** Хочу еще раз полностью присоединиться. Но, товарищи, все же случай с нашим товарищем, шедшим по улице, встретившим человека и, так сказать, помогшим ему, это факт, который без внимания игнорировать мы не можем.

**ЖЖ:** Да. Уважаемые радиозрители нашего телефона! Пользуясь возможностью спросить у наших руководящих нами товарищей, что они думают о товарище, встретившем на улице другого нашего товарища, которому и помог, хочу, кстати, высказать и убеждение — которое одновременно будет и вопросом — о социальной справедливости. О ее присутствии в нашей окружающей нас среде.

**БТ:** В силу того, что обстоятельства данного дела в полной мере не выяснены, на сегодняшний день с данным вопросом ближе не знакомился. Поэтому, товарищи, высказывайте свои замечания.

**ТМН:** Товарищи! Как мы все уже давно знаем, ресурсы социальной справедливости у нас далеко еще не исчерпаны. Можно, как говорится, отметить, что это в очередной раз было ярко продемонстрировано в ходе прошедшего во время недавнего воскресника сессии-заседания первичной ячейки нашей комиссии, что, в очередной раз, доказал

делопроизводитель нашей ячейки в докладе: «Современная борьба сортов и победа в освещении обстоятельств предотвращения идеологической угрозы звездных войн», как основоположники в чем, мы полностью отказались от гусеничного хода в пользу углубленной двухосной квадратно-гнездовой пропашки на всех фронтах — туда, сюда и обратно.

**ЯЯ:** Мне бы только хотелось дополнить, что здесь написано так — тысяча девятьсот восемьдесят девятый день рождения . . . рожденчества . . . так сказать . . . да.

**ТМН:** Правильно. Мы собрали комиссию, и она в курсе дела. Дело в том, что, как это неоднократно подчеркивалось, механические надои из республики продолжают расти на все круглые сто процентов. Люди известны, и мы их знаем, которые этим занимаются, так что смело можем сказать, что они продолжают продолжаться . . . продолжаться . . . овываться . . . тся!

**БТ:** Цифры, как видим, позитивные.

**ЖЖ:** Да. Спасибо. В самом деле. Против цифр не попрешь. Можно только добавить. Как это в песне поет Раймондс Паулс: «Что ж ты, братец, против ветра писал . . .», не так ли?

**БТ:** Вот, здесь нам следует подумать совместно, как в данной плоскости работать. Чтобы мы вошли полностью в глубину.

**ТМН:** Да, но, если можно, товарищи, хочу все-таки присоединиться и добавить, что здесь, как говорится, все-таки лучше, чем в Твери, Калининской области. И как бы мы ни перелистывали страницы пожелтевшей истории, найдем повсеместно одну и ту же херограф . . . херое . . . херео . . . как говорится, консерваторию — шаг туда, два шага оттуда.

**БТ:** Но под чью дудку? Бывают случаи, что мы оказываемся свидетелями тому, как в нашем обществе еще сохраняются граждане, которые сами обуты, а других за ноги кусают, когда другие идут. Как почти как собаки. Да вы взгляните, как они живут! Они здесь живут, среди нас.

**ЯЯ:** Если позволите. Все же, как я уже отметил, мы достигли вполне круглого юбилея тов. Урбулиса. Не без потерь и ошибок, но мы шли и идем по нашему курсу. Один наш товарищ, как я уже сказал, со времен почти Перекопа, недавно встретил на улице и, как я уже отметил выше, помог товарищу, тащившему по вышеупомянутой улице слона.

**БТ:** Я против какой-либо драматизации ситуации, но что хорошо — то хорошо.

**ТМН:** Добавлю только, что для, как говорится, Латвии тут нет ничего нового. От имени нашего комитета могу вспомнить многочисленные случаи подобного рода, когда, например, и товарищ полковник Чапаев, Василий Иванович, неоднократно обращался к нам в данном аспекте, а также и многие другие товарищи.

**ЯЯ:** Товарищи, не надо забывать, что слон, которого за хвост по улице тащил гражданин, которому помог наш товарищ, был, как оказалось впоследствии, так сказать, мертвым. И товарищ помог.

**БТ:** Признаюсь, этот случай для меня является малоисследованным. Нам надо гораздо полнее отражать и освещать наши проблемы и пути.

**ЖЖ:** Да. Вы правы. Дорогие телеписатели! Как вы, возможно, уже слышали, к нашим радиокамерам подключены наши руководящие работники. Соглашаясь с тем, что есть у нас еще потенции, я, в то же время, не хочу пропустить как же на самом деле в наших условиях с социальной справедливостью.

**БТ:** Вот я хочу задать вам этот вопрос.

**ЖЖ:** Да . . . Мне? Просите, но радиозрители нашего журнала задают нам этот вопрос задать вам.

**БТ:** Это уже давно доказано, что плохому танцору что-то мешает.

**ЖЖ:** Да. Спасибо.

**ТМН:** И мы также, в комиссии, постоянно ставим, как говорится, выдвигаем задания, и те стоят до сих пор, как наши люди, которые не достигли пока еще такого уровня;

чтобы в них возник, как говорится, энтузиазм, с тем, чтобы по нему и идти... Есть такие люди.

**ЖЖ:** Да, конечно. Конечно. Но ведь есть и люди, которые проявляют интерес, будут ли у нас когда-нибудь в полной мере воплощены принципы социальной справедливости. Не могли бы вы выразить, если у вас имеется, свою персональную точку зрения.

**ТМН:** Ну ладно, забирайте тогда мою баню.

**БТ:** Товарищи! Сегодня в мире происходят глобальные процессы! Наша страна в космосе! Во всем Советском Союзе в настоящий момент имеется восемнадцать или более членов Партии, товарищи, миллионов, из которых, товарищи, не менее восьмидесяти трех тысяч товарищей находятся в нашей республике. Это — большая, товарищи, сила! С ней нельзя не считаться. Нам, коммунистам и прочим беспартийным, активно следуя происходящим вокруг общественно-экономическим процессам, нельзя не задаться обоснованным вопросом — куда мы идем? Товарищи, таким образом говоря, конструктивной позиции мы не достигнем. Так ставить вопрос не правильно. Это, товарищи, следует понять всем нам.

**ЖЖ:** Да. Спасибо. Но я же только задал вопрос, который наши телечитатели задают задать вам. Они пишут, что задать его им задают их товарищи из их среды.

**БТ:** Ну хорошо, проголосуем. Поднимите руку. Поднимите вторую. Теперь опустите.

**ТМН:** Позвольте обсуждение считать законченным.

**ЯЯ:** Товарищи, а также и мне хочется высказать мысль, что у нас в настоящий момент много бы чего не стояло, если бы не произошел случай с нашим товарищем, который в Болдерае взялся за самую толстую часть слона, то есть за хобот... чтобы таким образом помочь выполнению волоочильных работ по улице. В преддверии тринадцатых тысяч триста тридцать третьего юбилея нашего общего тов. Урбулиса об этом следует не забывать и помнить.

**ТМН:** Да, товарищи, в Болдерае. Однако, на данный момент нашему комитету еще неизвестно — за хобот или наоборот. Поэтому, хочу упомянуть важный пример, а именно, что в Ливанах покойников провожают теперь уже из гаражей. Разумеется, если таковые находятся в законном владении покойников либо их близких.

**БТ:** Правильно, товарищи. Это не проблема. Бензин у нас теперь можно зачерпнуть из любого колодца. Это, так сказать, наши неисчерпаемые ресурсы. Сделать нам предстоит еще много. Но и сделано, товарищи, не мало. У меня нет на руках конкретных цифр, но, вот, товарищи показывают, что колодцы у нас есть.

**ЯЯ:** И даже на Саркандаугаве, куда отволакиваемый покойник слон был в день объявления тов. Урбулиса совместными усилиями перемещен посредством волоочения по улице, мы отыщем не меньшее число случаев позитивных фактов, которые можем видеть даже по телевизору.

**ЖЖ:** Спасибо. Уважаемые читатели нашей передачи! Наши микрофоны установлены на столе, и здесь также находятся и наши ведущие нас ответственные товарищи. Продолжая наш разговор, хотим перейти теперь к нашему следующему вопросу и позволить нашим руководителям получить возможность ответить за социальную справедливость в ими ведомом и подведомственном обществах.

**БТ:** Товарищи. Есть такое мнение, что надо помочь прессе.

**ТМН:** Товарищи! В комитете выкристаллизовалась, как говорится, точка зрения, что никто сейчас толком не понимает, что думает. Может быть, кто-то понимает дома, но в обществе и на работе он уже не знает, что думает только дома. А на работе не знает и думает то же самое.

**БТ:** Если называть вещи своими именами, то в одних туфлях долго не проходишь, порвутся. Не так, разве?

**ТМН:** Это именно так, как обстоит. Позвольте довести до вашего сведения коллективное мнение о том, что у многих наших граждан где-то как-то потеряно кое-где уже политическое лицо. У меня с собой есть официальная бумага.

**ЯЯ:** Это особенно важно именно сегодня, когда вся страна, как один, готовится встретить и проводить шестое событие в жизни нашего дорогого тов. Урбулиса. Нельзя забы-

вать, что доставка слона на Саркандаугаву момент не менее важный, чем после этого затащить его на почти пятый этаж. Принимая очередное окончательное решение, об этом надо помнить.

**ТМН:** Мы работаем и все фиксируем. Этот случай не единичный. Один член нашего комитета, являющийся представителем малой северной народности, будучи в целях обмена опытом направлен в гор. Тель-Авив, обратился к нам, что, с известной точки зрения, он этой должности не соответствует и просил перевести его обратно на Север. Мы пошли товарищу навстречу, и вот он опять здесь, среди нас, перевели.

**БТ:** По поводу прессы. Что это, понимаете, товарищи, такое: «Чем начальник больше, тем больший дурак?» Как это надо понимать? И мне, например, совершенно лично не понятно, что означает: «Мяса нет и не будет». Это, товарищи, не конструктивный подход. Серьезные возражения также вызывают и такие прозвучавшие предложения, как «Ригу — латышам, Москву — китайцам». Правомочна ли такая постановка вопроса? Товарищи, где тогда окажемся мы? Нет, товарищи, это мы принять не можем. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Я не за то, чтобы у нас не было критики. Нет, критики у нас уже достаточно. Но где же, товарищи, эстетика? Надо изыскивать возможности для того, чтобы больше аналитически синтезировать.

**ТМН:** Вроде бы появляются даже целые книги, я не читал, но знаю, что, например, есть такая — «Лысость в СССР». Это же какой-то абстракционизм!

**БТ:** Товарищи! Все эти так называемые печально известные произведения допущены в результате допущения ошибок в реализации правильного воспитания. Невзирая на это, мы с товарищами прочли их дважды. С полной ответственностью могу заявить, что такой модернизм нам не нужен. Надо тщательнее подбирать формулировки. Мы находимся в прессе, а не где-нибудь на улице. Это никогда не следует забывать.

**ЖЖ:** Да.

**БТ:** И еще вот какое дело. Что говорят наши классики? Они говорят, вот, что они говорят — надо быть инженерами человек. Нам всем надо бороться против, то есть, хочу сказать, за людей, за весь наш народ. Это большая честь и обязанность.

**ЖЖ:** Да. Спасибо.

**ЯЯ:** Хочу еще добавить, прибавить, что, когда вышеупомянутый слон вместе с указанными выше товарищем и другим товарищем, ему помогавшим, был, таким образом, в результате совместных усилий, доставлен в квартиру вышеупомянутому... понятому товарищу, которая, по известным нам сведениям, располагается на более чем восьмом этаже, то этот, так сказать, слон, принимая во внимание и идя навстречу, был размещен в квартире хозяина, то есть товарища, которому помог наш товарищ, таким образом в, так сказать, хозяина соответствующей квартиры или, точнее говоря, жильца, ванную, если так можно выразиться, комнату где и был помещен в ванну, принадлежащую данному товарищу жильцу. Что осуществив, была пушена вода.

**ТМН:** Верно, на этот счет имеются документы. В них зафиксирован нормативный акт касательно очередного выпуска тов. Бурбулиса в предусмотрительном... ельном порядке для приемки и отметки об исполнении Совету трудового коллектива цеха по производству отверстий в пуговицах для наволочек подушек складно-раскладных кроватей производственного объединения П/О «Союзгоскороббарбас».

**БТ:** Вот так вот, товарищи. Можно сказать, что и наше сотрудничество с прессой я рассматриваю через призму именно данного момента, со здоровыми силами, которых в нас, товарищи, не недостает.

**ЖЖ:** Да. Спасибо. Дорогие наши слушатели! Наши столовые микрофоны установлены, и с вами говорят наши многочисленные руководящие товарищи. Мы получили большое число ваших телефонограмм, с адресованными им конкретными вопросами. Один из них я сейчас зачитаю,

его нам по-прежнему задает товарищ Антонс Букс-Дзелгалвис из хозяйства «Плакат» Петропервовского района. Вопрос состоит вот в чем, я цитирую, — что вы называете социальной справедливостью и, по вашему мнению, в чести ли она у нас?

**ТМН:** Сомневаюсь, что этот звонок прозвенел. Товарищ Букс-Дзелгалвис наш депутат.

**ЖЖ:** Так. И товарищ еще добавляет, что данный вопрос во время перекуров вызывает головную боль не только у него, но и у соседей.

**БТ:** А как обстоят дела в среде кенгуру? Товарищи, я был среди кенгуру. Почувствовал наличие сильной, сплоченной организации, пришлось выступить и там. Могу сообщить, что там этого нет. Извините и поправьте, если я вдруг своей головой где-нибудь ошибусь, но по имеющимся в моем наличии цифрам, они там все гордятся и нашими достижениями.

**ТМН:** Невзирая на то, что сейчас у нас крайне жаркое время, наша комиссия, с целью невозникновения недоразумений, сохраняет ответственность за то, чтобы все сосиски расфасовывались в понятную для народа оболочку. Хотя, как говорится, спортсмены в своем рационе кое-где используют в целях питания даже астероиды. Их не всегда следует прибавлять на месте к позорному столбу, следует прислушаться вначале, что они думают, как говорится, сами. Почему здесь пресса молчит, а выступает там, где следует специалистам?

**БТ:** В отношении к прессе двух мнений быть не должно. Есть только одно отношение. С точки зрения позиций.

**ЯЯ:** Товарищи, здесь у меня добавка . . . ление про прессу. Хотя у нас еще не повсюду прожектора и не хватает фильтров, но, тем не менее, надо требовать большей боевитости. Сегодня, например, когда близится очередная годовщина освобождения т. Урбулиса, напомним, что по этому поводу написал когда-то поэт, товарищ и публицист Владимирс Бедныйс, у меня записано, читаю:

В наши вагоны  
на нашем  
Пути наши  
грузим дрова.

Вот, товарищи, так вот! Где у нас сегодня перед нами подобные примеры? Нет их. Где Павлик Матросов и энтузиазм? Там же. Так нельзя. И этот вопрос особенно важно поднять в преддверии празднования праздника нашего товарища Урбулиса.

**ЖЖ:** Да. В заключение хочу попросить собравшихся за нашим столом товарищей привести какие-либо конкретные факты проявления социальной справедливости, каковые им, возможно, довелось наблюдать.

**БТ:** Дам хороший совет. Будем реалистами. Я бы охарактеризовал это таким образом, что нельзя уклоняться от социального оптимизма.

**ЯЯ:** Товарищи, постойте, хочу еще вкратце о примерах, таких примеров у нас достаточно. Как я уже сказал ранее, когда один наш, еще со времен первого восстания Спартака, товарищ задал подобный вопрос нашему новооткрытому виновнику торжества, которому незадолго до этого помог, а именно — для какой цели или с какой целью ему, в ему принадлежащей ванне, требуется наличие целого, так сказать, неживого слона, и что именно он, юбиляр, с ним будет делать, то есть, имеется в виду, что будет делать со слоном, то он, наш долгосрочный товарищ, так сказать Урбулис, ответил ему в том аспекте, что делать он ничего не будет, а завтра к нему на празднование круглого дня рождения придут, у меня тут записано, товарищ Пичс, а также еще некоторые, если так можно выразиться, ветераны, с тем, чтобы в некотором смысле ощутить домашнюю атмосферу за стаканом чая, либо чего-либо другого, что зависит от того, кто придет и что принесет. После некоторого времени официального хода этого занятия, товарищ

Пичс или, к примеру, кто-либо из прочих, принимающих участие в данном мероприятии товарищей ветеранов, возможно, захочет посетить и его частную, как это уже было отмечено выше, ванную, то есть, говоря конкретно, санузел. Где, вероятно, но скорее всего, обнаружат в ванне наличие останков вышеуказанного животного, то есть, другими словами, слона. Дохлого. И, это увидев, окажутся, видимо, удивлены. Может случиться и так, что и они, в данном случае и со своей стороны, захотят подобным же образом или как еще иначе удивить, в свою очередь, и его, нашего долговременного товарища Урбулиса, с которой целью сообщив ему, что, знаешь, товарищ Урбулис, вы об этом может и не догадываетесь, а в твоей, с позволения сказать, ванне, пока ты тут рассиживаешь, плавают слон . . . слон. Дохлый. Утоп. Вот. И тогда он, новорожденный наш товарищ Урбулис, он не удивится, а вместо этого и скажет: Слоны? Ну и что? Вот, с какой целью, товарищи!

**ЖЖ:** Да. Это весьма.

**ТМН:** Мне хочется добавить, что параллели следует продолжать. Это что касается вопроса, что теперь противник часто не с глазу на глаз, а хочет нас врасплох. Поэтому что, вот, скажем, уезжает товарищ в командировку. Но что-то забывает. И, как говорится, этот товарищ возвращается обратно, и что он видит? Мне неприятно говорить, но он видит, что создалась такая ситуация, в которой его супруга жизни являлась, оказывается, в предыдущий период жизни для него загадкой. У меня есть документ, с подписью.

**БТ:** Поэтому, товарищи, нам всем надо, всем в один кулак, как никогда. Поставим точку над *i* и за работу.

**ТМН:** И это именно та точка, которой нам, подчас, именно теперь и недостает больше всего.

**ЯЯ:** Позвольте только донести до общего сведения, у меня тут записано и принято к исполнению, несколько теплых приветствий товарищу Урбулису, автор которых тот же самый, что и накануне, товарищ, так сказать, и поэт Владимирс Бедныйс, которым мы сегодня уже однажды гордились, вот:

Сидят в грязи рабочие.  
Сидят, лучину жгут.  
Через четыре года  
Здесь будет город-сад.

**ТМН:** От имени группы товарищей нашей комиссии желаем, чтобы товарищ Урбулис всегда и впредь поднимал и держал высоко.

**ЖЖ:** И мы, со своей стороны, с удовольствием присоединяемся к этим добрым пожеланиям товарищу Б. Бубулису в день его несколькосотлетнего юбилея, желаем ему еще столько же зим, а лет — в два раза больше. И, в заключение, последний вопрос товарищам, присевшим сегодня за наш общий стол. Не могли бы вы в двух словах охарактеризовать ваше отношение к столь актуальному нынче вопросу о социальной справедливости? Как вы оцениваете ее жизнеспособность в нашем обществе? Что еще, по вашему мнению, нам следует в этой области осуществить?

**БТ:** Если вы вчера читали мою речь, воспринятую трудящимися с чувством глубокого удовлетворения искреннего единодушия, то вы уже знаете, что можете передать свое заявление в письменной форме, мы его рассмотрим и после этого сможете позвонить нам в любое указанное вам время.

**ЖЖ:** Спасибо! Дорогие абоненты! Благодарим всех, кто был сегодня вместе с нами! Наш сегодняшний разговор был посвящен современным аспектам социальной справедливости! Надеемся, что продолжим его в наших следующих передачах, и на этом мы сегодня отключаемся! До новых встреч в эфире!

**БТ:** Пожалуйста.

Перевел АНДРЕЙ ЛЕВКИН

# ПЕТР ПЕТРОВИЧ ПОТЕМКИН

Петр Петрович Потемкин, любивший обыгрывать буквенное единоначалие своего полного имени (иногда подписывавшийся ППП, иногда — Пикуб, то есть «пи» в кубе), родился в Орле в 1886 году, умер в Париже в 1926 году. Прославился в петербургских литературных кругах в 1908—1912 годах, потом жил в Москве до 1920 года, писал скетчи для маленьких театров, во время военного коммунизма пережил, как и многие из его литературных ровесников, слух о своей смерти, контрабандистскими тропами с женой и маленькой дочерью добрался до реки, за которой была Бессарабия —

Течет среди ночных пустынь  
Днестр, нам представший Рубиконом . . .  
на челноке в ледоход пересек реку —  
И страшно тем, что нету страха —  
Все ужасом в душе сожгло.  
Пусть вместо лодки будет плаха,  
На ней топор, а не весло —  
Ах, только бы перегрело!

Когда перегрело, он поселился сначала в Кишиневе, потом — в Праге, переводил чешских поэтов, писал пьески для русских эмигрантских трупп, киносценарии. В эти годы он среди прочих зарубежных русских газет печатался в рижской «Сегодня». Здесь напечатаны и три его стихотворения, отразившие давние рижские воспоминания.

Семья Потемкиных довольно долго прожила в Риге (один из адресов — Школьная, ныне Андрея Упита, дом 13, квартира 1). Отец — Петр Денисович Потемкин был служащим Риги-Орловской железной дороги, руководителем местного драматического кружка (в одном из спектаклей выступил и сам), одно время — член Управления Рижского русского городского театра. Четыре с половиной года будущий поэт учился в рижской гимназии. Приятель его поэтической молодости Владимир Пяст вспоминал: «Потемкин прожил в детстве некоторое время в Риге и считал себя связанным с немецким языком и культурой». В свои петербургские годы он часто наезжал в Ригу, летом жил на штранде или в Рингмундсгофе (Ринужи), иногда подрабатывал вагонным контролером. Солдатская песня, опубликованная им в «Сегодня» (1924, 25 мая), по-видимому, была сильно обработана Потемкиным (хотя этот текст потом и включался в свод русского старожильческого фольклора Латвии). Цикл из двух стихотворений о Риге его детства переносит нас на площадь Екаба (площадь между улицей Горького и Арсеналом), традиционное место городских празднеств (там проводился и Праздник песни), где поэту запомнилось то ярмарочное увеселение, которое потом Александр Чакс описал в «Умур-кумуре», и на улицу Заля, заселенную тогда ремесленниками и рабочими кондитерской фабрики Ригерта.

Критик Петр Пильский рассказывал о поре первой полускандалной славы Потемкина:

«Из Риги от старой матери в Петербург к заблудшему сыну пришло огорченное письмо, а к нему была приложена газетная вырезка из двух кусков, наивно сшитых белой ниткой. Укоризны посылала мать Потемкина своему сыну Петру, студенту университета, а так огорчившие ее газетные строки говорили о стихотворном легкомыслии ее сына. Тогда «Петруше» Потемкину шел 22-ой год, и я помню его в мундире с синим воротником. У него была . . . да, пожалуй, это самое точное определение — у него была веселая мрачность. В его литературной душе, как и в его че-

ловеческом облике, уживчиво сочеталось простодушие с иронией. Впрочем, эта тайная ироничность никогда не заострялась в насмешку; она оставалась неизменно шутиливой».

Газетная брань относилась к первому сборнику Потемкина «Сме́шная любовь» (1908), в котором он поставил перед собой задачу, точно сформулированную в рецензии Брюсова: «Выработать особый язык, особый стиль, особый стих, который мог бы вполне выразить обе стороны его поэзии, ее внешний комизм и ее внутренний трагизм, — стих, почти лубочный и в то же время утонченный, язык грубый и изысканный одновременно . . .». И еще одно задание явственно ощущается в книге — запечатлеть, исчислить, изназвать приметы современного города. В мае 1909 года, приехав на очередное лето в Ригу, Потемкин писал о своей книге Иннокентию Анненскому, отвечая на какое-то недошедшее до нас письмо старшего поэта: «Вы сами видели теперь все ее недостатки, а мне они с некоторыми пор кажутся прямо чуть ли не преступлениями. Но в одном я не согласен с Вами, это в отрицании Вашего городской сказки. Мне даже кажется — не будь у города обманчивой фантастической личины, раздавай все его изнанку — рецепты да счета, убедись в том, что кроме них ничего нет в городе, никто и жить бы в нем не стал. Это, может быть, дерзко и глупо с моей стороны, но я в это верю. Не согласен я и с тем, что импрессионизм не идет городу». К письму было приложено стихотворение «Нет, не дал я поддельной лепты . . .», в котором Потемкин пытался связать и выстроить тот же ряд мотивов. «Простите за скверные стихи, но они так написались почти экспромтом», — оговорил Потемкин (это стихотворение он никогда не печатал).

В 1912 вышел его следующий сборник «Герань», по поводу которого Гумилев заметил: «Стихи П. Потемкина в поэзии то же, что карикатура в графике. Для них есть особые законы, пленительные и неожиданные. Кажется, поэт наконец нашел себя». Острое своеобразие Потемкина (его интонация, как заметила Лидия Гинзбург, иногда предвосхищает Олейникова) после «Герани» меркнет — Брюсов считал, что виной тому еженедельная служба у «Сатирикона», журнала, подталкивавшего к «дешевому остроумию, дешевой ловкости стиха». ППП не перестает быть асом стихового экспромта, записывает в книгу Подвала «Бродячей собаки» забавно срифмованную галиматью, вроде —

Настреляет дроф она,  
Угощает Гофмана;  
Гофман кочевряжится:  
Речь его не вяжется;  
Каш из ячменёв, манн  
Хочет милый Гофман, —

и, сойдя с авансцены русского модернизма (в 1918 году Гумилев писал о нем как «несколько лет уже не печатавшемся» и вспоминал его «стремление жить не в мгновениях и не в веках, а только в днях», его «дразнящую автобиографичность и наблюдательность»), все же остается лириком, достойным памятливого внимания. «Поэт — весь, целиком. Такой уж уродился», — вспоминал о нем Борис Зайцев. И в поздних стихах Потемкина, написанных в голландной Москве, в кишиневской оглядке на кровавые будни отчизны, в парижской ностальгической песенке звенит сквозь туман скомканной литературной судьбы струна подлинной поэзии.

РОМАН ТИМЕНЧИК

# ПЕТР ПОТЕМКИН

ЧЕ — КА

(Посвящается памяти Н. С. Гумилева)

## I. Камера

Может быть, нас было тридцать,  
Может быть, нас было три . . .  
От зари и до зари  
Сердце билось: триста тридцать  
Будут жить, а ты — умри!  
Триста тридцать глупых трупов,  
Позабывших умереть! . . .  
Научись у смерти впредь  
Жить, как триста тридцать трупов,  
Запертых в земную клетку.

Знай одну свою утробу —  
И до гробовой доски  
Не ищи святой тоски.  
Поздним гробом тешь утробу —  
Все равно, — придешь ко гробу,  
Только стукнет смерть в виски.  
Сколько здесь — четыре стенки?  
Глаз, уймись и сердце, стой!  
Поздно . . . новый перебой . . .  
Сколько здесь — четыре стенки?  
Не довольно ли одной?!

И тягуче кучит думы,  
В тучи, мучась, пленный ум.  
Тяжек гнет тюремных дум,  
Темной тучей скучил думы  
В кручах мозга смертный шум.

## II. Песня караульного

Постреливай, постреливай,  
Поганое ружье!  
Поцеливай, поцеливай  
В затылок да в плечо.  
Помахивай, помахивай,  
Революционный кнут!  
Коль он буржуй — так трах его —  
И тут ему капут!  
Разменивай, разменивай,  
Ставь к стенке дряхлый мир!  
Ты в курточке шагреновой,  
Ты — красный командир!  
Колесико истории,  
А где твоя чека?  
Теперь и в Еплатории  
Заведена Че-ка!  
За Лениным, за Лениным,  
За Ленина умрем!  
Не стать же на колени нам  
Пред батюшкой царем!  
По морюшку, по морюшку  
Гуляет красный вал —  
Конец положит горюшку  
Интернационал.

## III. Перед расстрелом

«Ставни, ставни закрой!  
«Ставни . . . та-а-а-вни!»  
И забылся недавний  
Ключом покой.  
Молчок  
На толчок  
Повернулся  
Мозжечок  
Новичок  
Рехнулся.  
Нос в навозе. В пещерном углу  
Вижу мглу.  
И втыкает кто-то иглу  
Длинную, длинную  
И смертельно невинную  
В позвонок.  
Загудело в ушах:  
— «Не надо! Не надо!»  
— «Тишина! Не кричать!»  
Петров Николай,  
Виноградов,  
Забирай!  
На вещах  
Что ли спать  
Собираешься, сволочь!»  
Ай!  
Иголка, Игол Иголыч,  
Игла!  
Колется, колется  
Все точней, все исправней . . .  
В сердце вошла.  
Кто это молится?  
— «Ставни, ставни закрой»  
— «Ставни . . . та-а-авни . . .»  
Мгла.  
За жратвой  
Смерть пришла.

## IV. Карцер

Седьмая вошь, восьмая вошь,  
Девятую грызу.  
Досадно — сердце не сгрызешь,  
Не выкусишь слезу.  
Направо кал, налево кал,  
Ни нар, ни стульчака.  
А там в углу сидит фискал,  
Подсаженный Че-ка.  
Эй, солнце, высади стекло!  
что можешь, — подсуши!  
Тут, даве крови натекло  
С порядочный кувшин.  
Воняют падалью портки,  
Рубаха загнила . . .  
Куды уйдешь из Губчеки?  
Эх, купчики, голубчики,  
Где наша не была . . .

## V. Везут

Повели на двор и вывели,  
Собирайся на допрос!  
Бранным словом ошастливили  
Вместо папирос.  
Ночь тепла. На небе звездочки  
Не задохнутся сверкать . . .  
Поднесли бы рюмку водочки —  
Однава ведь помирать.  
Грузовик пыхтит и дуется.  
— «Ну-ка, сволочи, грузись!»  
Всяк бежать антиресуется,  
А, поди-ка, отгрызись!  
— «Восемь вниз ложись — не двигайся,  
Восемь сверху — поперек.  
Эй ты, сукин сын, не дрыгайся,  
Хочешь, стерва, на утек?»  
А куды он милай денется —  
Сверху туша на семь пуд!  
Из живых людей поленицу  
На размен в гараж везут.

## VI. Гараж

Из одного куска гараж  
На диво вылит.  
Стреляй, тут промаха не дашь,  
В висок на вылет.  
Он не велик, и не высок,  
Он меньше боен,  
Но специальный кровесток  
И в нем устроен.  
Коммунистический бетон  
Скрепил железо.  
В нем тухнет каждый смертный стон,  
Он звук обрезал!  
Над ним работал ночи спец  
При политкоме  
И был расстрелян под конец  
В своем же доме.

## VII. Дележ

Делят руки в восемь пар  
Свежую добычу.  
— «Ванька, дай мне портсигар!»  
— «Я те шиш позычу!»  
Смех скрипуч у шутника . . .  
Ветер в уши хлещет . . .  
Ночью был размен в че-ка,  
Вот и делют вещи.  
Сорок кучек, сорок штук,  
Десять штук на рыло . . .  
Скрыл пальбу моторный стук,  
Туча кровь прикрыла.  
Алый змей, убойный змей,  
Выполз из берлоги,  
Чешуей прикрыл своей  
Все пути-дороги.  
Нет пути и свету нет . . .  
Край мой, край родимый,  
Проклят ты на много лет  
Клятвой нерушимой.

Кишинев. 1921 г.

## МЩЕНИЕ (Баллада)

Жили два клоуна, Тобби и Том,  
Жили, ходили всю жизнь колесом.  
Том выдувал кэк-уок на метле,  
Тобби крутился волчком на столе.  
Том был серьезен, трезв и женат,  
Тобби был ветрен и выпивке рад.  
Том и за делом был груб и угрюм,  
Мрачно одетый в лиловый костюм.  
Тобби, весь в желтом, с веселой душой,  
Портил арену своей головой.  
Оба, в расцвете приехавши к нам,  
Были любимцами ветреных дам.  
От неизвестных, но милых персон  
Много им писем носил почталыон.  
Том, не читая, их комкал и рвал,  
Шел и жену горячо целовал.  
Тобби, напротив, большой Дон-Жуан,  
Прятал все письма в жилетный карман.  
Жили б и жили б Тобби и Том,  
Жили б, ходили всю жизнь колесом —  
Да дернуло Тобби в обществе дам  
Про друга, про Тома обмолвиться: хам!  
С помощью милых влюбленных персон  
Том был сейчас же о всем извещен.  
Он две недели думал, как быть,  
В среду на третьей решил отомстить.  
В доску, где Тобби вертелся волчком,  
Маленький гвоздик он вбил молотком.  
Тобби двадцатого, в десять часов  
Череп себе провертел до мозгов.  
Сорок три дамы рыдали по нем . . .  
Так отомстил добродетельный Том.

На Яковлевской площади  
Сегодня сухо так,  
Что прямо без калош иди,  
Не загибая брюк.  
На Яковлевской площади  
Сегодня реет флаг,  
И фурманские лошади  
Вокруг замкнули круг.  
На Яковлевской площади  
Стоит высокий столб.  
На Яковлевской площади  
Сегодня толпы толп...

Над толпой высоко  
На столбе колесо,  
Точно обруч серсо  
Подцепил великан  
На палку.  
И в хмурую свалку  
Угрюмых рижан  
Ткнул клюкой,  
Намазанной мылом,  
Как в рыжий муравейник...  
Кто ловкач, кто затейник?  
Кому по силам  
Грязною тряпкою снять  
Зеленую гушу и влезть  
И взять,  
Что есть

На вершукке столба —  
Сапоги и пиджак и брюки?  
Потирай, три,  
Три руки песком,  
Намажь колена  
Смолою!  
Вокруг столба толпа,  
И ты над толпою  
Ползком  
Почти без движения  
Ползешь, ползешь, ползешь  
И плюешь  
Жирным мылом в красные лица,  
Чтоб сесть на вершу верхом  
И четвертым стать петухом,  
Там где три петушинные спицы:  
Петрикирхе, Якобскирхе и Дом!

## II

На углу Зеленой и Мельничной  
Может быть, он стоит до сих пор,  
Этот дом, как есть всамомделишный  
И калиткой шеку подпер.  
Уграватый, морщинистый, крошечный,  
Непонятно зачем и как  
На фасадик свой однокошечный  
Непосильный надвинул чердак.  
Черепичная крыша чепчиком  
В желобах зеленеет трава,  
И неведомым слеплена лепщиком,  
Над окном под коньком голова.  
Четверть века! Давно ли? Далеко ли?  
Убежали в былые года?  
Может, время на старом цоколе  
Не успело разрушить гнезда?  
На Зеленой время не движется,  
Верно — тот же гранит мостовой,  
Та же в дождик зеленая жижица,  
Та же дворничиха с метлой?  
Может, тот же все флюгер ржавеет  
На высоком, чахом шесту,  
И исполненный самодержавия  
Топчет кур на дворе петух.

\* \* \*

Шуршит ледок,  
А сердце бьется...  
А вдруг челнок  
Перевернется.

И берег нем,  
А сердце бьется...  
Не лучше ль тем,  
Кто остается?...

Ну, не смешно ль,  
Как сердце бьется...  
Утихла боль,  
Тоска уймется.

Родная Русь,  
Как сердце бьется...  
Когда вернусь  
И все вернется?

Кишинев — Прага, 1920

\* \* \*

Нет, не дал я поддельной лепты  
Вдове — слепым своим стихом,  
Пусть с исполнительным листом,  
Не сказки — счеты и рецепты  
Вскормили город — он не в том.

С него загадочной повязки  
Пусть я, бессильный, не сниму,  
Такой я тайны не пойму,  
Но верю, много чар и сказки  
В его тумане и дыму.

И как мне быть всегда размерным  
И точным в быстрой смене лиц,  
Следя за шапками девиц,  
Бродя по лавкам и тавернам  
Неумолкающих столиц.

И как весной в закатных розах  
Под дальний стон речных сирен  
Не позабыть линейность стен,  
Не сокрушить в невольных грезех  
Железным кажущийся плен.

## ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

Красит кисточка моя  
Эйфелеву башню.  
Вспомнил что-то нынче я  
Родимую пашню.

Золотится в поле рожь,  
Мух не оберешься,  
И костей не соберешь,  
Если оборвешься.

А за пашней синий лес,  
А за лесом речка.  
Возле Бога, у небес,  
Крутится дощечка.

На дощечке я сижу,  
Кисточкой играюсь.  
Эх, кому я расскажу,  
И кому признаюсь?

1926

## НОЧЬЮ

Ночью серая улица...  
Слепые дома...  
Папироска моя не курится,  
не знаю сама,  
с кем мне сегодня амуриться?

\* \* \*

Ну да, живу. По каплям дни  
Текут в бадью пустой надежды  
И нету праздничной одежды  
Для тех, кто, как и мы, одни.

Есть солнце, но оно не наше,  
Есть ветер, но не ласков он.  
Один охрипший граммофон  
Кудахчет, и, под хрип и стон,  
Вся жизнь вокруг руками машет.

И место действия — Москва,  
И время — девятьсот двадцатый.  
Ах, если б о косяк проклятый  
Хватиться насмерть головой!

\* \* \*

Да, может быть, и грубо  
Все есть, и есть, и есть,  
Забыв, что в мире Люба  
И кто-то третий есть.

Да, может быть, и гадко  
Бояться умереть,  
И от других украдкой  
Жевать сырую снесь.

Но сами ловят зубы,  
Но сам хватает рот  
И пакостный и грубый  
Жует, жует, жует.

## СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

(записана со слов солдата  
Иванова в Риге в 1907 году)

Сам царь Пётра, сам Великий,  
Сам царь пушку заряжал,  
В крепость свейского владыки  
Сам царь ядра посылал.  
«Я-те, друг, поторжествую!  
Подчинись-ка мне — пора!  
В башню-ка пороховую  
Получите три ядра!  
Метит Пётра не в измену —  
У него орлиный взгляд,  
Как впелит те ядра в стену,  
Так там двести лет торчат.  
Запросил тут вмиг пардону  
Свейский генерал-аншеф:  
Никогда уж вас не трону,  
Я гиперборящий лев.\*  
Ну, известно, пировали,  
Ну, известно, напились,  
Башню малость подорвали,  
Только в город ворвались.  
Лишь прошло с тех пор сто с веком,  
Изменилось все на вид.  
Стала Рига человеком,  
Вся как новая блестит.  
Башня стала монументом,  
Так сказать, от той поры.  
Башню отдали студентам  
Под рапирные пиры.  
Стала башенка пригожей,  
Только сразу не понять,  
Что в ней, пьяных буршев рож  
Али ядрышки торчат.

\* Очевидно, Гиперборейский лев — прозвище Карла XII (примечание П. П. Потемкина).

# АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ

# ГОФМАН И АНА

## СЦЕНАРИЙ

### ГОФМАН

Сумерки вливаются в погребок со сводчатыми выбеленными потолками. Темная дубовая столешница, отполированная локтями завсегдатаев, покрыта лужицами остывшего пунша, в которых отражается меркнувший свет пасмурного дня.

Судя по негромким голосам, посетителей мало. Вокруг стола, стоящего напротив окна, утомленные, действующие словно под сурдинку собутельники.

У него нет сил. Низко склонившись над пролитым на стол вином, он прислушивается к далеким голосам печального застолья: редким, бессмысленным, с паузами, зияющими на ткани беседы, словно раны.

Кто-то везет его в карете. Плавное покачивание. Чьи-то руки поддерживают его за плечи. Карета бесшумно, как головокружение, вливается в широкую дверь, плавно поднимается, подобно дыму в каминной трубе, для того, чтобы он вновь сидел, обессиленный, за мокрым столом, в окружении седых, безликих поклонников, чествовавших его безмолвными речами.

Почему-то не несут свечей.

А теперь он идет в чистых сумерках по окраине города. Мимо деревьев и каменных стен, в разрывах которых мелькает пустота полей и дальних гор, покрытых лесом. Он видит окружающее то очень близко, «почти у самых глаз», то далеко, через пространство пустоты, омраченной наступлением ночи.

То близко, то далеко... Словно маятник раскачивается в его сознании, превращая его то в карлика, то в исполина. Издали доносится шум, похожий на тот, которым наполняется зал театра перед началом представления — приглушенные голоса, звуки настраиваемых инструментов... Они, эти музыкальные звуки, доносятся будто сквозь ветер — то близко, то дальше, словно морские волны, шум которых ветер относит и треплет до тех пор пока от него ничего не останется, кроме то ли крика чаек, то ли резкого и какого-то далекого голоса фагота...

Боже, как болит спина! Тулая, привычная, высасывающая спинной мозг боль! Хочется остановиться, нагнуться, обжечься острым, болезненным и неестественным для здорового человека наклоном.

Он останавливается на пустыре, расположенном у городских ворот, заросшем бузиной. Бледно-зеленые соцветия сияют в темноте, издавая душный тлетворный намек на запах.

Он ложится навзничь. Прижимает колени к груди. В темной траве белеют воротник и манжеты, мокрые от вина.

Неподалеку, в тени аллеи, дерева которой бесшумно покачивают вершинами, кто-то останавливается. В темноте поблескивает лощеная тулья шляпы. Худое лицо, черный пронзительный взгляд.

Знакомое лицо! Кто это?

Гофман встает с земли и идет в темноте в сторону аллеи, в тени которой ждет его этот знакомый незнакомец.

Но там — никого...

### МОЦАРТ

Пронзительный звонок и громкий возглас: «Представление начинается!» — вспугнули его дремоту.

Гудят контрабасы: удар литавр, и взревели трубы; гобой тянет звонкое ля. Вступили скрипки... Где это он?

Ах, вот оно что! Он лежит в номере гостиницы, куда он добрался после того, как болезнь вытрясла из него душу.

Темные обои с золотым тиснением; камин, в котором умирают угли, подернутые пеплом.

Гофман встает — он лежит одетый поверх одеяла — наливает в таз воду из кувшина и опускает в нее голову.

Вытерев волосы, он дергает сонетку.

Появляется слуга.

— Ради бога, что за шум?

— Ваше превосходительство, должно быть, еще не изволит знать, что наша гостиница соединена с театром. Через эту вот потайную дверь можно коридорчиком пройти прямо в двадцать третий номер — в ложу для приезжих.

— В ложу?

— Ну да, ложа для приезжих, маленькая, на двоих, для самых что ни на есть знатных постояльцев, прямо у сцены. Если вашему превосходительству угодно, сегодня «Дон-Жуан» знаменитого господина Моцарта из Вены. Плату за место — талер и восемь грошей — мы припишем к счету.

Гофман наливает в бокал остатки шампанского из бутылки, плавающей в ведерке с растаявшим льдом. С наслаждением, граничащим с отвращением, выпивает его до дна.

Слуга испуганно смотрит на него.

— Принесите мне пунша.

— Сюда?

— Нет, в ложу...

Театр был достаточно вместителен, отделан со вкусом и ярко освещен. В ложах и в партере, судя по шуму и говору, — полным-полно зрителей. И, оценивая увертюру, — оркестр превосходный.

Анданте потрясло ужасами грозного подземного царства слез...

Нечестивым торжеством прозвучала ликующая фанфара в седьмом такте аллегро...

Увертюра рассказывала о столкновении человека с неведомыми, злокозненными силами, которые его окружают, готова ему погубить...

Наконец буря улеглась. Взвился занавес.

Гофман греет ладони о толстый хрустальный бокал.

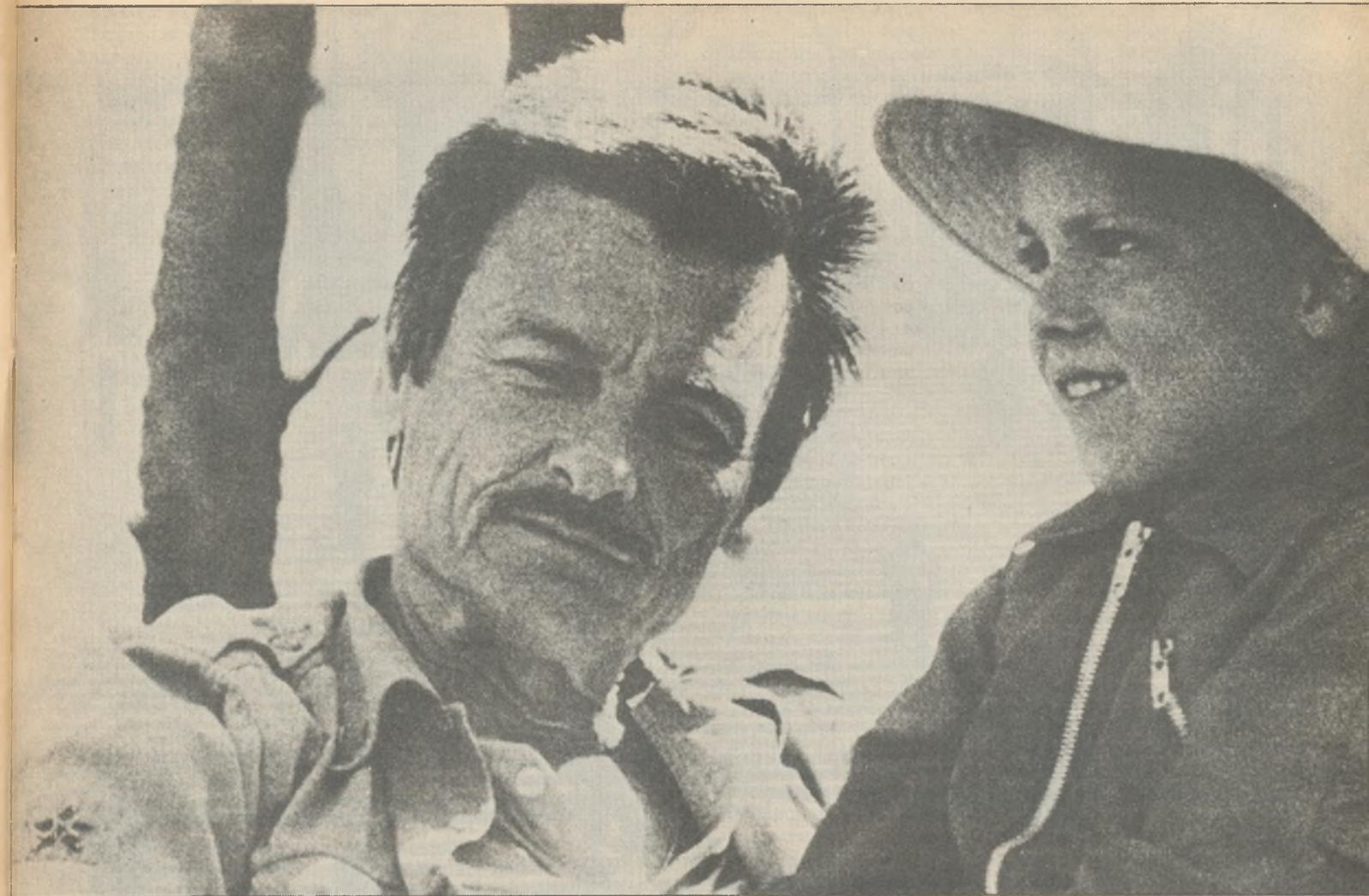
Темная ночь. Зябко и сердито кутаясь в плащ, шагает перед павильоном Леопорелло. «День и ночь изволь служить...» — раздается по-итальянски со сцены.

Из павильона выбегает Дон-Жуан, следом — донна Анна, удерживая нечестивца за плащ. Какое лицо!

Рассыпавшиеся пряди темных волос выются по спине, белое ночное одеяние не может скрыть красоты, не предназначенной для нескромного взора. И вот — что за голос! — «Не надейся! Все напрасно...» Подобно сверкающим молниям пронизывают гром инструментов отличные из неземного металла звуки!

Дон-Жуан тщетно старается вырваться. Только хочет ли он вырваться? Почему не оттолкнет он эту женщину и не бросится бежать? Злое ли дело подкосило его или же лишил сил и воли внутренний поединок между любовью и ненавистью? Старик отец поплатился жизнью за то, что безрассудно набросился в темноте на сильного противника...

Дон-Жуан откидывает плащ и предстает во всем блеске



затканного серебром наряда из красного бархата. Великолепная, исполненная мощи фигура, мужественная красота черт: благородный нос, пронзительный взгляд, нежно очерченные губы; вздрагивающие брови на какой-то миг придают лицу мекфистофельское выражение и, хотя не вредят красоте, вызывают безотчетную дрожь. Кажется, что женщины, на которых он бросил взгляд, навсегда обречены ему и, покорствуя недоброй силе, стремятся навстречу собственной гибели . . .

## ДОННА АННА

Гофман вздрагивает: ему кажется, что в тесной ложе, кроме него, находится еще кто-то. Может быть, этот кто-то отворил дверь и тихо прошмыгнул в ложу у него за спиной?

Он чувствует разочарование: одно замечание непрошеного гостя, да еще, чего доброго глупое может самым болезненным образом спугнуть чудесный миг музыкального восторга! Он решает не замечать соседа по ложе и, всецело углубившись в созерцание представления, избегать малейшего слова или взгляда. Склонив голову на руки, смотрит он на сцену. Представление продолжается.

Несколько раз он ощущает позади легкое теплое дыхание и улавливает шелест шелкового платья. Наконец он не выдерживает, искоса бросает взгляд в небольшое зеркало в позолоченной раме, висящее на стене ложи, и бледнеет от изумления. Вернее, от испуга: в зеркале отражается лицо донны Анны. Донны Анны, одетой в тот костюм, в котором он видит ее на подмостках!

Он понимает, что должен заговорить с ней. Проходит несколько томительных минут, прежде чем он решается на это:

— Как это может быть, что вы здесь?

— Здесь? Нет ничего проще и естественней. Разве с вами никогда не случилось — ну хотя бы во сне — чувствовать уверенность в том, что все возможно; чего бы вы ни захотели, все непременно исполнится. Да и исполняется, если вы вдруг решаете проверить истинность этого своего чувства.

— Только во сне.

— А разве сон не такая же реальность, как и явь? — улыбается она и, заметив, что он смотрит не на нее, а на ее отражение в зеркале, прибавляет: — Нельзя смотреть в зеркало ночью.

— Почему? — спрашивает Гофман.

— Вам будут сниться страшные лица.

— Они мне и так снятся. Даже не только снятся, а преследуют меня наяву.

— Вы очень устали?

— Да . . . Сегодня у меня опять шла кровь носом. Я надел сам себе с этой болезнью.

— Вы поэт?

Гофман отвечает не сразу.

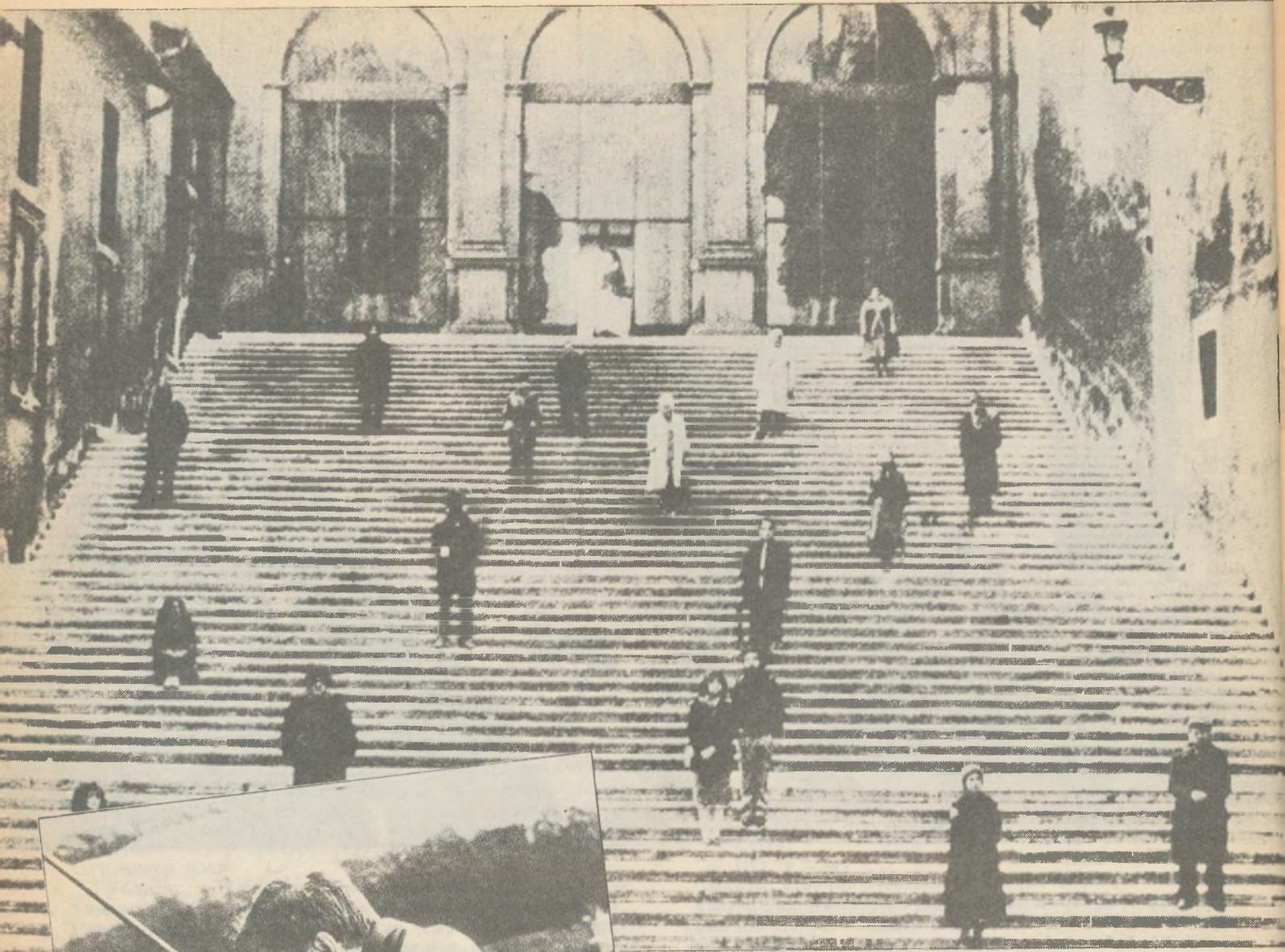
— Если вы способны на это, — кивает он в глубину ложи, намекая на ее появление здесь, — то я думаю, вы и так многое обо мне знаете.

— Что же дает вам музыка? Она делает вас счастливым?

— Не знаю . . . Она доказывает возможность выразить абсолютное, бесконечное. Искусство — единственная возможность познать его.

— Вы стремитесь к этому? И вам не страшно? Зачем вам это?

— Затем, может быть, чтобы хоть чем-нибудь отличаться от животного . . .



Представление кончается. Публика покидает партер. Донна Анна задергивает зеленую занавесь, отделяющую ложу от зрительного зала. В ложе становится почти темно.

— Посмотрите сюда, — просит она, указывая на зеркало.

Теперь они стоят рядом и глядят в глаза отражений друг друга. Потом донна Анна накидывает на зеркало шаль, снимает его со стены и исчезает вместе с ним в темноте коридорчика.

Гофман бросается за ней. Коридорчик пуст. В его комнате тоже никого...

Ночь. За гостиничными окнами ветер и дождь. Гофман

звонит. Ему не по себе — душно. К тому же будят его осторожные шаги в потайном коридоре.

Появляется слуга и приносит горячий пунш. Он видит, что комната пуста, а потайная дверь открыта. Слуга проходит в ложу и смотрит на постельщика весьма неодобрительно. По знаку Гофмана ставит напиток на стол, но не уходит, а мнетя в дверях, не решаясь первым начать неприятный разговор.

— Здесь, на стене, было зеркало... — робко бормочет он. — Может быть, ваше превосходительство...

Гофман поворачивается к нему спиной.

Перегнувшись через барьер ложи он всматривается в пустой зал; призрачный свет двух свечей, принесенных

им сюда, придает театру нереальный фантастический вид. Занавес колеблется от гуляющего по всему зданию сквозняка.

— Донна Анна! . . .

Его призыв теряется в пустоте, зато пробуждаются души инструментов, и над оркестровой ямой повисает странный звук: то ли голос, то ли шелест . . .

Бьет два часа ночи . . .

Когда утром он расплачивается со слугой, тот снова затевает разговор об исчезнувшем зеркале.

— Это было старинное зеркало, ваше превосходительство. У меня будут неприятности с хозяином.

— Я думаю, этого хватит, — говорит Гофман и кладет на стол еще несколько талеров. — Я случайно разбил его.

— Конечно . . . вполне, ваше превосходительство.

— Ну, а что же сегодня? Снова «Дон-Жуан»?

— Нет, ваше превосходительство. Дело в том, что случилось несчастье: певица, исполняющая партию донны Анны, внезапно скончалась сегодня ночью. В два часа пополудни . . .

Когда слуга, раскланявшись, уходит, Гофман выпивает свой бокал пунша и медленно подходит к высокому зеркалу стоящему в простенке, между окнами. Его опасения сбываются: в холодном стекле отражается пустота. Он придвигает кресло, становится на него и приближает лицо к зеркальной поверхности так близко, что стекло запотевает от его дыхания.

Но своего отражения в зеркале он не видит . . .

## ЮЛИЯ МАРК

Глаза фрейлен Юлии широко открыты. Минна, ее младшая сестрица, не скрывает испуганных слез.

Дверь в кабинет приоткрывается и в образовавшуюся щель заглядывает фрау Гофман — высокая черноволосая женщина с усталыми синими глазами:

— Почему ты всех пугаешь? Это доставляет тебе удовольствие? — с упреком спрашивает она и скрывается в коридоре.

Действительно, рассказ производит на сестер слишком сильное впечатление.

Гофман, со всех сторон обложенный подушками, сидит в большом покойном кресле. Он устал и с трудом переводит дух.

— Минна, милая, Юлия! Я на самом деле напугал вас?

Минна, вслед за Юлией, тоже пытается улыбнуться.

— Но ведь это сказка?

— Нет, нет, Минна, это правда!

Лицо младшей омрачается.

— Ну, хорошо, хорошо, я пошутил! Конечно, я это все только что выдумал.

Юлия смотрит на Гофмана.

Она серьезна, ее взгляд углублен и внимательно следит за ежесекундно меняющимся выражением его лица.

— Хотите я сыграю вам что-нибудь?

— Из «Дон-Жуана?» — спрашивает Юлия.

— Если вам угодно . . .

— Вам нельзя ходить! Потом, когда вы выздоровеете, г-н Гофман.

Гофман делает комически страшное лицо и произносит театральным шепотом:

— Я не выздоровлю никогда.

— Ну, г-н Гофман! — пугается Юлия.

Тем временем Минна берет с секретера, стоящего в глубине комнаты, небольшое зеркало и направляется к больному.

— Сейчас мы узнаем! Слышишь, Юлия, мы сейчас все узнаем! Правду рассказал г-н Гофман или сочинил! Посмотрите в зеркало! Господин Гофман, посмотрите в зеркало!

— Не надо! — испуганно вскрикивает Юлия, выхватывает зеркало из рук сестры и отбрасывает его на ковер.

Гофман печально смотрит на нее.

— Спасибо, фрейлен, — произносит он наконец и, с трудом привстав, пытается шутливо раскланяться, — я только не успел рассказать вам, — стараясь, чтобы его слышала одна Юлия, произносит он, — что у донны Анны было ваше лицо.

— ?!

## ДОКТОР ШПЕЙЕР

Дверь распахивается, и на пороге появляется доктор Шпейер, пользующий Гофмана.

— Что здесь происходит? — восклицает он, поднимает с пола зеркало и ставит его рядом с креслом больного. Затем вынимает серебряную луковицу, берет Гофмана за руку и ищет у него пульс.

— Можно подумать, что вы обежали все лестницы Бамбергского театра и кулисы впридачу.

— Я сегодня спал плохо . . . Вернее . . .

— Вернее — совсем не спали?

Сестры с порога делают реверанс:

— До свидания, г-н Гофман!

— Пожалуйста, выздоравливайте, г-н Гофман. Я даже обещаю выучить наизусть сонатину! — и мужчины остаются вдвоем.

— Я помню, как однажды, прошлой зимой, на балу — мне показалось, что я распался на части. И все окружавшие меня были моими Я. Эти двойники так мучили меня!

— У вас, видимо, было головокружение. Ничего страшного. А почему вы вспомнили об этом?

— Вы знаете, доктор, однажды некто с упрямством, достойным лучшего применения, пытался забить гвоздь в стену шляпкой, ударяя молотком по острому. К нему подошел другой, долго наблюдал тщетные усилия первого и, наконец, заявил: «Каков чудак! Это же гвоздь от противоположной стены!»

Доктор весело рассмеялся.

— Диалог этот, — продолжал Гофман, — как вы догадываетесь, — происходил в желтом доме.

— Я догадался! — смеется доктор.

— Вы смеетесь! — сокрушенно вздыхает Гофман. — А ведь он прав, этот второй!

— Смотря как взглянуть на этот гвоздь.

— Вот именно! Как взглянуть! Ведь сто человек из ста на месте второго (и все, заметьте, нормальные, вполне нормальные!) просто повернули бы этот гвоздь шляпкой вверх, а острием к стене! Вы знаете, доктор, — безо всякого перехода продолжает Гофман. — Я, кажется, влюблен . . .

На пороге возникает фигура фрау Гофман. Она несет на серебряном подносе чашку чаю для доктора и стакан пунша для хозяина. Доктор раскланивается и вновь поворачивается к больному:

— Вам придется лечь пораньше и стараться также не пить вина.

— Господь с вами, доктор! Оно необходимо мне для работы. Оно приводит в действие мое воображение, доктор . . . Я даже подумывал о составлении для композиторов таблицы напитков, которые помогли бы им в их труде. Для церковной музыки — рейнвейн, для серьезной оперы — бургундское . . . — он морщится от боли и прихлебывает из стакана.

Доктор, который заметил, что Гофман в продолжении разговора неотрывно смотрит в зеркало, наконец не выдерживает:

— Что вы там увидели?

— Ничего, — задумчиво отвечает больной, глядя в зеркало.

## ФРАУ ГОФМАН (МИША)

У выходных дверей фрау Гофман жалуется доктору:

— Он совсем меня замучил своими фантазиями.



— Возможно, возможно. Впрочем, он прежде всего замучил ими себя. Постарайтесь помнить об этом.

— Господи! Я только и делаю, что стараюсь угадать его капризы!

— Возможно, возможно... Зачем? Разве это возможно?

— Он всю ночь звал по имени какую-то женщину.

— Я думаю, имя не имеет значения.

— Я устала, мне все надоело.

— Старайтесь давать ему меньше вина.

— Напрасно я решила ехать с ним сюда, в этот ужасный Бамберг. Я ему не нужна, я же вижу!

— Почаще проветривайте комнаты, а то он задохнется.

— Боже мой, неужели...

Заметив, что перебивают друг друга, оба от неловкости улыбаются.

— Скажите мне, вы любите музыку? — неожиданно спрашивает Шпейер.

— Конечно... — растерянно отвечает она.

— А что из музыки вам более всего нравится?..

Госпожа Гофман в недоумении:

— Пролог из его «Паломницы»...

Доктор хохочет, целует ей руку и выходит...

— Ну вот видите! — последние его слова.

— Матка бозка, когда все это кончится! — кричит она по-польски на весь вестибюль, когда остается одна.

— Миша! — доносится из кабинета голос Гофмана. — Миша!

Фрау Гофман встает с постели, накидывает капот, берет вязание и направляется в комнату мужа.

Она никак не может зажечь свечу. Наконец ей это удается. Тусклый свет не в состоянии разогнать сумрак кабинета.

У камина, спиной к жене, стоит Гофман. Неестественно напряженная и неподвижная фигура мужа пугает ее.

— Что с тобой?

— Я не могу двинуться... Спина.

Фрау Гофман бросается к нему.

— Я стою так около получаса.

— Почему же ты сразу не позвал меня?..

Она помогает мужу добраться до кресла.

— Посиди со мной, — отдышавшись, просит он.

Миша покорно садится у ночного столика, на котором горит единственная свеча, и принимается за вязание.

— Может быть, тебе перейти в кровать? — спрашивает она.

Он не отвечает.

Взвизывает трогательно-нежная жалоба флейты, шумит буря скрипок и басов, грохочет звон литавр, поют тихие голоса виолончелей и фагота, всеяя в сердце неизъяснимую грусть...

А вот и тутти, точно исполин, величаво и мощно идет унисон, своей сокрушительной поступью заглушая невнятную жалобу...

В его сознании властно звучит увертюра к «Ифигении в Авлиде».

Миша безмолвно вяжет у свечи свое бесконечное филе, время от времени бросая беспокойный взгляд в сторону больного...

Медленно отворяется дверь.

Гофман поворачивает голову; на пороге в парадном расшитом кафтане и богатом камзоле, при шпаге, со свечой в руках стоял незнакомец и пристально смотрел на хозяина.

— Кто вы? — спрашивает Гофман.

— Автор этой музыки.

— Как?

— Я — кавалер Глюк!

— Ты не спишь? — спрашивает жена.

Он не отвечает и молча улыбается в полутьме.

Она подходит к креслу:

— Тебе что-нибудь нужно?

Он смотрит на приоткрытую дверь, из которой тянет сквозняком. Беспокойно колеблется пламя свечи.

— Я только что сочинил одну историю... Рассказать?

— Страшную, конечно...

— Нет... Вот послушай... Она не страшная, — виновато улыбается он. — Она о музыке...

— Как ты себя сейчас чувствуешь?

— Теперь лучше, гораздо лучше...

— Тебе давно следовало поспать. Последние дни ты почти не ложился. Ты превращаешься в собственную тень.

— Это твоё изобретение или г-н Шамиссо тебя надумил?

— У Шамиссо герой теряет лишь тень — ты же гораздо большее...

— Тебе никогда не приходилось во сне падать со шпиля высокой башни?.. — вдруг спрашивает он не к месту. — Что ты сказала? Что я теряю?

— Ты теряешь человеческий облик.

— Разве? У меня никогда его и не было...

— Кто эта Кэтхен? На тебя скоро будет показывать пальцем весь город!

— Кэтхен?

— Я прочитала в твоих записях...

— Миша! Ты читаешь мои дневники!

— Ты всегда говорил, что у нас все общее... Тем более что тетрадь лежала раскрытой на бюро... Вместо того, чтобы думать о нашем будущем, ты, как гимназист, бегаешь за юбками. Мне надоело все это! Кто эта Кэтхен, я спрашиваю!

С болезненной гримасой следит Гофман за женой, которая, в ярости размахивая его тетрадь, кружит вокруг столика с горящей свечой. Ему начинает казаться, что лицо ее становится чужим, старым, даже пугающим в тускло освещенной темноте.

— Ты похожа... Знаешь, на кого ты сейчас похожа?

— Я уношу твою тетрадь и запираю ее у себя на ключ. Спокойной ночи!

— Миша! — Гофман вскакивает с кресла, забыв о своей спине. Слово удар ножа пронзает все его существо. Он замирает в самой нелепой позе, боясь пошевелиться, чтобы не причинить себе боли. И тем не менее он смеется. Пытается смеяться, хотя ему совсем невесело...

В полутьме он видит, как на пороге появляется кавалер Глюк и жестами пытается объяснить ему что-то, заговорщицки улыбаясь. В руке его ключ от Мишиного секретера. Кавалер подмигивает, проходит к столику, кладет на него ключ и, захватив с собой горящую свечу, скрывается за дверью.

Гофман стоит в темноте посреди кабинета и не может пошевелиться. На губах его ядовитая улыбка.

## ГРЕПЕЛЬ

Вечер в Бамберге.

— Таким образом я был наказан Мишей, — рассказывает Гофман г-ну Кунцу, виноторговцу и библиофилу.

— Я думаю, — отвечает тот, — что если бы фрау Гофман знала, что под именем Кэтхен таится Юлия Марк, она поступила бы не так романтично.

— Кстати, вам не кажется, что Юлия день ото дня хорошеет? Она была со мной мила сегодня!

— Увы, мой бедный друг, — вздыхает Кунц, — должен вам сказать, что она выходит замуж за этого Грелея, торговца из Гамбурга. Мы с вами приглашены на завтрак в замок Поммерсфельден в его честь.

Гофман останавливается посреди улицы, по которой они так мило прогуливались с Кунцем. Он поражен. Не замечая его состояния, Кунц спокойно поворачивает в переулок и только тогда замечает, что остался один. Он возвращается и выглядывает из-за угла. Гофман стоит посреди переулочка и рассматривает брусчатку у себя под ногами. Его пальцы до белизны сжимают набалдашник трости.

— Куда вы пропали? — зовет его Кунц.

— Посмотрите! — отвечает Гофман и показывает тростью в глубину переулка. — Вот так скоро сгорит театр, в котором будут играть мою музыку.

Объятый пламенем Берлинский оперный театр.

Пылают декорации: как огненные птицы, догорают в воздухе тюль и вуали.

Рушатся перекрытия.

На барышне из кордебалета вспыхивает пачка, и та, словно падающая звезда, проносится в дыму кулис.

Гудит пламя...

С этой минуты Гофман становится неменяемым.

— С утра ты выпиваешь уже третий стакан! Мы же приглашены к завтраку! — ужасается фрау Гофман.

Они едут по улице в наемной карете; и ему кажется, что они въезжают в лес каждый раз, когда кучер сворачивает в тень узких переулков.

Миша кладет ладонь ему на лоб. Его лицо влажно и холодно.

Он целует ей руку — пылко, будто любовник...

У Гофмана пестрит в глазах от воспоминаний... А это уже не воспоминание: он видит, как Юлия погружается в прозрачную воду озера, словно Фелия.

Но почему она смеется при этом?

Не следовало бы ему пить натошак. Встреча. Церемонные приветствия.

Гости поднимаются по парадной лестнице, как в Версале. «Но это не Версаль», — замечает про себя Гофман.

В зеркальном кабинете на него обрушивается калейдоскоп отражений; зеркала отражают профили, затылки, плечи и прически. Кабинет Юлии роскошен, это копия такого же в Сан-Суси.

— Но это не Сан-Суси!

— Не правда ли, г-н Греспель? — обращается Гофман к жениху.

Около двух десятков Греспелей удивленно оглядываются, желая взглянуть на возбужденного, низкорослого, зломаченного, с маленькими острыми глазами и тонким ртом господина.

Гофман рассматривает себя в зеркале. Миша пытается увести его за остальными.

— Боже мой! До чего же я уродлив!

— Чем объяснить, что очаровательные девушки выходят замуж за уродов! — кричит он весело.

Все шокированы. Тем более что жених далеко не красавец.

Кунц пытается спасти положение.

— Ваша самокритичность превращается в комплимент фрау Михаэлине!

— Да! Миша была очаровательна! — шепчет Гофман.

Молодая синеглазая Миша в платье цвета сливы проходит мимо гобеленов и десятка раз отразившись в зеркалах, скрывается в соседнем зале.

Он берет ладонями ее лицо и приближает к своему.

— Когда смотришь на нее вот так, — говорит он, — то глаза ее множатся и выстраиваются в вереницу, как ожерелье из драгоценных камней.

Гофман целует руку жене.

— Прошу тебя... Эрнст... — она не знает, что с ним делать.

Юлия смотрит на Гофмана. Остальные стараются делать вид, что ничего не происходит.

Наконец все рассаживаются.

— Вино можете убрать, — обращается Кунц к лакею, — мы привезли с собой; у вас такого нет.

— Скажите, — старается отвлечь Гофмана от собственной жены фрау Кунц, — эта страшная история с Клейстом и его возлюбленной не выдумка ли? Такая экзальтация, пистолеты и, конечно, из ряда вон выходящее чувство!

Выпито уже изрядно. Жених пьет с каждой минутой все больше и больше. Гофман же наоборот — ничего не ест, а только пьет, но совсем не пьянеет.

— Это очень грустная история. Она страшна вовсе не в том смысле, который бы вы ей могли приписать, если бы были знакомы с ней.

— Так расскажите ее нам! — настаивает фрау Кунц.

Греспель, уже совершенно пьяный, время от времени хватая невесту за талию и целует ее в шею.

Теперь все стараются глядеть на Гофмана и не замечать поведения Греспеля. Гофман же вертит на скатерти бокал с сотерном и никуда не смотрит. И делает вид, что ничего не видит.

— Вы ведь знаете, конечно, Клейста, написавшего «Кетхен из Гейльбронна». Он любил очаровательную Генриетту Фогель, и она отвечала ему пылко и нежно. И однажды они оба почувствовали, что не могут быть счастливы на этом свете. В прошлом году 21 ноября, они вместе отправились в Потсдам. Там есть река, с островами посередине. Место замечательно красивое.

Клейст и Генриетта гуляли все утро. Потом, в одном из ресторанчиков на берегу, совершенно пустынном в этот будний день, он просит хозяина накрыть им стол у самой воды. Хозяин удивлен. Тем не менее стол сервирован, и Клейст с Генриеттой остаются одни. Через несколько минут хозяин и прислуга слышат один за другим два выстрела. Они в испуге бегут на берег и видят молодую женщину и Клейста, лежащих в осенних листьях. Посуда и завтрак — на земле, в руке Генриетты зажат угол скатерти, которой накрыто тело Клейста...

— И все-таки это страшно... — шепчет фрау Кунц.

Всю эту историю Гофман, Юлия и ее жених видят, конечно, совершенно по-разному.

Гофман воображает на месте Клейста и Генриетты себя с Юлией. Юлия — себя и трудно понять, кого именно рядом с собой. Но иногда ей кажется, что Клейст — это Гофман.

Греспель же не в состоянии представить ничего и по причине вина и от отсутствия фантазии.

— Новалис прекрасно сказал, — продолжает Гофман, — «В смерти любовь наисладострастнее. Для любящих друг друга смерть — свадебная ночь».

Греспель делает движение, намереваясь снова обнять невесту. Юлия невольно отшатывается.

— Может быть, мы прошлись бы немного по саду? — предлагает г-жа Марк.

— Действительно! Такой прекрасный день! — поддерживает ее г-жа Кунц.

Все встают, Греспель устремляется к невесте с целью подать ей руку, но спотыкается и падает ничком на роскошный паркет.

Гофман не выдерживает:

— Оставьте здесь эту свинью, пусть проспится!

Юлия бледнеет, как полотно.

Гофман, видимо, сразу пьянеет, потому что он берет со стола бутылку вина, выливает ее на голову Греспелю, а сам вскакивает на подоконник, и, минуя зеркальный зал, оказывается в саду... Затем он влезает на козлы наемной кареты и ударяет бичом лошадей. Затем оттуда он падает в ручей, протекающий поблизости, и забрасывает Кунцов и Мишу, спешащих на помощь, грязью, доставая ее со дна и швыряя горстями.

Вид его ужасен: он весь в слезах, мокрый и грязный.

Так кончается завтрак в честь отъезда жениха Юлии г-на Греспеля-торговца.

— Я успокоюсь... я непременно успокоюсь... — бормочет он, стоя по колено в прибрежной тине...

## ХРИСТОФОР ФЕТЕРИ

«Почему ты не рядом, милый Греспель! Как мы были молоды и какую уверенность вселяли в нас хоть и наивные, но твердые поступки! Сейчас смелые поступки могут привести нас только к лишениям и хлопотам, если не к катастрофе».

Помнишь, рядом с садом дяди Отто, за стеной, был женский пансион, в который мы непременно положили проникнуть, соблазненные очарованием кое-кого из воспитанниц? И мы начали рыть подкоп. Мы даже отрыли его наполовину, но дядя Отто каким-то образом разузнал об этом, и наша мечта была с позором похоронена, а подземный ход засыпан нанятым специально для этой цели садовником из пансиона...

Но это поражение не остановило нас. Мы решили изго-

товить воздушный шар, с тем чтобы перелететь через заветную стену.

Как мы торжествовали, когда наш пестрый, украшенный яркими флагами шар взмыл в воздух, унося нас в корзине из-под бургундского. Мы почти торжествовали победу, но тут произошла катастрофа! Шар взорвался, и мы рухнули прямо на середину двора пансиона. Нас окружили, но вместо того, чтобы держаться героями, мы постыдно бежали, причем ты, мой дорогой Грелель, хромал на обе ноги!..»

Гофман грустно улыбается и, открыв папку с гравюрами Калло, начинает разглядывать их, перекладывая их из одной папки в другую.

Сколько в них фантазии! Вычурного, порой даже витиеватого изящества...

Сейчас он живет в башне в Альтенбурге у юриста Маркуса. В башне, стены которой он расписал год назад.

«Помнишь ли ты моего двоюродного дядю Христофора Фетери? Он часто брал меня с собой в поездки в качестве секретаря, когда объезжал в Курляндии несколько влиятельных семей, сохранивших право суда в своих владениях. Он должен был выносить приговоры.

Как молоды мы были и как счастливы! Когда я вспоминаю сейчас это время, я уже не могу быть уверенным, что все было именно так, как я его вспоминаю. Прожитые годы накладывают свой отпечаток даже на истину, искажая ее, а может быть (кто знает?), даже делают ее более правдоподобной?

Ведь никто не знает, как все было на самом деле. Прошлое несколько не известнее нам, нежели будущее, не правда ли, мой друг? Несмотря на то, что тогда мне было 18 лет, я совершенно не могу быть уверен в этом, потому что думаю я об этом времени сейчас, когда мне, увы, больше».

Недалеко от побережья Балтийского моря стоит родовой замок Росситтен. Окрестности его суровы и пустынные, лишь кое-где на бездонных зыбучих песках растут одинокие былинки, и вместо парка к голым стенам замка примыкает тощий сосновый лес, чей вечно сумрачный убор мог бы опечалить даже пестрый наряд весны.

Когда мы приехали туда с моим дедом, меня пронизало какое-то неприятное предчувствие. Будто над замком этим нависло какое-то несчастье. Как потом оказалось, предчувствие меня не обмануло.

Все было мрачным и неуютным в этом месте.

... И лицо управляющего Даниеля, бледное и изможденное, но всегда готовое скривиться в фальшивой улыбке...

... И суровый вид хозяина замка, о котором говорили, что он занимается черной магией и астрологией в башне, расположенной недалеко от судейской залы.

И отношения между хозяином и его управляющим были довольно натянутыми. Однажды, гуляя вокруг замка, я видел, как барон Родерих ударил своего слугу хлыстом.

— Шелудивый пес! — крикнул он при этом. — Твое дело вести хозяйство, а не совать нос куда тебя не просят!

Когда барон ушел, Даниель пробормотал сквозь зубы:

— Ну погоди...

А может быть, мне это просто послышалось и только теперь я придаю этой сцене особый и слишком многозначительный характер.

Я, конечно, не верил в болтовню по поводу черной магии, но однажды мне пришлось убедиться в правоте этих слухов.

Как-то поздно вечером, в ненастье дед мой сидел у камина, к которому был придвинут стол, заваленный бумагами и папками. Время от времени он прихлебывал из хрустального бокала и делал заметки в своей переплетенной в сафьян тетради.

Я сидел в кресле и тщетно пытался читать... Было тихо. Только потрескивали дрова в камине, да за окнами выл осенний ветер.

Наконец я отложил книгу и вышел в коридор, освещенный канделябром, стоящим в нише напротив двери. Вынув из него одну из горящих свечей, я пошел в сторону судейской залы.

Сквозь широкие арковые окна сияла полная луна, озаряя темные углы старинной залы, куда не достигал тусклый свет моей свечи. Стены и потолки были покрыты диковинными украшениями, тяжелыми дубовыми панелями, пестро раскрашенной и золоченой резьбой.

Кто не знает, как непривычная, причудливая обстановка с таинственной силой воздействует на наш дух, так что самое ленивое воображение пробуждается и начинает предчувствовать небывалое.

Я подошел к окну. Ветер раскачивал полуобнаженные деревья, холодная луна освещала облака, бегущие над ними. В глубине парка темнела стена дальней части замка, а над ней возвышалась круглая башня, под самой крышей которой, из маленького стрельчатого оконца, брезжил тусклый голубоватый свет.

Я сразу узнал астрологическую башню барона и вспомнил рассказы, связанные с этим таинственным местом.

А вдруг барон сейчас в башне и занимается своими, предназначенными для посторонних глаз, делами?

Не долго думая, я вернулся в коридор и направился в сторону башни. Дорогу я знал, но шел тем не менее медленно, с бьющимся сердцем, прислушиваясь к ночной тишине старого неуютного замка.

Внезапно я остановился. Мне показалось, что длинный коридор сзади меня пересекла, перебежав из одной дверной ниши к другой, какая-то фигура, одетая во все светлое.

Я долго стоял, прежде чем несколько успокоился, и затем отправился дальше.

Наверное, возбужденному фантастической ночью и ожидаемым приключением сознания чье-то присутствие просто померещилось.

Наконец я у цели. Вот маленький зал, из которого винтовая лестница ведет вверх, в круглую комнату, святая святых этого мрачного здания.

Подойдя к двери, ведущей на лестницу, я остановился и снова прислушался. Дверь была не заперта, и я вполне мог, никем не замеченный, проникнуть на лестницу.

Подняв свечу, я хотел уже было проскользнуть в полуоткрытую дверь, как вдруг испуганно вздрогнул от неожиданности: посреди залы, в кресле, стоящем перед длинным низким столом, спиной ко мне кто-то сидел. Я замер. Человек в кресле не шевелился. Я стал ждать. И чем больше я ждал, тем неестественнее казалась мне неподвижность незнакомца.

Наконец я решился и, замирая от страха, сделал несколько шагов по направлению к креслу. Он не шевелился.

Вдруг я все понял, и вздох облегчения вырвался из моей груди.

То, что казалось мне неподвижной фигурой, было обыкновенным плащом, брошенным на спинку кресла, сверху которого лежал черный бархатный берет с белым страусовым пером. Это была одежда барона. Значит он здесь, наверху!

Первое, что мне пришло на ум после этого открытия — это погасить свечку, что я моментально и сделал.

Оставшись в темноте, я сел в кресло и стал ждать. Чего? Не знаю. Но я был твердо уверен, что в скором времени здесь должно что-то произойти. Постепенно мои глаза привыкли к потемкам.

Первое, что я заметил, понемногу освоившись в этом месте, была полоска света, падающая из-за двери, ведущей на лестницу астрологической башни.

Я рассмотрел также две высокие фигуры в нишах, под высокими окнами: это были рыцарские доспехи, стоявшие в виде скульптур и украшавшие залу. В простенке же между окон висело огромное тусклое зеркало в черной резной раме, и то, что я увидел в нем, заставило меня побледнеть: в туманном, покрытом полустертой амальгамой зеркале я увидел самого себя, осторожно, на цыпочках, идущего по коридору замка с горящей свечой в руках! То есть в нем отражался я, существующий несколько минут тому назад! Стараясь не дышать, я смотрел на отражение самого себя, которое повторяло весь путь из моей комнаты до маленькой залы с креслом у стола, в котором я сидел.

Наконец, оно так же, как и я, оказалось в кресле и стало похоже на самое обыкновенное отражение.

Я двинул рукой, и зеркало послушно повторило мое движение одновременно с моим.

А может быть, ничего этого и не было? Может быть, и это мне померещилось?

Но не тут-то было.

Я сидел в кресле и тупо смотрел в зеркало. Неожиданно я, отраженный в его тусклой поверхности, встал и осторожно двинулся к лестнице. Я же, естественно, неподвижно сидел в кресле и только с растущим испугом следил за своим отражением.

Вот что произошло дальше и что я увидел в старинном зеркале.

Осторожно поднявшись по винтовой лестнице, я очутился у двустворчатой двери, одна половина которой была отворена. Приблизившись к ней, я заглянул внутрь.

Я ожидал увидеть все что угодно, кроме того, что я увидел. Это была гигантская полутемная зала, потолок которой не достигало даже яркое сияние, исходившее от раскрытого старинного фолианта, лежащего на полу посреди залы. Зала полна была птицами. Обыкновенными сороками — белыми с черным. Их было несметное множество, и они перелетали с места на место, прыгали по плитам пола, вспархивая, переносились с балки на балку под невидимым потолком.

В книге я заметил слово, смысл и начертание которого были мне непонятны.

Я ожидал увидеть здесь и барона, но его нигде не было.

Зала была наполнена хлопаньем крыльев и пронзительными воплями, сливающимися в раздражающий отвратительный шум.

Я бросился вниз по лестнице, в залу, оттуда по темным коридорам через судейский зал и снова очутился в коридоре...

Рано утром, на рассвете, я нашел себя в кресле около потухшего камина с головной болью и невыспавшегося. Ночное приключение можно было бы забыть (потому что поначалу я был уверен, что это был просто сон), если бы не огарок свечи у меня в руках и закапанный воском сюртук...

Дурные предчувствия сбывались. И тут я вспомнил, что, возвращаясь бегом по лестнице в залу, я мельком заглянул в зловещее зеркало и увидел в нем отблески пламени. Тогда, под впечатлением только что увиденного, я не придавал этому никакого значения. Сейчас же, вспомнив, я вскочил и бросился в комнату к деду.

— Пожар! — кричал я. — Вставайте! В замке пожар! — и колотил кулаками в тяжелую, обитую чугуном лифтем дверь.

На мой крик сбегались прислуга, дед, в шлафроке и ночном колпаке вышел из своей комнаты.

Я ничего не мог связно объяснить, а только кричал:

— Пожар! Да скорее же вы, скорее! Там горит! Там, в башне!

Все бросились к башне; я за всеми. Когда мы ворвались в комнату наверху злополучной башни, барон встретил нас довольно нелюбезно. Он сидел за столом, на котором громоздились астрономические атласы и приборы, и сурово смотрел на нас.

— Вы что, спятили? — удивленно подняв брови, спросил он.

Зато когда днем мы с дедом гуляли в окрестностях замка, ибо погода исправилась и солнце озаряло холодными лучами печальные стены Росситтена, мы вдруг переглянулись и бросились в сторону ворот: астрологическая башня была объята пламенем, и над пламенем кружилась стремительная стая черно-белых птиц...

Мы застали барона и всю его прислугу в рыцарской зале, на пороге обгоревшего дверного проема, за которым дымился провал до самых последних подвалов.

Барон взглянул на меня и произнес:

— Вы тоже, как и Даниель, я вижу, любитель совать нос куда вас не просят...

— Что вы хотите сказать? — вступился за меня мой дед.

Барон не ответил. Все молча смотрели на меня. Даниель неприятно ухмыльнулся, незаметно подмигнул мне и вышел из залы.

— Да, — буркнул он, уходя, — на дне этой башни хранится целое сокровище.

Барон проводил его взглядом, полным ненависти.

Ночью пошел снег и покрыл белой пеленой поля, пологие холмы и дюны на побережье.

А на следующий день барона нашли на дне еще дымящейся башни, выгоревшей дотла. Из груды камней и полусгоревших балок торчала его мертвая рука, сжимавшая серебряный подсвечник.

С трудом извлекли труп хозяина замка из-под развалин.

— Нет, все это не так просто, внучек, — заявил мой дед, когда поздно вечером сидели мы у себя возле камина, подавленные несчастьем, обрушившимся на этот дом.

— Он умер не своей смертью...

— Почему ты так думаешь?

— А что это он сказал вчера по поводу твоего носа? — вместо ответа спросил меня дед.

Я не ответил. Да и что я мог ответить? Рассказать сказочку, в которую бы не поверил ни один здравомыслящий человек?

— Я не знаю, — ответил я, — я ничего не понял. Мне кажется, что не только я — никто ничего не понял.

— Мы должны были бы уехать, внучек, но сдаётся мне, что за всем этим скрывается довольно скверная история. Я должен докопаться до истины... А теперь пошли спать... — он, зевнул, встал с кресел.

И тут мы услышали из коридора шаркающие шаги и какое-то позвякиванье.

— Тс-с-с... — дед сделал предостерегающий жест и, подскочив к двери, неслышно приоткрыл ее.

Я подбежал к нему и тоже выглянул из комнаты.

В глубине коридора мы увидели удаляющуюся фигуру со свечой в руках.

— Ну и ну... — буркнул дед, когда она скрылась за поворотом, — что ты по этому поводу скажешь, внучек?

Я молчал.

— Не хочешь ли ты узнать, что это и куда оно отправилось?

Я не хотел, но боялся оказаться трусом в глазах деда и, заменив башмаки ночными туфлями, вышел в коридор. Я долго блуждал по темным залам и пустым коридорам, но так никого и не встретил.

Когда я вернулся, дед сказал:

— Ты не знаешь, где его можно встретить. Схожу-ка я сам.

— А ты знаешь? — удивленно спросил я.

Дед улыбнулся, взял со стола свечу и ушел.

Пришел он не скоро. За время его отсутствия я успел сварить пунш в камине, достав из запасов деда все необходимое.

— Ну, внучек, ты провидец! Ты угадал мои мысли, — сказал дед и, налив себе горячий напиток, поджег его.

Голубой свет наполнил комнату.

— Ты видел? — спросил я, после длительной паузы.

— Что? — прикинулся непонимающим дед.

— Ну... Это...

— Да, кое-что я видел. Вернее, кое-кого...

На следующее утро между моим дедом и Даниелем состоялся следующий разговор, свидетелем которого я случайно оказался:

— Послушай, дружище Даниель, тебе не кажется, что, зная о пожаре, опустошившем башню, наш бедный барон никогда бы не захотел войти в дверь, которая никуда не ведет?

— Скорее в преисподнюю, — буркнул Даниель, зевая самым неучтивым образом.

— Тебя клонит ко сну, старина, — ты, наверное, дурно спал ночью?

— Право, не знаю, — сухо ответил старик. Он с трудом поднялся со скамейки, стоящей под деревом, неподалеку от въезда в замок. — Пойду распорядиться, чтобы накрыли обед. — И он снова зевнул.

— Слушай, внучек, пошел бы ты немного прогуляться перед обедом, а мы, старики, поболтаем здесь немного покамест . . .

Дед мой явно что-то замышлял. Во всяком случае, он знал больше меня.

Я оставил стариков вдвоем и отправился кругом замка. Когда обойдя его вокруг, я снова, только уже с другой стороны, возвращался к воротам, я застал там новых действующих лиц этой истории.

Во дворе, около ворот, стояла карета, запряженная взмыленной четверкой вороных коней. Дверцы уже были открыты, и кучер, спустившись с козел и откинув подножку, помогал вылезти из кареты молодому человеку в медвежьей шубе, который в свою очередь подал руку и помог выйти на снег очаровательной молодой женщине, одетой в русские соболя.

Со всех сторон сбегалась прислуга.

Появился и мой дед, который подошел к карете и представился.

— Это я имел честь известить вас о несчастье, — сказал он приехавшим, — я душеприказчик и стряпчий покойного. Как видно, мне придется заниматься делами его наследников.

Это были новые хозяева Росситтена. Старший сын барона Родериха, которого звали Губерт, и его жена Серафина.

Я в свою очередь раскланялся и постарался сделать это как можно изящнее.

Дед ухмыльнулся и произнес:

— Это мой внук, Эрнст, мой друг и верный помощник в делах. Секретарь.

Рука Серафины, вынутая из муфты, была нежная и теплая.

Тело покойного лежало на высоком столе в рыцарской зале, той самой, из которой раньше был вход на лестницу, ведущую в башню. Сейчас же на месте этой двери белела новая кладка. Это Даниель распорядился заделать дверной проем. Большое зеркало все так же висело в простенке между окнами . . .

Молодая пара — новые хозяева Росситтена, мой дед, Даниель и я стояли вокруг гроба, готовые исполнить свой последний долг.

Барон был одет (как он и завещал своим наследникам) в черный камзол с серебряными пуговицами и белоснежными кружевными манжетами.

Я взглянул в зеркало, но ничего необычного в нем не заметил. На секунду, правда, мне показалось, что у покойного, отраженного в зеркале, открыты глаза. Но я приписал это сумеркам и попорченной сыростью амальгаме.

Во время ужина за столом царила гнетущая атмосфера. Госпожа Серафина, сославшись на головную боль, вышла из-за стола первой. Молодой барон тут же отправился вместе с ней, не желая оставлять ее одну в столь меланхолическом настроении.

Когда мы с дедом остались одни, он спросил появившегося в дверях Даниеля в белых перчатках:

— Ну что же, старина, может быть, все-таки ты расскажешь мне, как это случилось?

Даниель сумрачно посмотрел на моего деда и сказал глухо:

— Я не понимаю, за что вы преследуете меня, ваша честь. (Он уже знал, что дед мой не просто стряпчий, а судья, который благодаря старому знакомству с покойным бароном занимался не только его судебными делами, но и делами, касающимися завещания и наследства.)

— Вы хотите, чтобы я рассказал вам то, чего я не знаю

или чего не было. Что вы предпочитаете в качестве десерта: фрукты, сыр, мороженое с ликером? Кофе?

Лицо его было словно измято, а в глазах стоял страх.

— Сыр, — кратко сказал дед и вздохнул.

Когда Даниель, поклонившись, вышел, дед добавил:

— Нельзя оставлять здесь эту прелестную пару.

— Неужели вы думаете . . .

— Послушай, внучек, ты, кажется, мне рассказывал дикую историю о том, как покойник ударил своего дворецкого. И еще — мне кажется, что ты что-то скрываешь от меня.

Я промолчал, вышел из-за стола и сел за клавесин.

Музыка немного успокоила мои нервы.

Дед расчувствовался.

— Не знаю, кем ты будешь, — задумчиво сказал он, когда последний аккорд растаял под сводами двусветного зала, где мы обедали, — но будущему юристу я бы запретил музицировать. Музыка может неблагоприятно повлиять на логику ума и здравый смысл будущего высокого чиновника и государственного служащего. — Он улыбнулся.

— Больше всего на свете я презираю здравый смысл, — вспыхнул я и тут же вскочил со стула: в дверях стояла г-жа Серафина:

— И это не удивительно. Ведь все зависит от точки зрения. Мир устроен так, каково по этому поводу в аше убеждение. Вы прекрасный музыкант, браво!

## ДАНИЕЛЬ

В дверях появился молодой барон.

— В замке так уныло. Пожалуй, Серафина, мы посидим здесь у огня, в человеческом обществе и побеседуем, чем молча сидеть в полутемном кабинете и глубокомысленно взирать на растрескавшиеся стены.

— Мы обсуждали вопрос будущей карьеры моего внука, — сказал дед, подвинув к огню кресла для барона и его жены, — как вы думаете, барон, что может выйти из этого молодца? Вы мне кажется человеком проницательным.

Барон внимательно посмотрел на меня.

— Он непременно станет композитором! — воскликнула баронесса.

— Я не настолько проницателен, как вы думаете, но ведь существует физиономистика, и черты лица вашего внука подсказывают мне, что его карьера будет связана с карьерой почтенного государственного служащего.

— Браво! — одобрил его дед, хлопнув в ладоши. — Право, это было бы замечательно, если бы не мое горькое убеждение в том, что, благодаря его неумейной фантазии, станет он сочинителем! Никчемным, нищим фантазером!

— Почему же нищим? — рассмеялась г-жа Серафина.

— Я рассчитываю на его таланты, — продолжал мой дед, окончательно вгоняя меня в краску. — А опыт моей жизни подсказывает, что чем человек талантливее, тем он беднее. Нищета в этом случае находится в прямой зависимости от способностей.

— Я понимаю вас, — улыбнулся барон. — Не беспокойтесь, молодой человек, — обратился он ко мне. — Просто ваш опекун проявляет сейчас свой педагогический талант. Он, видимо, очень хочет, чтобы вы пошли по его стопам.

Часы пробили полночь.

— А мы засиделись! — удивился дед.

— Здесь стало так уютно, — сказала баронесса.

— В таком случае, внучек, принеси-ка из нашей комнаты мой кнастер и трубку, если баронесса будет настолько добра, что разрешит мне выкурить здесь трубочку, другую.

— Конечно! — отозвалась г-жа Серафина. — А вы не боитесь ходить ночью по этим коридорам? — спросила меня она и лукаво улыбнулась.

Я тоже пытался улыбнуться, но, вспомнив все, что со мной приключилось в замке в эти дни, вернее ночи, молча вышел из столовой.

«Ну и гнусное же место, этот замок! . . .» — подумал я и, стараясь не оглядываться, пустился в путешествие по тускло освещенным коридорам и переходам.

Вместо того, чтобы сразу направиться в отведенные нам с дедом комнаты, я почему-то повернул в сторону рыцарской залы с останками прежнего хозяина и старым тусклым зеркалом между окнами. Меня просто тянуло туда, и я не противился этому.

На этот раз, войдя в рыцарскую залу, с заделанным дверным проемом в башню, я не пошел дальше порога, а, заметив около дверей широкую деревянную скамью, сел на нее и стал ждать. Мне показалось, что для меня еще не кончились приключения, начавшиеся здесь позапрошлой ночью. И я не ошибся.

Барон по-прежнему возвышался на высоком столе. Лицо его белело в темноте и было похоже на гипсовую маску. Ночь на этот раз была темная. Низкие тучи покрыли небо.

Вдруг мне показалось, что в зеркале мелькнула какая-то тень, вернее, отражение тени. Я внимательно взгляделся и увидел в нем старого барона, стоявшего в дверном проеме сгоревшей башни и мрачно смотрящего вниз, на обрушившийся свод своей зловещей лаборатории. В руке он держал серебряный подсвечник с горящей свечой.

Я привстал от напряжения. В зеркале же продолжала течь бесшумная таинственная жизнь, рассказывающая о вещах, которые никто, кроме меня, так никогда и не узнает.

Я увидел, как сзади к барону, стараясь двигаться как можно осторожнее, приблизился Даниель. Он был в длинной ночной рубашке и без парика. Некоторое время он стоял за спиной своего хозяина, затем огляделся по сторонам и, бросившись к барону, толкнул его в спину.

До сих пор я не могу забыть выражение лица барона Родериха, мелькнувшее передо мной в стертом зеркале.

В его глазах были и страх, и ненависть, и злоба...

Даниель, или его отражение, долго стоял в башенном проеме и смотрел вниз, на свою жертву.

Так вот как это было! Вот как отомстил Даниель своему хозяину за удар хлыстом!

Когда я вернулся с табаком в столовую, дед меня спросил, усмехаясь:

— Где ты был так долго? Мы с бароном уже собирались было идти к тебе на выручку.

— Они меня совсем перепугали рассказами о всякой... — баронесса не докончила.

Из коридора донеслось какое-то бормотание, позвякивание и шаркающие шаги. Все замерли. Шаги становились все тише. Оно удалялось.

Барон сорвал со стены старинный пистолет, висящий возле камина, проверил, заряжен ли он, и бросился было в коридор. Но на пороге остановился.

— Мне говорили, что приведения обыкновенная пуля не может причинить вреда. Нужна серебряная! — С этими словами он оторвал от своего нарядного бархатного камзола пуговицу и, отвинтив шомпол, загнал ее в ствол. После этого он решительно вышел из залы.

— Постойте! Барон! Подождите меня! Это не... Не давайте глупостей!

Но было поздно.

Барон настиг Даниеля, когда тот стоял в рыцарской зале и со стоном царапал ногтями заложенную камнем дверь, ведущую в башню.

Не раздумывая, барон выстрелил.

Даниель упал.

Одновременно с выстрелом, эхо которого прогремело по самым отдаленным переходам замка, звонко раскололось старое зеркало над покойным бароном, и со звоном посыпались осколки, обнажая пустую раму, затянутую паутиной.

Когда все собрались вокруг тела убитого Даниеля, дед сказал барону, который бледный, как полотно, стоял с заряженным пистолетом в руке.

— Он был лунатиком. Эта болезнь доконала его. А, впрочем, может быть, вы и правы.

Отомщенный барон лежал на своем возвышении и, как нам показалось при неверном свете лучей, улыбался...

На следующее утро после похорон старого барона и Даниеля все разъехались из Росситтена: барон с женой возвратились к себе в Курляндию, мы же с дедом отправились домой, желая в душе никогда больше не возвращаться сюда, даже если об этом нас станет просить сама баронесса Серафина.

«Вот, мой дорогой Гиппель, что произошло со мной и моим дедом около тридцати лет назад. Разве это не тема для захватывающей повести?»

Я знаю, ты все равно не поверил моей истории, но тем не менее я должен рассказать тебе ее до конца. Собственно говоря, речь идет о пустяке: перед тем, как зеркало, висевшее в рыцарской зале Росситтена, разбилось, я, догнав барона перед злополучным выстрелом, успел заглянуть в него. И знаешь, что я в нем увидел?

Прекрасную черноволосую девушку с голубой лентой в волосах. Она улыбалась и смотрела на меня нежно и ласково. Ты не поверишь, но это была Юлия! И это за несколько лет до того, как я впервые увидел ее!

Я знаю, что ты мне скажешь на это:

«Запиши все это и отдай издателю».

Если бы так легко и просто можно было освободиться от воспоминаний!

А может быть, бросить все это и окончательно стать чиновником? Как мне будет легко тогда со спящей совестью, тупой пунктуальностью и безо всякой веры в чудесное!...

А пока пойду-ка я да выпью с друзьями бургундского! Прощай!..»

## ГЛЮК

Неподалеку от оперного театра и новой квартиры на углу Таубенштрассе и Шарлоттенштрассе, в винном погребе, тесном, но уютном, со свечами, в стекляннх колпаках, на столах, сидит Гофман в ожидании друзей и приканчивает вторую бутылку вина. Перед ним лист бумаги, чернильница, в руках — перо. На бумаге причудливо чередуются записи, рисунки, обрывки музыкальных фраз на линейках, проведённых без помощи раштра. Он прислушивается к музыке, звучащей внутри него — грустной, даже трагичной, чем-то отдаленно напоминающей моцартовский Реквием.

По наброскам, беглым рисункам, один за другим покрывающим почтовый лист с вензелем соседней гостиницы, можно проследить за его мыслями. Они невеселы, и все, как бусины на нить, нижутся на печально-торжественную тему, которая словно подытоживает его чувства и настроения.

Погребок почти пуст, несмотря на то, что двери его призывно открыты, а окна уютно украшены зажженными свечами под цветными стеклами. Только что прошел дождь, и брусчатка мостовой синевато поблескивает под круглыми липовыми кронами.

Старший кельнер в куртке малинового сукна краем полотенца протирает зеркало за стойкой, на которой пылает букет алых роз. Тяжелая скорбная тема торжествует свое утверждение.

Гофман заштриховывает черной тушью последнее пятнышко бумажной белизны.

А вот и долгожданные друзья! Гофман встает из-за стола, церемонно встречает их у порога:

— Фрейлейн Эвнике, — он целует ей руку. — Г-н Гитциг! Г-н Шамиссо! Г-н Глюк! — подает он руку человеку в камзоле.

Все с удивлением смотрят на подвыпившего Гофмана, раскланивающегося перед пустой дверью.

За столом веселье. Пьют за успех «Ундины».

— Ваша «Ундина», маэстро, идет блестяще, и сегодня так же, как и всегда. Виват! — Гитциг поднимает свой бокал и выпивает. Остальные весело следуют благому примеру.

Гофман наливает бокал и встает, чтобы произнести тост.

— Спасибо вам. Я рад, что вы с такой искренностью делите со мной успех этой оперы.

Но какие пустяки! Это уже сделано, написано, поставлено! Отгорело. Давайте выпьем за другое. Выпьем за конвульсии нашей души, в которой созревает понятая нами истина! Понятая звуками, словами, живописными полотнами абсолютная бесконечность!

По мере того, как Гофман будет говорить, он станет прихлебывать из своего бокала, подливать в него из бутылки, которую принесет на стол внимательный кельнер. И к концу своей речи останется один.

Сначала исчезнет очаровательная фрейлейн Эвнике, затем Шамиссо, за ним — Гитциг.

— У нас ужасные — неуживчивые и вздорные характеры, их поверхность шершавая и необработанная и, если провести по ней неосторожной рукой, то подчас можно оставить в руке занозу. Многие мы называем друзьями, но немногие подозревают о той душевной боли и о тех просветлениях, которые делают нас теми, чем мы являемся по преимуществу.

Счастливы ли мы? Нет. Потому что счастье слишком мелко для нас, стремящихся объять необъятное.

Удовлетворены ли мы? Нет. Нас всегда мучит жажда открытий и завоеваний, которые пытаются распространиться на все, что нас окружает. Но много ли мы знаем из того, что нас окружает? Да и можем ли мы верить своим чувствам? Вот стоит бутылка. Она пуста. Зеленого цвета, прохладная, на дне ее несколько капель вина. И это все, что мы о ней можем сказать, ибо у нас всего пять органов чувств! Увы! Как мы можем знать этот мир, когда мы ничтожно мало можем постичь при помощи своих нищенских ощущений! Что мы можем сказать о нем, если кроме того, что он звучит, пахнет, кроме того, что он обладает цветом, температурой и может быть либо горьким, как полынь, либо сладким, как нектар, — мы ничего о нем знать не можем!

Мы ничтожные из ничтожных, вообразившие себе, что мир таков, каким мы его видим.

А если он обладает миллиардами иных свойств, о существовании которых мы даже не догадываемся?!

Что в таком случае делать несчастному человеку! Кто узрит тот божественный идеал, который сделает человечество счастливым?

Гармоническое целое! Полнозвучный и всеобъемлющий аккорд *tutti* всех возможных инструментов — божественная иллюзия абсолютной целостности и полноты — искусство! Так выпьем же! . . .

— Bravo! . . . — раздался голос, полный иронии, и вслед за ним постукивание пером, вынутым из чернильницы, по поверхности стола, так как постукивают смычками о пюпитр музыканты, одобряя только что сыгранное ими сочинение, когда автор его выходит раскланяться перед публикой.

Гофман оглядывается. За столом только он и кавалер Глюк в своем нарядном камзоле.

— Bravo! Простите, так кто вы все-таки? Энтузиаст, воздающий почести своим воспоминаниям, или грустное, не помнящее родства существо, запрятанное в бутылку своего эвклидова существования?

— Почести воспоминаниям? — удивлен Гофман.

— Конечно. Помните, как блистательно выразилась мадам де Сталь: «Лучшая часть таланта складывается из воспоминаний?»

— Да, она так говорила, и это похоже на правду. — Гофман допивает остатки вина, требует у кельнера еще бутылку и садится напротив незванного гостя.

— Я читал ваше последнее литературное сочинение, — высокомерно заявляет Глюк и разливает вино по бокалам. — Ваше произведение, является, вероятно, мистической теорией любви?

— Не думаю, — отвечает Гофман. — Я хотел лишь попытаться перенести вас в атмосферу впечатлений вашего детства и посмотреть, можете ли вы воспринять сказку просто как сказку. Для этого нужно, чтобы вы вновь стали ребенком.

— Ну, со мной в этом смысле покончено, хотя я и помню кое-что из моего детства.

— Действительно?

— Да. Я помню своего учителя, который бил меня по пальцам линейкой, если я брал неверный аккорд. Эти воспоминания тоже годятся для превращения в ребенка?

— Без сомнения. Сердечные раны, полученные в детстве, не заживают и никогда не становятся принадлежностью взрослого человека.

— Может быть, может быть . . . В конце концов те радости и тревоги творческого озарения, о которых вы изволили только что так красноречиво говорить, все они зияют на страдании — и в малом и в большом. И в сущности, я не уверен, что жизнь такая уж ценная вещь, если за просветления приходится платить так дорого.

— Нет, нет, — горячо возражает Гофман, — жить, только жить, какой угодно ценой!

— Да . . . — вежливо произносит кавалер Глюк и откашливается. — Вы, кажется, больны? — спрашивает он, помолчав некоторое время.

— Да, — отвечает Гофман, испуганно подняв глаза на собеседника, — у меня . . .

— Я знаю, — прерывает тот Гофмана, — знаю.

Да, мой юный друг, нельзя не согласиться с вами, когда вы говорите о друзьях так, что они исчезают сразу же после ваших слов, — действительно, наступает время, когда друзья не приобретают, а наоборот — начинают терять. А друзья — это не только собутыльники. Отнюдь! Друзья — это те, кто сможет ради тебя пожертвовать всем. И не ради афиширования своих дружеских свойств, а втайне, так, чтобы никто и никогда не узнал об этой жертве, сознание которой могло бы омрачить наше существование. Есть у вас такие друзья?

## ГОФМАН-ДВА

— Нет. Да, пожалуй, нет, — произносит за соседним столиком человек во фраке советника министерства юстиции, расшитом золотом. Он берет свой стакан и пересаживается за стол, где сидят Гофман и кавалер Глюк.

— Вы позволите? — из вежливости спрашивает он.

— У вас в нем вид генерала, — взглянув на роскошное шитье, говорит Гофман, улыбаясь.

— Теперь мы с маэстро будем говорить по очереди, — заявляет знакомый незнакомец, — одну мысль высказывает он, другую я. Только честно, чтобы все было по справедливости.

— Правда, у меня есть друг, с которым мы близки с самого детства . . .

— . . . но его судьба так непохожа на мою, — продолжает человек в раззолоченном фраке, — что вряд ли это может способствовать нашей душевной близости.

— Ну, вы требуете от друзей слишком многого. Не достаточно ли будет простой возможности излить свою душу? — горестно улыбается кавалер Глюк. — Разрешите задать вам один вопрос. Он очень важен для меня, желающего лучше понять вас.

— Пожалуйста, вам я отвечу на любой вопрос, — отвечает Гофман.

— В таком случае скажите, чего вы боитесь больше всего на свете?

— Сойти с ума. Безумия, — отвечает двойник Гофмана во фраке.

— И смерти, — добавляет Гофман.

— Ну, смерти-то бояться совсем уж ни к чему.

— Это вам, достигнувшему бессмертия, — усмехается Гофман.

— Бессмертия? А что такое бессмертие?

— Никто не знает, что такое бессмертие, — вставляет Гофман во фраке.

— Скажите, — обращается Гофман к нему, — кроме того, что вы повторяете мои черты, вы не можете ничего?

— Я могу все, что можете вы, естественно, и еще кое-что. Послушайте, любезный! — подзывает он официанта. —

Принесите мне, пожалуйста, одну сырую морковь.

— Морковь, ваше превосходительство?

— Да. Одну сырую морковь.

Пожав плечами, официант уходит, приносит в мелкой тарелке тщательно вымытую морковь и неторопливо удаляется с гордым видом.

Гофман во фраке берет нож и режет морковь на кружочки.

— Что это? — спрашивает он, показывая на нарезанную морковь.

— Морковь, — отвечает Гофман.

— Нет, — отвечает его двойник и ударяет ладонью по столу, после чего морковные кружочки превращаются в золотые.

— Смысл философского камня заключается в том, что он никогда не попадет в руки человека, — заявляет он.

— А вы? Кто вы?

— Господин Гофман! — нарушая одиночество маэстро, кричит, появившись в дверях пожилой человек в ливрее. — Пожар! Театр горит!

Здание театра охвачено пламенем. К нему невозможно приблизиться от жара. Пожарные лошади шарахаются, обрывая упряжь. Лопаются цветные окна. В дыму мечется голубиная стая.

Ночь. Дымятся стены пожарища. Мрачно смотрят оконные проемы в безоблачное звездное небо.

## ГИППЕЛЬ

В берлинском кабинете Гофмана сумрачно: шторы задернуты, чтобы свет не раздражал больного, который сидит у камина в кресле, со скамеечкой под ногами, в шлафроке и накинутой на плечи шали.

Гиппель, слегка приоткрыв штору, сидит у окна. Это их последняя встреча. Гиппель должен уехать сегодня вечером.

— Кто я такой все-таки? Ты не можешь мне сказать? — спрашивает Гофман.

— Ты мой друг, и мне очень не хочется с тобой расставаться. Особенно сейчас, когда тебе нездоровится.

— Конечно . . . Музыкант? Художник? Писатель? . . . Или просто советник экстренной комиссии? . . . А может быть, ты все-таки задерживаешься? Хоть бы еще на день!

— Это совершенно невозможно. Я ведь от себя не завишу.

— Никто от себя не зависит . . .

— Ты слышал, Юлия Марк покинула Грелея. Они разошлись.

Гофман отвечает не сразу.

— Дай мне . . . Открой правый ящик секретера и дай мне синий конверт. Он должен быть в самом низу, под бумагами.

Гиппель встает, подходит к секретеру и возвращается с письмом.

— Прочти. Это я писал доктору Шпейеру. Прочти вслух. Начни со второй страницы — до этого пустяки, поклоны и ужимки . . .

— Если ты настаиваешь . . .

— Ты знаешь, мне сейчас пришло в голову . . . Мы ведь с тобой ни разу не поссорились! Это за тридцать-то пять лет! Ну читай, читай . . . Постой . . . Попроси Мишу, чтобы она сделала мне пуншу.

— Умоляю, воздержись . . . — просит Гиппель.

— Ну, читай, читай . . . со второй страницы.

— «Можете себе представить, — читает Гиппель, — я долго разговаривал с Фанни Гарновой и понял . . .»

— А кто эта Гарнова?

— Бедная старая дева из Гамбурга. Пишет ужасные романы . . .

— « . . . и понял, — продолжает Гиппель, — увы, то, что она хотела скрыть от меня: горечь жизни, сожаление об утраченной юности, все это жестоко изменило душу Юлии. Она перестала быть мягкой, нежной, детски беззаботной.

Может быть, все снова переменится теперь, когда она покинула кладбище, полное увядших цветов, похороненных радостей и надежд . . .»

— Прости, — перебивает чтение Гофман, — вот ты чиновник и довольно преуспел . . . Скажи, правильно ли я сделал, что будучи старшиной советников, вызвал этого идиота, полицмейстера фон Кампца в суд?

— Как ты выражаешься . . .

— Ну хорошо, не идиота, просто клеветника, но прав я или нет, призвав его к ответу по закону?

Гиппель улыбается:

— Ты настолько же прав, насколько правы они, освобождаю тебя за это от службы в экстренной комиссии . . .

— Мне с самого начала не надо было заниматься этой мышью возней! Я не чиновник! Я . . . — Гофман глубоко вздыхает . . . — Я даже не знаю, кто я . . . А? Кто я, Теодор?

Гиппель встает со стула и долго складывает письмо, которое читал, прежде чем ответить.

— Не надо, не говори ничего . . . Я боюсь, что никто не может ответить на этот простой вопрос . . . Что же ты делаешь? Ты же не дочитал! Нет, нет, нет! Обязательно прочти! Ты должен знать! Ведь ты уезжаешь! — Гофман пытается встать с кресла, но ему это не удается.

— Ты знаешь, — грустно говорит он, — а я тоже возьму как-нибудь и уеду куда глаза глядят . . . Или уйду пешком . . . Переночую в какой-нибудь деревенской гостинице. Выплю пунша! . . . Ну читай, что же ты не читаешь?

Гиппель, улыбнувшись, снова достает письмо из конверта:

— Где я остановился? . . . Ах, вот . . . «Если вы сочтете возможным и удобным произнести мое имя в семье Марк и заговорите там обо мне, скажите Юлии в момент, когда проглянет веселый луч солнца, скажите ей, что воспоминание о ней живо во мне, но можно ли назвать простым воспоминанием то, чем переполнена душа, то, что, будучи и тайно переработано высшими духовными способностями, приносит нам прекрасные мечты об упоении, о радости, которую наши физические руки, из плоти и крови, не в силах схватить и удержать? . . .»

Гофман сидит в своем кресле с закрытыми глазами, и кажется, что он спит . . .

— « . . . Скажите ей, — звучит голос Гиппеля, — что небесный образ ее доброты, ее ангельской и женской грации, ее детской чистоты, сиявший моим взорам в адской тьме этого злосчастного времени, скажите ей, что ее образ не покинет меня до самого последнего моего дыхания и что тогда, тогда, наконец, моя освобожденная душа узрит в его подлинной природе существо, которое было ее желанием, ее надеждой и ее утешением!»

## ЮЛИЯ МАРК

Осенний вечер. Тихий, ясный и очень холодный. Вечерняя заря похожа на радугу. Деревья черными сквозными силуэтами, словно написанные китайской тушью, стоят по краям дороги. Уже освещивают первые огни в окнах домов отдаленной деревни.

Гофман идет по дороге. В руках его тяжелая трость, идет он медленно, и по тому, как он иногда останавливается и подолгу смотрит себе под ноги, можно понять, что он никуда не торопится . . .

Деревня . . . Аккуратные домики, чистые тротуары, вымытый булыжник мостовой.

Церковь, из которой доносятся звуки органа и нестройный хор — видимо, из прихожан. Улицы пусты . . .

Гофман снова останавливается, презрительная гримаса искажает его лицо. Пение из кирхи несется из-за закрытых дверей.

. . . Изрытое поле, расщипленные и дымящиеся деревья, разбитые пушки, взорванные остатки селения. И трупы. Бесконечное количество трупов, на которые равнодушно светит белое солнце.

Пруссаки, французы, русские . . . Огромное поле. Убитые,

искалеченные люди. Раненая лошадь бьется в оборванной упряжи...

Хозяин деревенской гостиницы со свечой в руке провожает Гофмана в его комнату.

— И, пожалуйста, пушту. Три порции. И затопите камин...

— Сию минуту! Можете быть совершенно...

— А вы воевали с Наполеоном?

Хозяин от неожиданности останавливается:

— Вы, наверное, заметили, что я хромаю?

— А ром у вас хороший? — спрашивает вдруг Гофман.

... По мосту, объятому пламенем, движется всадник. Лошадь осторожна, она прядет ушами и косит глазом. Пена падает на дымящиеся перила. У всадника ужасный взгляд тирана.

— *Voops*, — рычит он львиным голосом адъютанту.

Это Дрезден. Наполеон накануне проигрыша Битвы Народов...

Гофман, сгорбившись, сидит у камина и смотрит в огонь. Время от времени он берет стакан, чтобы отхлебнуть горячего напитка. Потом, прихрамывая и опираясь на трость, он подходит к окну и распахивает ставни.

Звездное холодное небо опрокинулось над землей. Тишина.

Гофман снова закрывает окно и, сняв пальто, ложится на кровать.

На комод, рядом с кувшином и тазом, его *portpapier*, миниатюра с изображением фрейлейн Юлии, коробочка с лекарствами и стакан воды.

Пламя свечи дрожит, и воск проливается на подушку, на которой спит Гофман. У него изможденное лицо несчастного или очень больного человека.

Напротив кровати — полуоткрытый зеркальный шкаф. Тихо.

Скрипит створка, и дверца шкафа медленно растворяется до конца.

Откуда она появилась, эта девушка с голубой лентой в черных волосах?

Тонкие руки аккуратно складывают на ночном столике вещи спящего. Ставят на стол букет цветов, подрезают свечной фитиль, поправляют огонь в камине...

Снова скрипит створка шкафа...

Яркое солнце заливает комнату. Окно распахнуто, теплый ветер играет тонкой кисеей занавесей.

Всюду цветы...

Солнечные зайчики дрожат на стенах и потолке светлой комнаты.

Гофман просыпается. Он поворачивается и садится на постели.

Но что с ним? Куда делись седые бакенбарды и морщинистый лоб? Глубокие складки на щеках и распухшие суставы рук? Он молод — на вид ему не больше двадцати лет!

Он встает с кровати, подходит к зеркалу, чтобы привести в порядок шевелюру, но ему так и не удается увидеть себя молодым — в зеркале отражается только залитая солнцем комната и шкаф с полураскрытой дверцей. Лица своего он не видит.

Его привлекает негромкий шорох, который доносится из шкафа.

Он подходит к нему. Прислушивается. Потом бесшумно распахивает створки. Ему кажется, что у шкафа нет задней стенки. Но он не уверен в этом, потому что здесь очень темно и в темноте ничего нельзя различить. На ощупь он находит свое пальто и плед.

Неловко отодвигает их в сторону, и они падают на дно шкафа. Пуговица пальто звонко шелкает о дерево.

Невдалеке, буквально в нескольких шагах, он видит небольшое оконце, а в нем и девушку с голубой лентой в черных волосах, уходящую по тропинке в глубь сада. Потом окно что-то заслоняет — не то ставни, не то занавеска. Снова потемки.

С трудом ему удается вернуться в комнату.

Свеча почти догорела, камин остыл. Гофман усталыми глазами обводит тесную комнату в дешевой деревенской гостинице. За окном брезжит пасмурный рассвет.

## ДЕТИ ФРАУ МАРИЕНБЮРГЕР

Гофман лежит на диване у себя в кабинете. Он уже не встает.

В гостиной молча сидят его друзья. Всего двое или трое.

У камина врач — доктор Шпейер — с помощником раскаливают полосы железа на спиртовках. Рядом с постелью хлопочет Миша. Врач кладет раскаленное железо на обнаженную спину Гофмана, с обеих сторон позвоночника, но большой ничего не чувствует.

Потом его поворачивают на спину.

— Кстати, — шепотом заговорщика обращается Гофман к доктору, — я ведь тоже давно уже перестал отражаться в зеркалах. Как Шпинер.

— Может быть, тебе принести бульон? Ты ничего не ел, — пытается отвлечь мужа от мрачных мыслей Миша.

Он ее не слушает.

— Только отражение свое я оставил не женщине.

— А кому? — с профессиональной учтивостью интересуется Шпейер.

— Ей, этой самой...

— Ей? И не женщине?..

Из гостиной доносятся детские голоса. Кто-то плачет. Отсюда трудно понять, мальчик или девочка.

— Что там? — спрашивает Гофман.

— Сейчас я узнаю... Не беспокойся... — Миша выходит в гостиную.

Не поворачивая головы, Гофман искоса смотрит в большое зеркало, висящее на противоположной стене. В нем отражается комната и нарядно одетые дамы и господа, сидящие в креслах. Они внимательно смотрят на Гофмана.

Где он их уже видел? А! Но ведь их не существует! Ведь он их придумал!

А они продолжают молча смотреть на него из зеркала грустными глазами. В комнате, кроме врача, никого нет.

— Я похож на детей, родившихся в воскресенье.

— Что вы... хотите сказать? — Шпейер подходит к больному.

— Они видят вещи, невидимые другим.

Возвращается Миша и, болезненно улыбаясь, подходит к постели.

— Там дети фрау Мариенбургер. Младший плачет и требует, чтобы ты рассказал ему сказку. Я сказала, что когда ты выздоровеешь...

— А-а-а... Теперь я понял, кто я... Наконец-то... — шепчет он, криво улыбаясь.

В комнате сразу становится темно. Вечер. С колокольни, расположенной неподалеку, на соседней улице, доносится звон колоколов.

Миша, врач и друзья Гофмана молча стоят вокруг умирающего. Его жизнь уходит...

... Украшенный пестрыми флагами воздушный шар поднимается над верхушками деревьев и остроконечными черепичными крышами.

Все выше, выше...

Отсюда весь город как на ладони.

А вон там, между мостом и зданием костела с бронзовым шпилем, высокий дом с открытыми окнами...

Вот он. Все ближе, ближе...

Вот уже видна комната через блеск стекол в лакированных переплетах...

И черноволосая женщина с голубой лентой в волосах, сидящая у чайного столика.

Вот она поворачивает голову...

Но он так и не может рассмотреть ее черты, потому что наступает темнота. Он чувствует только, что более близкого и дорогого, доброго и родного лица он не знал за всю свою нищую, короткую, сумасшедшую жизнь.



ЯНИС ТАМУЖС

Фото Валтса Клейнса

# Я Н И С Т А М У Ж С : «...ТАК РОДИЛИСЬ МОИ РИСУНКИ»

Принято считать, что за относительно короткий период существования латышского изобразительного искусства, в последнем образовалось не так уж много «белых пятен». Неисследованное, в большинстве случаев, связано с истоками нашего профессионального искусства. Но существуют неясности и более позднего времени. Умалчивание и сознательное искажение не были редкостью в наши дни. Но явления искусства, которые заставили бы изменить представление о происходившем в недавнем, вполне, казалось бы, обозримом прошлом — это неожиданно. До недавнего времени бытовало мнение, а точнее — полагалось считать, что в период после 2-й мировой войны эстетические ценности латышского изобразительного искусства лишь постепенно разрушались в результате беспощадного и непреклонного администрирования. Самым же тяжким было время Сталина, его суетливых прислужников. Эта эпоха была отражена — пусть и односторонне, и отчасти даже тенденциозно — на выставке 1988 года, прошедшей в новом выставочном зале в здании Арсенала. Не произошло резкого поворота к лучшему и после смерти диктатора, разве что несколько ослабло ощущение удушья духа и отчасти уменьшилась реальная опасность. Все же в латышском искусстве постепенно стали зарождаться и новые, свежие веяния. Вскоре, неизвестно каким образом образовавшийся, фигуративную живопись стал определять термин «суровый стиль». К сожалению, столь превозносимый и восхваляемый «суровый стиль» смог лишь в некоторой степени «расковать» формальные средства живописи и ввести в художественный обиход некоторые новые, ранее незатрагиваемые или недопускаемые темы. В основном же содержание произведений искусства продолжало оставаться надуманным и малодостоверным. Художественные произведения отображали мнимую жизнь, либо занимались тематикой нейтральной — столь уместной всегда. Хваленый «суровый стиль», на самом деле, скользил над реальной суровостью жизни. И в то же самое время, уже в годы прихода самого сурового диктаторского режима, в отдаленном сельском уголке Латвии некий, одолеваемый желанием творить, крестьянин — колхозник, позже — рабочий совхоза — преспокойно, без оглядки на какую-либо конъюнктуру, реализовывал свой опыт и наблюдения в своих картинах. У странного крестьянина имелась некоторая профессиональная подготовка по части рисунка и живописи, а также — основательное знание жизни. Все это предоставило ему независимость, освободило от необходимости искать себе советчиков и консультантов. Тематика произведений живущего под Лиепайей бывшего участника первой мировой, латышского стрелка, военнопленного, солдата латвийской армии, путешественника по Южной Америке Яниса Тамужса вполне непритязательна. В его многофигурных композициях — его село и все, там происходящее. Изредка Янис Тамужс навещался в Лиепайю, тогда на рисунках возникал город первых послевоенных лет. Рисуя — обычно в вечерние и ночные часы, — художник был вне надуманного позитивизма, столь торжествовавшего в то время. Но он не задался и тем, чтобы нащупывать отрицательное. Он рисовал свое — окружение, переживания, сельские будни. Лесозаготовки, дорожные работы, образование колхозов, выверты и зигзаги хозяйственников, затрагивавшие всех, живущих с ним рядом. Попытки выставить свои работы заканчивались неудачей, и Янис Тамужс махнул рукой

на общественное признание. Шли годы, автор ушел на пенсию. Еще через несколько лет он передал Лиепайскому музею целую кипу своих композиций. Взамен не получил ни гроша. Слова о том, что нет пророка в своем отечестве, получили, таким образом, свое очередное подтверждение. Рисунки, несомненно свидетельствующие об индивидуальности автора, совершенно — что особенно важно — ненадуманнные и в то же время художественно выразительные и исполненные профессионально, не заинтересовали никого. Истинный, возможно даже — единственный выразитель латышского «сурового стиля» продолжал оставаться неизвестным. И, возможно, его полные земной силы и ненадуманнные душевных переживаний рисунки и не сохранились бы — здесь сошлемся на сказанное самим автором — если бы... если бы не случайность. Случайность, которая, нравится нам это или нет, заставит несколько по-другому посмотреть на некоторые десятилетия латышского искусства. И, слава Богу, не так уже стыдиться за угодливо согнутые при замахе господской плетки спины!

ЮРГИС СКУЛМЕ  
1989 год, январь

Медзенские «Штерны» находятся неподалеку от Лиепайи, на равнине. Там сильные ветры, а земля лежит на бывшем дне моря. Здесь, в доме друга молодости отца, старого революционера 1905 года Яниса Штернса, сорок восьмой год живет Янис Тамужс. Латышский стрелок. Крестьянин. Художник. Или — «мизерабельный колхозник», как он иной раз сам себя величает.

Его жизнь определил Пятый год. Тогда — девятилетне-го, без вины виноватого. На его хуторе «Гравас» сожгли даже собачью конуру. За «отцовские грехи» он расплачивался по-особенному — всю жизнь рисовал Пятый год, поля боев первой мировой, дороги стрелков, рисовал, путешествуя по Южной Америке, рисовал страдания и ужасы второй мировой, послевоенные преобразования, крепостничество первых колхозных лет. Рисовал, иногда писал маслом, ночью, после крестьянского дня, преодолевая боль от полученного в Волянии ранения. Простым карандашом, углем и чернилами. В обычных ученических тетрадках.

Многое пропало в круговерти времени, многое загублено людьми. Рисунки первой мировой вымокли в его же собственной крови в Воляни. Позже, в тридцатые годы, он воспроизвел их по памяти.

В начале 1988 года Янис Тамужс «родился» вторично, в возрасте девяноста двух лет. Появились первые статьи о нем; в Лиепайе, Екабпилсе и Риге состоялись выставки его картин и рисунков.

Рисунки Яниса Тамужса следует считать свидетелями эпохи, столь существенной для нашего народа. Они с честью выдержали испытание временем и теперь заняли особое место в латышском искусстве.

Повествование Яниса Тамужса строится на нескольких беседах, состоявшихся в апреле—декабре 1988 года. В медзенских «Штернах» гостили Юргис Скулме, Валдемарс Бредис, Валтс Клейнс и Айнарс Икстенс. Образный строй речи и стиль старого художника сохранены полностью.

АЙНАРС ИКСТЕНС

Я, ЯНИС ЯНОВИЧ ТАМУЖС, родился 22 февраля 1896 года на хуторе Гравас Вергальской волости. Нас было шестеро детей. 4 января 1906 года наш хутор сожгла карательная экспедиция. Младшему брату тогда отроду была одна неделя. Отцу посчастливилось убежать. Он уехал в Аргентину.

Образование мое закончилось 4-ым классом гимназии. В конце учебного года я тяжело заболел. Так как я был старшим в семье, надо было начинать помогать жить другим. Мать болела чахоткой и в 1912 году умерла. Мы жили у сестры отца, хозяйничавшей в Гравас.

Весной 1915 года надо было ехать отбывать гужевую повинность в Айзпуде. Приближались немцы, и я, удирая от них вместе с подводой, оказался в Слоке. Летом 1915 года немцы наседали на Курземе, и я с потоком беженцев попал в Икшкиле. Там работал на рытье окопов. 8 августа 1915 года меня мобилизовали. Зачислили в гвардию. 15 июля 1916 года меня тяжело ранило. После выздоровления перевели во 2-й Рижский полк. В сентябре 1917 года, когда пала Рига, в бою у Юглы попал в плен. Там пробыл 14 месяцев, во Франции около Вердена. В марте 1919 года был мобилизован в армию Латвии, там провоевал два года. Все военные дороги прошел рядовым, им я был не только на фронте, это показано и на моих рисунках.

В 1922 году при малой поддержке отца отправился в Ригу овладевать искусством. Учился в студии Общества содействия культуре 2 года. Потом перешел в мастерскую Уги Скулме, где проучился 3 года. Не было никакой надежды что-нибудь заработать живописью, да и сил больше не было жить впроголодь. Работал маляром. Иногда удавалось написать декорации сельским театрам. Моя раненая нога все чаще давала о себе знать. Отец звал приехать в Южную Америку. Там, как на грех, тоже зверствовал тяжелый кризис. Отец перебрался в Парагвай со среднегодовой температурой 24° выше нуля. Там я видел солнце, свет, краски, но моя простреленная нога стала ужасно болеть. Тот климат убивал меня. Через 10 месяцев поехал назад. Опять всякие малярные работы, а, в конце концов, из-за ноги пришлось идти в больницу. Тяжелая операция большой кости, после которой почти год калекой прожил у сестры.

В 1935 году мне присудили пенсию инвалида войны. Потом наступили нынешние времена, пенсию платить перестали. Во время войны работал у друга своего отца Штерна сельскохозяйственным рабочим, потом в колхозе. И так до 1970 года, до назначения пенсии. Писать картины в эти темные времена я не мог, не было времени. По ночам рисовал, так родились мои рисунки.

После ухода на пенсию начал писать картины, но старость и тяжелая трудовая жизнь берут свое. Не могу сконцентрироваться, как следует, потому что «in meditatione omnes artes consistunt...»\*.

(ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ЯНИСА ТАМУЖСА)

\* Любое умение поддерживается упражнениями — (лат.)

De malenpeor\* — у меня, как у испанца, все в жизни шло от плохого к худшему. Просто хутор сожгли и загнали нас в непросветную нищету. У матери чахотка, шестеро детей, младший брат, тот, что сейчас в Америке, с чахоткой костей. Я и думать не смел об учебе, только, как бы семье помочь. А потом была первая мировая война. Тогда повезло, попал в гвардию. Раньше гвардия была не то, что сейчас, когда любой и уже гвардеец. В царское время были Московская и Петербургская гвардия, восемь полков. Я был в Финском полку. В Финском полку все, как один, должны были быть с горбинкой на носу, светлоглазые и светловолосые. Павловский полк, у всех русский тип — курносый нос и светлые волосы, все как один. И роста все должны быть одинакового. А тогда было военное время, по росту не подберешь. В восемнадцать лет призывали, еще не развилась. А в Московском полку — все как один — рыжие. Когда молятся и снимают шапки, красно и как море. Еще гранадеры — у всех прямые носы, как цыгане, глаза темные, волосы темные. Так я сошел. Наших дрессировали, как зверей.

\*\*\*

Как только восемнадцать лет исполнится, в армию несколько раз в год призывали. Война была. Убивали почем зря. Мы поехали в полк, сто сорок латышей. Когда приехали на фронт, полк был полностью уничтожен. Осталось несколько обгоревших. Здорово убивали. У меня был две тысячи четыреста какой-то номер. В полку считалось четыре тысячи, значит, полк шесть раз уничтожался, от старых и духа не осталось. Полностью уничтожен. Это было у Стаходы, в Вольтини. В 1916 году.

\*\*\*

Прострелили насквозь обе ноги. В левой ноге кость совсем прострелили, а правая с осколком. Левая у меня не болит, но правая... И 30 часов в болоте пролежал, везло же мне. Я считался тяжелораненым. У меня были колени задеты, но только до хряща. Еще на сантиметр глубже, был бы я хромым. Сначала, словно жало, впилося. То пулеметы взвыли, я уже чувствовал. Воздух был полон пуль, сколько этих пулеметов тут было. Как пчелы роятся, только у пчел звук приятный, а пули

шипят, как комар, и это неприятно. И тогда я пробежал несколько шагов, и бац, бац, и наземь. А трава высокая, болотная трава, словно рожь. Пуля проходит насквозь, только взрывные взрываются. И тяжелые гранаты, если бы такая разорвалась, унесло бы меня на небеса. И два моих товарища лежат селедками. Их граната подкосила. За мной тоже лежат, трое. И я лежу в серединке, а они, как почетный караул. Эта война, война... «Санитар, санитар», — так все поле. Немцы отступили, и все тихо, и лежат три тысячи. Три батальона шли в нападение, в батальоне тысяча. У меня в роте из 240 отборных мужиков на ногах остались 10—12. В одной из соседних рот только семь. Так и уничтожили весь полк. 150 тысяч за два дня, можете представить, что это за бойня. Это адский огонь... Сначала: «Санитар!», а ни черта, подходит вечер, и все тише и тише звучит: «Санитар...». В июле такая легкая летняя ночь, тепло, и тут началось... как они выли, как хрипели эти умирающие, ну, это что-то такое... Мне стало страшно там лежать, казалось, что какой-то зверь вырывает у меня внутренности. Вот так... к утру уже тише, изредка кто-нибудь захрипит, застонет... Вскходит солнце, тогда все затихает...

С военной точки зрения, это наступление не было особенно умным делом. Гнали прямо в огонь. Но так у русских было принято. Русские, например, у Стаходы, идут в атаку, как быки, плотным строем идут на смерть. Приказано ли это начальством, не знаю, но хотят подавить противника телом. Таков русский способ воевать. Так же было и во вторую войну. Это тоже был последний удар, и, вдруг — стоп, дальше не пошло. Только то можно было взять, что погибло, сдохло, гниет.

Что русские знали о коммунизме? Мы знали. Я был больше националистом, чем сам русский. Старые русские солдаты про царя говорили: «Николашка». Мне это колынуло в сердце, у русского солдата всегда был царь и бог. За это жили и умирали, а у них такое презрение из-за этих неудач, не было никакого уважения к царю. И к центру, к правительству. Царь был «Николашка». Любой мог предложить себя на место царя Николашки. Ленин обещал царство небесное. Так это было. Все кончилось уже тогда. Солдаты говорили: «А нас по чем зря бьют». Они больше не верили, что можно чего-нибудь добиться, что можно победить, поэтому нас и били всюю. Как немца встретит, знает, конец пришел. Вся та политика уже обанкротилась в глазах народа. В глазах армии. Больше не было царя. Они шли в огонь только во имя дисциплины.

\* От плохого к худшему — (исп.)



Павший,  
Ок. 1930 г.



На привале (В России, 1916)  
Ок. 1930 г.

Почему латыши не бежали? Потому что они были латыши, и больше ничего. Кто построил в России нынешний порядок? Латыши! Дело не в тех нескольких полках. Но в некоторые критические моменты нужно держаться, иначе все рухнет. Против белых были значительные силы, и в решающий момент они повернули ход истории влево. На Перекопе то же самое, те же латыши, идя в огонь, взяли его штурмом. То же и у Юглы, они и в отступлении еще организация, войско. Латыш, в своей сущности, больше, чем он сам представляет, у него больше культуры. Русские идут толпой, «ура» и все. Так латыш не пойдет. Латыш идет не грудью, а хитростью, чтобы подобраться к неприятелю. Он крестьянин, на войну смотрит практически и зря свою голову не сложит.

\*\*\*

Впервые получил три месяца отпуска. Их я провел в Цесисе, потом назад в полк. А они отправляют меня в Петербург, где стоит резервный полк. Там опять проверка врача. И они говорят, еще один месяц, и я опять еду назад в Цесис. Потом опять в Петербург. А там всем латышам надо ехать назад в Ригу, в стрелковые полки. Таков был приказ, высочайший. Ни одного латыша больше не брали в русский полк.

\*\*\*

Я был в Рижском 2-м полку, он считался боевым. Меня зачислили в телефонисты. Нашим командиром был полковник Фридрих Бриедис. Наш телефонистский бункер был в десяти шагах от бункера Бриедиса. Изредка он выходил, покрутится немного один, подышит свежим воздухом и назад. Никаких особых дел у меня к нему не было. Он был таким недоступным. Неразговорчивый. Щадил ли Бриедис своих солдат? Ни черта! Когда были Рождественские бои, он был их инициатором, можно сказать. Возможно, он был хорошим стратегом и знатоком военного дела. Это неоспоримо. Но потери в Рождественских боях были огромны. И те же дерьмовые русские, когда фронт был прорван, надо было заткнуть резервами. Туда должны были войти русские. Но не тут-то было. Главнокомандующий, черт его знает, что он думал. Юкумс Вацietис, тот был в пятом полку. Видеть его не привелось, только слышал, что он очень берег своих солдат. Бриедис был сторонником старого строя. Он же был против красных.

Ну да... Наш полк стоял около Олайне, было время перемирия, такой период братания. Пять месяцев стояли. Некоторые и пяти дней выстоять не могут, падают. Боев не было, только ночью артиллерия еще иногда обрушивала несколько залпов, и это все. Когда я прибыл в полк, братания больше не было. Немцы начали нервничать, они больше не поддавались. Как Бриедис воспринимал братание, я даже не знаю. Когда нас, новеньких, прислали в полк, было большое собрание, офицеры с него ушли. Так как латыши перешли на сторону красных. Я политической совсем не интересовался. Так мы все числились левыми, и если в Риге было какое-нибудь голосование, то все мы, как один, голосовали за № 3, за номер социал-демократов. В заборе был устроен проход, и мы ходили мыться на речку Миса, между немцами и нами. Немцы были очень далеко, и мы плескались вовсю. Только вдруг над нами бух, бух. Высоко в воздухе шрапнель. Ну, они могли и прямо на нас, но нет, высоко. Схватили мы свои рубашки и драпанули.

Как долго стали стоять, полк стал проявлять недовольство. У нас было много рижан, те хотели домой к своей цаце. И нас отпускают в отпуск, на улицу Стабу. Там на самом верху нашему отделению указывают комнату, но запах, так воняет мочой и дерьмом, что спасу нет. Хотел я «спустить воду», смотрю, в конце коридора полуоткрытая дверь. Порог высокий, и все там до края залито мочой. Там жила русская армия. И на толчке куча, и стены все, сколько можно, размалеваны. Они подтирались пальцами, там коричневое и черное. Это я не могу. Это невозможно. Я бегу вниз. А там в уборной были жаждущие подраться, из батальона смертников. Они так ко-со на нас посмотрели. Парни из нашей роты перешли рельсы, в Московский форштат. Смертники, возвращались домой через железную дорогу, стали бросать в нас гранатами. Ну, дураки, ослы! Они ведь не взвели, бросают, как камни, и думают, что взорвется. А стрелки локат их, взводят и швыряют назад, и перебивают часть. В наказание отменили нам отпуск, сразу же выставили из Риги. Так мы поимели всего часов 4—5 удовольствия в Риге. Потом надо было идти на Пулеметную горку, и мы шли ночью и пели самые бесстыдные песни, какие только есть, во всю глотку.

Простояли у Пулеметной горки день. И тогда команда — опять в Олайне. Шли по дамбе, там хорошо идти. И увидели, что

все пушки убраны. Фронт пуст. Только у Олайне 3-й стрелковый полк. Мы сразу начали налаживать с ними связь. Как только мы завозились, так немцы выстрелили в нас газовыми бомбами. Был туман, и они ничего не смогли нам поделать, завязали в сырости. Начали тянуть провода, но тут шквальный огонь, ночью, по 3-му полку. Минут двадцать свирепствовал огонь. Мы уже решили, что там ничего не осталось. Через некоторое время пришло несколько солдат оттуда. Спрашиваем, вас сколько всего осталось от полка? Ерунда! Когда немцы начали стрелять, мы отошли шагов на сто назад. Тогда убило несколько пулеметчиков. Как только огонь прекратился, вернулись назад и, когда пошли немцы, перебили их, как собак. Немцам их номер не прошел. Но фронт все же пустой. Можно обойти вокруг, и что тогда сможет сделать небольшая горстка. Фронт остается фронтом. Потом был приказ направиться на Юглу, и мы пошли с песнями.

\*\*\*

К Югле шли всю ночь, светать начало, пригожий денек будет. Потом дюна, как дорога, слева — поле и луг. И там гуськом топаят русачи. Полковая шпана орет — врезать, кто отступает! Ну, начинает светать. Катятся клубы тумана. Но вдруг туман рассеивается, и впереди пятеро всадников — немецкие разведчики. Ну что же из того, что дружки тут как тут. Хорошо еще что так, ведь мы шли полковым строем, нас могли запросто перебить, аж жуть. Кричат — в цепь! В цепь! И мы все разбредлись. Мы отошли назад. И потом все утро дрались пулеметы, потом бомбометы, так дрались...

Ну, в цепи и начинают стрелять. Мы — телефонисты, это не наше дело, мы отступили в тыл. Но, на самом деле, телефонист — это смертник, это ужаснее всего. В бою прострелит провод — исправь. А там десятки глаз, следящих за всем, что движется. Пехотинец за своей кочкой или в окопе лежит и выжидает: то ли идти в наступление, то ли пусть уберет пуля артиллеристов. А телефонист должен идти, что бы ни было. У немцев были легкие бомбометы, они разбрасывали там-сям по картофельным и овсяным полям. Но тут начинает прибывать все больше и больше артиллерии. У нас только винтовки и несколько пулеметов — ни одного тяжелого орудия. И тут кто-то с дальним прицелом сзади, со стороны взморья, как начнет палить, бес его знает в какую сторону. А немцу это, как с гуся вода.

У нас был командир Элкситис, уважали его, отдал приказ поддерживать связь с бойцами на передовой. Выходим на Лубанскую дорогу, там такие мелкие сосенки, на худой земле выросли. Там нас немец встречает пулеметом, трррр. К счастью, мы шли по обочине и прыгнули за придорожную канаву. Нас спасла насыпь, дорогу там чинили. Чуть шелохнешься, пули тут же начинают сыпаться со стороны дороги, как тяжелые дождевые капли во время грозы. Но мы, как зайцы, уже ученые немного. Один из нового пополнения все голову поднимал, я говорю, что ты там высматриваешь? — Видеть хочу! И тут он умолкает и сваливается мне на ляжку, горячим обдало. Я все думал, может ли так, чтобы стрельнули в меня, а я бы не почувствовал, а ему пуля прошла обе щеки, вот тут, мозг не задела. Потом он еще убежать хотел. Я весь плен прошел с его кровью на штанах. Немец перестал стрелять, и я побежал назад со всем своим аппаратом, я нес его вплоть до самого плена. Через какое-то время Элкситис с проверкой в наше отделение — где провода? Они там все остались — надо идти и нести обратно. Когда мы вышли на Лубанское шоссе, там уже была немецкая линия. К ним артиллерия все подтягивается, а у нас всего пара пулеметов, ни одного орудия. Хотя бы одно было, немцам всучили бы, а тут ни одного, только винтовки какие-то. Весь день бились, правда, на километр отступили. Там была дюна с молодой порослью, а тут немцы с тяжелыми минами. Куда мина, там поляна, это адская сила, человек там пустяк. У меня был один рисунок оттуда. Покалечили того беднягу, нога на 90° отбита и грудь еще, рука сломана. Такой растерзанный человек страшен, противен. Мальчишки, санитары, не знают за что хвататься, фельдшер бежит к генералу, а его тоже ранило, тот орал — иди сюда, гадина! Наконец положили, а он уже посинел, умереть ему только осталось.

И тогда полк стал строем отступать. Винтовки к плечу, и шаг за шагом назад, отступали строем. В те времена, когда уже никакой дисциплины в помине не было, и русские свернулись и ушли, это было геройство, никакой дезорганизации, латыши до смерти были так дисциплинированы. Графически этого не покажешь, только рассказать можно.

Смерть постоянно перед глазами. Ничего уже не страшно. Ты — воин, и как воин должен быть готов погибнуть каждую минуту. Дальше драпали по Псковскому шоссе. Так был ликвидирован Рижский фронт, немцам путь открыт, идите куда хотите.

Отступая по лесным дорогам, мы нарвались на немецкий пост.



Домой без ног.  
Москва, 1915.  
Ок. 1930 г.

Муштра новобранцев.  
(Красное село, 1915)  
Ок. 1930 г.



ЖТ 1915

Они уже ночью устроились в молодом сосновом лесу на перекрестке просек. Поставили пулемет и ждали . . .

\*\*\*

Я молил Бога, чтобы меня послали на юг, потому что если на русский фронт, то там холодно, одежды никакой, дохнут там, как псы. И исполнилось мое желание, загнали в вагоны и повезли через Германию. Так мы доехали до Бельгии. Ватерлоо. Там высадили и поехали в сторону Вердена, потом в лагерь отправили.

Мы, 10—12 латышей, такая кучка попавших в плен у Риги, все время держались вместе. Когда возвращались домой в Латвию, то совсем потеряли друг друга.

Приятные воспоминания, хотя там туго пришлось.

Я шел, шел, пока зацепился, камешек попался, и хлоп наземь. Мы должны были на железной дороге поднимать и складывать камни, камни да камни. Русские кто слонялся вокруг, кто на поле работал, им от немцев доставалось. Потом, конечно, судьба над нами сжалась.

\*\*\*

Деревня Монтиньи. В Арденских горах, возвышенность и древняя равнина Маасы, старое русло. Немцы входили, деревня из камня, зернистый известняк. В древние времена тут было море, отпечатки древних животных, почти динозавров. В лагере были пластины, на них было видно. Деревня Монтиньи была в развалинах. Там много немцев погибло. У немцев так — где пал, там каждому крест ставили, и видно было — как цепь шла, так и кресты стоят. Жители отстреливались. Тогда немцы с артиллерией на них пошли, в пух и прах разбили. Ни одного дома не осталось, только тот, где мы — пленные. Мельница и тот домик остались. Как-то странно, деревня большая, с Гробиню, а жителей нет, только одна старуха. Военный закон был таков — если гражданский человек стрелял, его убивали, как собаку, а иначе обращались, как с сырым яйцом. В одном саду в одной могиле было 90, в другом месте — 120, вытасненных из развалин. Русские выламывали для починки дороги камни из домов, находили там человеческие кости, а другие даже французские золотые деньги.

\*\*\*

Там я тоже рисовал. К сожалению, все пропало. Поначалу тяжело было, думал конец. Там голодно было, потом, правда, полегче стало. Я с радостью вспоминаю Францию, ее природу. Зимы там вовсе не было. За 24 часа там все времена года увидишь, с утра мороз, потом град с дождем нагрывает, туман. И так всю зиму. В марте месяце уже весна. В конце февраля был неприятный мороз с русской стороны, но потом прошло, потом подул фен — из Африки, жар шел, как из печки, у нас такого не бывает. И потом сразу весна, в марте землю заделывай. Мне нравились крестьянские дома и деревни. Одна там была с 1510 года. Я помню такие дома. Так давно построены, у нас таких нет. Старые крестьянские дома двухэтажные, окна и двери несимметричны.

\*\*\*

Прожил там четырнадцать месяцев, два месяца ушло на дорогу. Освобождение.

Близилось нападение союзников. Англичане, французы, американцы, все вместе. Начали палить тяжелой артиллерией. Через гору на равнину выкатывали орудия прямо напротив станции Сальмори и самой маленькой деревушки. Но немцы держались, мы убрали поля до последнего. Когда шли на работу, над головой снаряд и раз — в церковь, она вся в воздухе рассыпалась. Становилось неспокойно. Нас, пленных, увезли прочь, поближе к реке. Ночью мы зашли переночевать. Немцы подняли крик. А темно было. Мы через реку и в гору. Охрана да наши. Нас было несколько тысяч, в лагере было 600, по дороге еще присоединились. Наш лагерь построил прифронтовой городок. Там русские складывали пулеметные ленты. Когда взойшли на гору, было уже утро. Там был злющий лейтенант. Наш комендант был хороший. Фельдфебель тоже был. Крик там страшный. Те, кто ходил убирать немецкие поля, вышли. Немцы тоже земледелием занимались, капусту, морковь, все это можно было до отвала есть. Тогда голода не было. А чужой комендант, ну прямо убивец. Держался, как джентельмен, щеки румяные, усы. Он за 4—5 месяцев по лагерю изводил. Русские многовато, надо убивать. Он был фюрером колонны. Он стал нас гнать назад к станции — грузить материалы. Русские выдержали фасон, и ни с места. И тогда

он начал всех бить по голове. Все должны уходить дальше от фронта, тут ничего хорошего не жди, все это понимают и поэтому стоят. Тогда зажужжало что-то, как пчелиный рой. Посмотрел в небо — полно самолетов, примерно 300. Самолеты нападают! И прямо на тот городок, куда нас хотели гнать обратно. Пошли бомбы, — горели со струей дыма. Все приближаются к земле . . . тогда начальник утомился, а городок был стерт с лица земли . . .

Наш путь лежал через Эльзас — Лотарингию, прошли Люксембург. Мы как-то ночевали в одном крестьянском доме, в сарае. Там полно цепов стояло. Через столицу шли ночью, она была ярко освещена. Война кончилась.

\*\*\*

Нас больше не охраняли. Куда побежишь? Шли через Бельгию, там все сильно запуганы. Немцы с ними круто обошлись, потому что сопротивлялись стойко. Потом шли через Рур, а потом нас закинули в поезд. Ехали пять дней, пока не приехали в Гродно. Рейн пересекали там, где высокий берег, вдоль реки Мозель проехали, где все холмы в виноградниках. Земли там нет, как они там растут, не знаю. Виноградник обрезают с человеческого роста.

Едой нас никто не снабжал. Какая еда, лишь бы домой. Глотнуть бы воздуха Латвии, а там и умирать можно! . . .

У меня был такой мешочек со сладким горошком. Пока ехали на поезде, только один раз выдали такой жиденький супчик из манки. Человек без еды не может. Если бы не этот мешочек, не смог бы на ногах устоять.

Приехали в Гродно, а там уже зима. Немец говорит, идите, вы тут суп достанете. А вещи чтобы в вагоне оставили. Я, как дурак, свой мешочек оставил. Все рисунки там остались. Ищу, ищу, нет ничего. А вокзал большой, с рельсами. Сарай какой-то, пустой стоит. Все русские разошлись. Вижу, один вагон стоит поодаль. Луна светит. Там что-то шевелится, подбегаю. Товарняк, дверь приоткрыта. Один хочет в вагон забраться, другой из вагона его палкой по голове. Тогда я быстренько разбежался и через эту спину завалился внутрь. Внутри ругань стоит. Падаю наземь. Лежу, как мышка. Одного на полу бьют — в русском и впрямь бес сидит.

Там были латыши, начали говорить по-латышски. Сижу и чую хлебный дух. Это первые пленные, взятые в Восточной Пруссии. В Августовском лесу их разместили у хозяев. Их щедро одарили хлебом и салом. Так они там сидели и лакомились. А я как голодная собака, ну и мне перепал кусок тоже. Едем. Утром светло, Кошедар (это, наверное, в Литве).

Там стоит состав. Я, долго не думая, прыг туда. Через некоторое время он пошел. И потом Динабург. Дальше не пойдет, — сторож говорит. Я в другой вагон. Это были пять пассажирских вагонов. Так я доехал до Елгавы. Снова вижу, стоит вагон. Nach Libau! Так я, с благословением божьим, доехал до Либаи. Жандарм стоит и смотрит, как на чудо. Он, конечно, знал, в чем дело, потому что я был в форме пленного, со всеми нашивками из белого полотна. А он посмотрел и ничего! Я сразу на шоссе, хотя ничего не ел, я даже не знаю, как выжил.

Навстречу идет женщина, глянула на меня, и тут же перепрыгнула через канаву и убежала. Я, наверно, был похож на черта.

Вернулся домой и дожил до того времени, когда Улманис начал создавать Латвийскую армию — в марте месяце. Нужно было явиться в Дурбе!

\*\*\*

Мне не нужно было учиться, стрелять я умел и знал, как вести себя на поле боя. Парни выросли, целая армия. Немцы их не могли взять. Улманис их все организовал. И какими же идиотами были латышские офицеры, дураки последние, они своего дела не знали. Комендант Озолиньш, — тот с девками сражался, и только маршировать заставлял, маршировать. Что это могло дать, если не показали, как из винтовки стрелять. С ней нельзя как с двустволкой, нужно уметь целиться.

15—16 апреля получили весть, что немцы пойдут со стороны Либаи, чтобы выкурить нас. Послали одного разведчика. Тот вернулся и говорит, — немцы сюда собираются. Мы все на ноги. Меня и еще пятерых послали в Дурбе на усудьбу священника, остальные пошли цепью вдоль канавы. Через некоторое время немцы установили у станции Лиевес орудия и еще там возились. Один удар был по церковной башне, другой был нацелен в конюшню. Я рассчитал, — до них 900 или 1000 шагов. Прицел нужно было поднимать, а я все стрелял, стрелял по орудиям, и они перестали палить. Те, которые внизу, в канаве, тоже стреляли. Еще двое старых солдат было внизу, которые умели стре-

лять, вообще, кое-кого убило и многие были ранены. Немцы не шли на смерть ради пустой славы. Если приспичило, то иди и подыхай. А офицерство было каким тупым! Мы победили, но мы не знали, что делать дальше. В соседнем уезде тоже есть Ландесвер, и они как будто бы должны прийти нас убивать. Офицера ни одного. Если нет вожака, что делать? Лейтенант Озолиньш пропал, и мы дали деру. Если ни одного командира нет, мы всего лишь толпа. Сосед мой, тоже старый стрелок, говорит — тут нам нечего делать, пошли домой. И мы действительно пошли по канавам домой. Винтовки в кусты засунули.

\*\*\*

Позже снова винтовки взяли, через месяц пришла весть, что всем таким «дезертирам» нужно собраться в военном порту Лиепая. Умником был старый Штерн, он был информирован, говорил — нечего туда ходить, всех посылают на Латгальский фронт. Немцев всюду полно, если мы пойдем воевать с большевиками, кто тогда будет биться с немцами.

Через месяц снова распоряжение — явиться в военный порт. Старый снова сказал, — нечего ходить, но пошли, — там еще сейчас стоят маленькие казармы. Создают один эшелон, который поедет на Латгальский фронт. А тут Ландесвер сидит на шее, мы прыгнули в окно и домой, снова «дезертиры» и снова дома провели месяц.

Был уже май. Немцы взяли Ригу. Пришла новая весть, что надо идти, и я пошел. Немцы в Риге и убивают латышей. 3 или 5 тысяч убили. Стоило только руки показать, если мозолистые — убивали, ты большевик. Я сам видел.

Наши казармы были примерно в полкилометре от центральной тюрьмы. Там дисциплины не было, можно было слоняться по Риге. Я пошел к центральной тюрьме. Там, в песчаных дюнах, в одной яме лежало 200 несчастных. Когда поднялся, то земля колыхалась, как на болоте. В ямах было по 70—80 трупов. Взрывающиеся пули на каждом шагу, еще валялась оторванная нога в грубом чулке. Вот так!

\*\*\*

Вокруг Риги шли бои. Эстонцы там были. Это они выгнали немцев из Видземе. Эстонец в драных штанах, босой, ружье на плече. Kurra! ... и так они шли. Латыш если набирался духу, то тоже дрался, а эстонец — это во!

\*\*\*

Отразили нападение Бермонта, а немцы укрепились в Елгаве. Мы тоже фронт держали. У меня в то время голова работала, и лучшие рисунки я тогда нарисовал.

Были на постое в одном хуторе, в сторону Елгавы. Хозяева пропали. Ждали бермонтовцев. Наконец, нас направили в Огре охранять мост. Единственный железнодорожный путь в Даугавпилс шел через Дагду. Вторая железная дорога была в руках латышских коммунистов.

В Огре я тоже хорошо рисовал, так я уже больше не осмеливался. Меньше своих товарищей, военные дела, больше фантазии, по-детски, но свободно. Художнику нужен дом, где поселиться и жить. От перемен мест все пропадает.

\*\*\*

Бермонт напал на Ригу. И мы маршируем в сторону Риги 30 километров. Первый удар не выдался, это взяли на себя другие. Нас еще провели в помещение студенческой кухни, и гражданские девки нас угощали. Ласковые были. Толком не рассмотрели еще на них, а уже надо идти в Болдераю. Но крупные бои уже кончились. Мы должны были сражаться в разных местах.

Однажды я совершил подвиг. Меня признали героем. Тогда стоял мороз, целый месяц 18—20 градусов. Днем и ночью — ясно и морозно. Целый день стоял во впадине и дрожал без прикрытия. Мы залезли в старую баню, а немцы подстрелили и дали нам по гнилым бревнам взрывающимися пулями. Если бы они стреляли как надо, то прострелили бы бревна, и нас всех бы прикончили, потому что взрывающиеся, как только соприкасаются с преградой, тут же взрываются.

Мы идем дальше по болоту, по торфяному полю. А навстречу, через березки, идет целая толпа немцев, но тут раз — я лег на землю и начал стрелять. Сто метров дальше немецкий пулемет стоит. Они только собирались стрелять, а наши уже начали отступать, наши — дурачки сельские. Я срыгал просто так. Пули наших до меня тоже долетали, и нет никого, кто распорядился

бы как следует. Стрелять не умеют. Я сбоку находился и видел, как немцы лежат у пулемета и чешут, вылетает обойма за обоймой. Стреляю, как полоумный.

Когда мы вечером проходили мимо, два немца лежали, как селедки. Я их с ног свалил. Другие тоже стреляли, кто знает, а вот этих я убил. Они на жизнь и на смерть не шли. Если отпор дать, они смывались. Пулемет тут же лежал. Он был испорчен.

Дальше было мало боев. Так мы шли до Лайжуве (в Литве), там пришлось пострелять. В полутьме орудовали у станции. Попали в кого или нет, не знаю.

Литовских солдат я не видел. Они гнали бермонтов дальше. Местные боялись и заползли кто — куда. Никто не выходил и руки не подавал. Запуганы. Но это уже было под конец ...

\*\*\*

После увольнения поехал к большевикам на фронт. К Виляне, на границу с Россией. Там была деревня у речки. Ивы росли. Я смотрел, если что, то тут место неплохое.

Лежал какое-то время, а тут фельдфебель кричит, — «Выходи, большевики идут!» И все помчались на гору. А там опаснее всего. Я к той речке, нашел хорошую опору для винтовки, к тому же, все поле передо мной. Их видно издалека, идут медленно. Я прицеливаюсь не спеша, и тут цепь отступила. Наша рота идет по горе, рядом идет Варна, шестнадцатилетний доброволец. Кто-то кричит, — Варну убили. Я и не смотрю на убитых, раненых, от этого начинаю мутить, идем дальше. У меня было такое чувство, что со мной ничего не случится. Варна был мертв, его убило на месте, как собаку. В тот раз семь-девять человек потеряли. Потом молодых добровольцев отпустили домой.

В России были маленькие усадьбы, как крепости. Большевики набивались туда, а против них шли латыши. Большевики, у них смелости не было сопротивляться, они улепетывали.

\*\*\*

У нас был там такой ротный командир Шнейдер, я был писарем. Так он здорово вяпался.

Со стороны России через границу пошли русские. Была одна партия богатых евреев. Этот и еще один соучастник, солдат, и давай всех расстреливать. Женщины молили о пощаде, падали на колени, а тот еврей не молил, а женщины кричали, хоть все равно всех убили. В целях ограбления. У них там были припасены караты, золото, драгоценности из России, а эти цап-царап всех убрали. Шнейдер, старший лейтенант. Это дело старались замаять, но о нем и в Англии узнали. В Сейм пришел запрос о нем, мне Штерн об этом рассказывал. Тогда я понял, что это дело умолчали, он выкарабкался. И потом он был у меня командиром, в той роте. С тех пор он был трусливым. Ему нельзя было давать никаких бумаг, он каждое слово изучал. Нельзя ли придаться. Не могу припомнить, каким он был по отношению к солдатам. Взгляд был такой мрачный. Подозрителен он был, как черт. Выкарабкался, и хоть бы что. Это была страшная картина. Тот еврей был героем, все ругался, говорил — вас тоже убьют. А женщины кинулись на колени, молили о пощаде, и убили их.

\*\*\*

Потом уже военных действий не было. Все спокойно. Торговля началась — русские шли за солью, аж из Петрограда. В России соли не было совсем. Приходили с мешочками. Приносили шкуры, за деньги не продавали. Принесут шкуру, оценят и выменивали на соль. В основном овчина была.

\*\*\*

Как долго супротив большевиков стояли, не помню. Жили на одном месте, готовились мир праздновать, военных действий никаких ... Потом я тифом заболел. Три раза накатывало. Ничего уже не соображал. Температура 42°. Там же, в Виляне, в местном военном госпитале. Койка такая, пружины вырваны у нее, задница на земле, голова поднята — так и я лежал. Какие ангелы, какие духи меня спасли, что не кончился я? Вернулся домой, снова все повторилось. Три раза выстрадал. Под конец уже ни жив, ни мертв. И увольнение всего на месяц дали. Да! Латвийская армия — ужас какой была. Ну ладно, поехал снова на фронт. Спрашивают, где служил. В Вилянах. Состоишь где? 8-й полк. Мне сказали, иди 10 километров, но если болотом пойдешь, то выйдешь всего 1,5 км. Ну что же, я давай через болото. А болото — без конца и без края. Мелкие сосенки. Осока по колени. Вижу, кто-то далеко-далеко впереди. След оставил. Ступаю по нему. Слаб был. Вижу, передо мной сточная канава, как

река, а сверху такой слой. Сейчас не пошел бы. А тогда поплелся. Свалился бы, но так бы и остался там лежать. У меня сил не хватило бы ни выкарабкаться, ни выплыть. Перепрыгну, иду, снова такая же река впереди. Таким же слоем покрыта. Как перебрался? Я опасность не умел предвидеть. Как я перебрался через эти канавы? В конце концов выбрался к своему полку. Так вот.

Меня снова писарем поставили. Черт этих солдат гоняет! Женщины им яйца носили, задобрить, наверное, хотели. Да и страшно. Яйцами только и пробавлялись. Ничто не угрожает, перестрелки нет, сиди себе и яйца ешь.

Я по своему усмотрению должен был вести «книги», а дела запущены до черта. Такой большой ящик, там все вперемешку накидано. Туго пришлось. Под конец завел такую книгу «приходящие и выходящие бумаги», и тогда я уже мог ориентироваться.

Наконец, мы подошли к границе Латвии, там мы долго стояли. А летом в Алуksне. Это было здорово. Большое озеро. А парк когда-то был красивый. Барон статуи наставил. Много разбито, уничтожено. Руки отбиты, головы. В родных латышах тоже бес сидит, чокнутые они тоже! На усадьбе Медзе дело было, после второй мировой войны, неподалеку мой военный товарищ жил. Раньше вокруг парка была ограда, каменные столбы, а между ними деревянный забор, так что посторонний туда зайти не мог. Посередине речка протекала, высокие берега наверху. Теперь все это пропало. Одна статуя там была. Хозяин поставил своему гувернеру памятник. Пьедестал был высотой до груди, круглый такой, а на нем фигура. То было художественное произведение. В камне. Сердце радовалось. Скульптуры очень хорошо смотрятся на природе. Например, в Вергалах. Там теперь один поставил своей двухлетней дочке памятник, он так чудесно подчеркивает тот покой, царящий вокруг, ну прямо расцеловать хочется его, он одухотворяет всю округу. Раньше была только голая фигура. Теперь она пропала. Душа маленькая девочки там витала. Пустое место осталось, разбили, наверное, скульптуру. Из песчаника была. Председатель наш, Мантниекс такой, землекоп, тоже старый коммунист, старый козел — первый сорт. Он и помогал разбивать... У него камень есть. Я спрашиваю — где взял, это от скульптуры из медзского парка. Вот мы какие, засранцы.

Вергальская церковь была самой красивой в округе, вся расписанная. Музыкант был такой, эстонец. Когда он играл, жиды плакали. Жил там один белокурый еврей, все его уважали, Хайм его звали, построил в Вергале красивый дом. Больница там была, потом магазин. Он, слава Богу, не дожил до этого кошмара, умер. У него были две дочки, блондинка, в отца пошла, другая темноволосая. Художник нарисовал их на алтаре как две ангельские головки. Этих девочек местные парни отвели в Саку и там застрелили. Старую еврейку тоже, у нее был такой сын Паулс, несчастный парень, торговал шкурами. Местные арестовали и увезли, то ли в Саку, то ли в гробиньский лес. Хороший еврей был, куркулем не был.

Даже алтарь пропал с росписью. Я зашел, а там пол взломан, кафедры нет. Известный хулиган Зиверт. Все из Пампали. Сколько церковей разорено...

Меня интересует церковь в Зиемуле. Мне там приходилось восстанавливать алтарь. За три дня я должен был нарисовать картины. Я бы сейчас с интересом посмотрел, как там все выглядит, как моя наскоро написанная живопись сохранилась. Священник меня хвалил. А там еще прекрасная резьба по дереву на алтаре. Чистая песня. В Вергалах роскоши много. Но это было настоящее произведение искусства.

Я, вообще, дохлый мужичонка. Штерну я говорил, что мешки на обмолоте я таскать не буду, спина не та. Это тяжелая работа. Он уступил, и хорошо.

... а все эти военные переживания. У русских в армии теперь начальники есть, мучаются, да теперь солдатская жизнь ерунда. Прыг в машину, и понеслись... Мы на первой войне от Резекне до Минска 3 недели топали, по бездорожью. Песок один, и мы шли, непогода ли, все равно, со всей амуницией, пыль столбом, не продохнуть, во рту пересохло, нос пересох, если свет видишь, значит, живой. Разве поймут. И так три недели кряду, и только через каждые 10 дней становились на отдых на берегу какой-нибудь речки. И не один раз, так все время.

А потом еще фронт.

Это тоже переживания. Взрывается к черту один снаряд подле тебя, а тут же второй идет, и третий, а ты дрожишь, вот-вот заденет, ан нет, мимо прошло. И так без перерыва...

А плен чего стоил, сколько там поумирало...

Сначала была уездная школа, тут, в Вергале. У меня был хороший учитель, он меня хорошо подготовил. Я сразу попал во второй класс гимназии.

Учился в лиепайской школе. Это была частная школа, гимназия с четырьмя классами, с усиленным изучением латинского языка. В то время аптекари должны были изучать его, так я после этой школы сразу был принят учеником в аптеку. У нас был такой Капениекс, известный аптекарь, мой школьный товарищ. Так он стал большим человеком, его все знали, врача заменял. Люди к нему больше шли, чем к врачу.

Я был художником от рождения, уже когда прогимназию посещал. Я таким уважением пользовался, что если надо было что-то на доске нарисовать, то вызывали непременно меня. Потом был учитель рисования Лавровский, в Лиенае уже. Он Петербургскую академию окончил, в такой красивой форме ходил. Но он дурак был, он ничему меня не научил. Я был бы счастлив, если бы сохранился хотя бы один рисунок тех лет.

После армии я хотел овладеть художественными знаниями. В 1922 году, получив небольшую поддержку отца, я отправился в Ригу овладевать искусством. И где же? Только при студии Общества содействия культуре была секция живописи, рисования и скульптуры. Нас там Р. Маурс учил. Туда я и ходил, но он бестолковый был.

Там актеры тоже были, писатели какие-то. Там я встретился с Лайценсом. Красивый человек был, он говорил медленно, носил форму коммунистскую, кожанку. В то время он и написал стихи «Хо Таи». С тех пор он мне нравился, человек этот. Жалко прямо, что он был таким идейно глупым. Верил, что в Москве рай построят. Какая жалкая, глупая смерть...

Там я проучился два года.

# АЛЕКСАНДРС КИРШТЕЙНС ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ,



Если через 45 лет после окончания военных действий кто-то объявляет — «начиная с послезавтра», в Риге приоритет будет отдан строительству квартир или на селе вот-вот наступит «вечный рай» в производстве продовольствия, то почему-то хочется направить этого человека на проверку к психиатру.

Почему современный человек, и так терзаемый противоречиями, должен метаться между целевыми программами и кампаниями, чей сияющий ореол светлого будущего обратно пропорционален обеспеченности такими прозаическими вещами, как материальные и трудовые ресурсы, и самое главное — нет настоящего обоснования, необходимости в таких «целевых программах»?

На протяжении десятилетий условия жизни в больших городах все ухудшаются (в Риге размер жилой площади на одного человека не достиг довоенного показателя). Взамен жители получили такие несуразности, как уплотнение застройки, резкое улучшение технико-экономических показателей, создание «индивидуального облика», «улучшенная планировка», не говоря уже об «удовлетворении возрастающих материальных потребностей трудящихся».

В инструкциях и нормах, великодушно, но строго регламентированных центром, указано, каких размеров должна быть спальня, сколько этажей (обычно пять или девять) должно быть в доме, как нужно освещать кухню и какой должна быть высота потолка. В свою очередь система домостроительных комбинатов, созданная в условиях централизованной системы планирования, в течение последних двадцати пяти лет успешно стерла различия не только между такими городами, как Рига, Казань или Набережные Челны (бывш. Брежнев), но и между пустыней и садом, — судя по песчаным бурям последних лет. Если среди сложенных наперекосяк большей частью девятиэтажек и появится

«соцкультбыт» — обычно в виде облупленного магазинчика, — то пустота его все равно заставляет большие массы людей (все еще надеющихся на метро!) постоянно перемещаться в центр и обратно, где изношенные от огромных перегрузок доживают последние дни безмолвные свидетели прежних формаций — театры, библиотеки, церкви, музеи и здания различных учреждений.

В то время, когда наши градостроители с серьезными минами рассказывают, что они рассчитывали в Риге «только» на 870 тысяч жителей, но их уже больше девятьсот тысяч, по новым, но уже устаревшим районам слоняются стайки подростков, сжигая от скуки кошку, другую. Газеты полны скорбных статей — в прошлом году снова не досдали какую-то тысячу квартир, но (!) только за 10 месяцев 1987 года в Риге прописано пятнадцать тысяч человек на основании постановления Совета Министров СССР.

Но может быть вовсе не стоит стараться, чтобы в Риге жителей было больше, чем в Таллинне и Вильнюсе вместе взятых, и вместо выдвижения скромных идей, что, например, РАФ вместо микроавтобусов мог бы когда-нибудь производить для нас сантехнику, надо просто начать устранение диспропорций в нашем народном хозяйстве. Может быть стоит поучиться у других стран, например у США, как они там умудряются при меньшем объеме производства цемента и стали и при втрое большем, чем в Советском Союзе, количестве квартир — за год построить жилой площади вдвое больше.

Может быть, окажется тогда, что вовсе не стоит воздвигать третий домостроительный комбинат, достаточно лишь децентрализовать существующий негибкий механизм строительства и способствовать созданию небольших, но технически хорошо оснащенных строительных фирм на кооперативных началах или с участием иностранного капитала!

# ИЛИ ДОКОЛЕ МЫ БУДЕМ ПОЗВОЛЯ



Подобные строительные фирмы нашли бы более целесообразное применение местным материалам и ремесленным традициям. В США в строительстве жилых домов широко используются лесоматериалы. И на юге, и у канадской границы, в различных климатических условиях, изумляет разнообразный внешний вид жилых комплексов и по внешнему виду, и по планировке. Располагая теми же материалами, какие у нас продаются в магазинах стройматериалов на Кипсале или в Букинтах: из факверхов, опилочных

пластин, стекловаты и вагонки, американцы добиваются совершенно иных результатов. Несколько плотников профессионалов и шесть—восемь разнорабочих (тоже в основном иммигранты) играючи сколачивают жилые комплексы на 150 или 200 квартир, не забывая о плавательном бассейне, теннисных кортах и постройках для клубов, не говоря уже о газонах и малых формах. Многие организации и отдельные граждане охотно вкладывают свободные средства в многочисленные строительные проекты. Тут неко-

# ЯТЬ СЕБЯ ДУРАЧИТЬ



Фото АЛЕКСАНДРА КИРШТЕЙНА

торые товарищи мне возразят, что все это возможно только в условиях недеформированных производственных отношений, — почти невозможно поднять уровень производства с помощью завезенных отменных станков, не установив производственных отношений, при которых эти станки были созданы. Пессимисты еще подметят, что все равно у нас будет продолжаться строительство зданий типа «барокко» и «красный элфантизм» на селе. Но кто может запретить нам изменить эти производственные отношения и, наконец, тут тоже, используя те же самые материалы, добиваться диаметрально противоположных результатов — назло тоскливой действительности?

Главным достижением были бы условия, не унижающие человеческого достоинства. Может быть, и у нас могут появиться жилые районы, не удручающие своими масштабами, а у искусственных водоемов и на просторных газонах можно было бы отдохнуть от городского шума и суеты. Длина инженерных сетей перестала быть главным критерием в процессе создания условий жизни гуманного общества.

Если мы не хотим, чтобы в Риге повторились события, имеющие место в Казани, Люберцах и других индустриальных городах России (если не хотим упоминать Белфаст), то мы должны своевременно разработать комплексную программу оздоровления города. В ней, в первую очередь, следует установить, сколько жителей могут вместить нынешние инфраструктуры в соответствии с экологическими условиями Риги (и других городов), не нанося ущерба здоровью людей.

Цифры могут оказаться шокирующими, например, — вряд ли вообще жителей Риги может быть более полмиллиона человек (и нужно ли Латвии больше?). Это значит, что нужно срочно переместить в другие регионы, по край-

ней мере, половину или две трети из существующих промышленных предприятий.

Можно, конечно, утверждать, что Латвия не является системой отсчета, что Рига, это всего лишь индустриальный центр Северо-Западной экономической области, которую, если хорошо захотеть, в будущем будут населять 5 миллионов человек. В таком случае строительству остается только продолжить бег с тридцатилетним отставанием за индустриализацией с ее стремительными темпами, и стоит заблаговременно подыскать место четвертому и пятому домостроительному комбинату. Надо считаться также с последствиями возможной деградации среды, такими, как преступность и различные эпидемии.

Если следовать здравому смыслу, то следует честно признать, что критическая черта перенаселения Риги уже давно позади, и даже сохранение существующего положения рано или поздно создаст взрывоопасную ситуацию. Рига не продолжает более традиций — ни латвийских, ни характерных для Европы городов, а у ее жителей намного меньше возможностей удовлетворить социальные и культурные потребности, в сравнении с такими столицами соседних государств как Хельсинки или Стокгольм. Поэтому программа (разработанная в соответствии с экологическими возможностями и считающаяся с культурными, торговыми традициями и с традициями репрезентации столицы) по оздоровлению Риги (вернее сказать — реанимации) должна быть радикальной, и потребует она огромных затрат, которые частично должны взять на себя Союзные министерства. В разработке этой программы должны принять участие специалисты всех отраслей, в том числе и иностранные, и главной ее задачей должно быть восстановление Риги как столицы суверенного государства.

# НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ)

**Салман Рашид: «Книга, написанная мною, не та книга, из-за которой убивают людей».**

Отрадно вновь и вновь убедиться, что интерес к серьезной литературе в мире не угасает. Выход романа объемистого, экстравагантного, восхваляемого критикой автора приковывает к себе внимание мировой общественности и поднимает целую бурю страстей. «Сатанинские стихи» английского писателя Салмана Рашида (Salman Rushdie, *The Satanic Verses*, 1989) упоминаются в передовицах самых влиятельных газет мира. Но не только похвала выпала на долю книги. Последовала волна протестов, появилась реальная угроза террора, в разных районах земного шара — в Индии, ЮАР, в иммигрантских кварталах британских городов начались демонстрации и даже восстания местного значения. Во избежание кровопролития в Индии книгу запретили, этому примеру вскоре последовали Пакистан, ЮАР, Саудовская Аравия, Египет. Во время массовой демонстрации у Центра американской культуры в столице Пакистана Исламабаде было убито шесть человек, сотни ранены. В Бомбее сотни тысяч разъяренных людей в знак протеста заполнили улицы, не обошлось без вмешательства полиции. Демонстранты отказались разойтись, и полиция открыла огонь, застрелено тринадцать, ранено более семидесяти граждан. В штате Кашмир один человек в знак протеста кончил жизнь самоубийством.

Затем последовало самое ошеломляющее: 88-летний аятолла Хомейни, духовный лидер Ирана, приговорил к смерти автора «Сатанинских стихов», так как он нанес кощунственное оскорбление исламу, Пророку и священной Корану. Кроме писателя, в опалу попали все, кто был причастен к изданию книги. На другой день один из иранских клерикалов объявил вознаграждение за голову автора в 2,6 миллиона долларов, в случае, если месть совершит иранец, и 1 миллион долларов, если этот человек окажется другой национальности. Любому мусульманину, свершившему это святое дело, будут отпущены все грехи. Через день, благодаря «великодушью» другого иранского филантропа, ставки удвоились. Правительства взбуродажены, издатели запуганы, появилась угроза подлога бомб в самолеты. С помощью Скотлэнд Ярда автор с семьей скрывается.

Салман Рашид родился в 1947 году в Бомбее за два месяца до ухода британцев из Индии. Он родом из состоятельной, следующей английским традициям семьи кашмирских

мусульман. Из-за религиозной принадлежности и светлой кожи маленькой Рашид слыл в родном городе белой вороной.

В 13 лет Салман уехал в Англию, чтобы продолжить учебу в школе Рагби. Его ровесники англосаксонского происхождения не очень-то старались помочь ему прижиться — потешались, наблюдая, с каким трудом Салман справляется с первым английским завтраком.

Во время учебы в Кембридже Рашид страстно увлекся историей ислама и театральным искусством. После окончания университета в 1968 году юноша отправляется в Пакистан, где в то время жили его родители. Но краткое пребывание в этой мусульманской стране не принесло Рашиду удачи. Его постановка «Зоологической истории» Эдварда Олби не прошла цензуру, причиной было упоминание в тексте свинины. Не прошло и года, как он вернулся в Англию.

Будущий писатель обосновался в Лондоне и в последующие десять лет зарабатывал на жизнь текстами реклам и объявлений. Женился на англичанке и усыновил ребенка. (В 1987 году развелся. В данный момент Рашид женат на американской писательнице Марианне Вигинс).

Первый роман Салмана Рашида «Гримус» (*Grimus*, 1974) был неудачен и с литературной, и с финансовой точек зрения, зато второй, «Дети полночи» (*Midnight's children*, 1981), стал международной сенсацией. Его сюжет фантастичен: тысяча и один индусский ребенок, рожденный на британских островах после утверждения независимости на их родине Индии, обретают магическую способность поддерживать контакт друг с другом. «Дети полночи» удостоились Премии Книжника (*Booker's Prize*), самой престижной литературной премии Великобритании. По всему свету было продано более полмиллиона экземпляров книги.

Следующий роман Рашида «Позор» (*Shame*, 1983) является еще одной смелой и оригинальной аллегорией. Она появилась под влиянием ситуации, сложившейся в то время в Пакистане. Это произведение также было выдвинуто на Премию Книжника, но совершенно неожиданно она досталась другому претенденту. Рашид был обескуражен. Как сказал о нем один издатели: «Получи Салман Нобелевскую премию, он не обрадовался бы так сильно, как повторному присуждению одной и той же премии». Эгоцентричность и нетерпи-

мость писателя не всегда одобрялись его британскими согражданами, тем более, что он позволял себе резкие выпады против экономической политики Тэтчер. По мере того, как Рашид вживался в западную культуру, его религиозная убежденность постепенно ослабевала. «В молодые годы я верил беззаветно, — говорил он, — сейчас все иначе, хотя я отчетливо осознаю, где расположено богоизбранное место».

Уже в который раз Рашид не может вернуться на родину. Ситуация настолько абсурдна, что скорее напоминает писательский вымысел — жизнь известнейшего в мире человека зависит от того, сколь скоро он станет невидимкой. Резиденция Рашида в северной части Лондона пуста и окружена полицией. На пятом этаже в рабочем кабинете писателя, там, где создавались «Сатанинские стихи» со скоростью 900 слов в день, ничто больше не свидетельствует о напряженном труде, на полу не валяются кипы рукописей. А на каминной доске лежит загадочный сувенир, напоминающий о прошлом автора — это восьмиконечный томик Корана в дорогом переплете величиной с серебряный доллар.

О чем же повествует роман, стабильно занявший с середины февраля (когда Хомейни огласил смертный приговор) первое место в списке бестселлеров? По мнению критики, в «Сатанинских стихах» есть и философия, и комизм, и фантастика. В начале романа два индусских актера средних лет падают с высоты 29 002 футов — их самолет держал путь из Бомбея в Лондон, и прямо над Ламаншем был взорван сикхскими террористами. Они стремительно приближаются к земле и живо беседуют. Один из несчастных — популярнейший в Индии актер кино Габриэль Фаршида. Он предпочитает оставаться инкогнито, так как только что лечился от тяжелого недуга. Во время болезни он пришел к выводу, что Бога нет. Второй — Салладин Чамча — состоятельный эмигрант, работник британского телевидения, занимается синхронным озвучиванием рекламных роликов, он возвращается в страну, в которой поселился после сентиментальной поездки в город детства Бомбей. Во время падения они умирают, но в тот же миг совершается реинкарнация. Оба успешно приземляются, но на этом их беды не кончаются. У Салладина вырастают рога — из-за этого ему, как британскому гражданину, приходится сносить грубые на-

падки со стороны иммиграционных властей. А у Габриэля вокруг головы появляется сияющий ореол, и он вынужден бороться с излишне почти-тельным отношением к себе со стороны совершенно незнакомых людей. Новообетенная аура обостряет давнее, не разрешенное им противоречие. Габриэля, как новоиспеченного атеиста, оно теперь смущает особенно сильно: в своих кинематографических снах он выступает в роли архангела Габриэля, но без текста. Толпа молящихся просит его произнести слова Аллаха. (Повествование чередуется воспоминаниями автора о школьных годах и юности в Великобритании, пассажами о любви к Бомбею и рассказом о смерти отца. Исследуя корни мусульманской веры, он, в довольно-таки необычной манере, пересказывает некоторые легенды о Пророке, преподнося их как сны, иногда как сны во снах, а герои, которым они сняты, вполне могли бы быть сумасшедшими). Один из молящихся — бизнесмен Махоунд, и в этом персонаже мусульманские читатели увидели пророка Магомета. Один из героев романа, писарь Салман, совершает тяжкий грех. Его долг — записывать все сказанное Аллахом точно со слов Махоунда. Но шутник писарь время от времени искажает текст. Заметив, что Салман испортил книгу, Пророк чуть не взрывается от гнева. Заслуженной Салманом карой была бы смерть, но Махоунд великодушно дарит ему жизнь.

Рашди, которого тоже зовут Салман, как и его герой не признает подменность Священного Писания. Автор был бы не менее счастлив, если бы и над ним сжалились, как над его литературным двойником. Хомейни обвинил писателя в искажении Корана, хотя Рашди оговорил, что его произведение «сюрреалистично», и две самые «агрессивные» главы всего лишь пересказ бредовых снов героя. Конечно, реакцию обостряет и то обстоятельство, что сам Рашди рожден в мусульманской вере. В одной из наиболее обсуждаемых глав речь идет о знаменитых «сатанинских стихах», по которым и называется весь роман. Габриэль (очевидно отзываясь на ангела Габриэля) искушает Махоунда, уговаривая его вступить в сделку с противниками его только что появившейся веры — допустить преклонение перед тремя божествами женского пола, наравне с единственным Богом. Позже Габриэль признается Махоунду, что это идея от Сатаны и Пророк приказывает вычеркнуть конкуренток из священного текста.

На самом деле этот эпизод придуман не Рашди — подобные истории об искушении Магомета более чем тысячу лет назад записали Ибн Саод, Аль-Табари и другие видные мусульманские историки. Современные исследователи ислама ставят под сомнение их подлинность. И главу,

в которой фигурирует писарь Салман, критики Рашди рассматривают как вульгарную попытку подорвать репутацию Корана как слова Божьего.

История с божествами привела мусульман в особую ярость потому, что это уже привычный аргумент против ислама, его выдвинули еще христианские миссионеры в 19 веке. Имя Махоунд тоже не вновь — в средневековых религиозных пьесах христиане использовали его для обозначения сатанинского варианта Магомета. Некоторые мусульмане возмущены тем, что Рашди священную Мекку переименовал в Яхилию, что значит «тьма», но, по объяснению автора, он употребил это слово, чтобы обозначить духовную темноту, царившую там, прежде чем Магомет вышел с Кораном.

Но, пожалуй, самый сенсационный эпизод романа разворачивается в публичном доме, проститутки там носят имена жен Магомета. Верующим это показалось особенно кощунственным, так как супруг Магомета величают «матерями всех верующих». Но на самом деле Рашди не изображает жен Махоунда как падших женщин. Проститутки, чтобы подразнить Махоунда, сами приняли эти имена и постепенно становятся такими же нравственными, как жены Пророка.

Глава мусульман Великобритании на это сказал, что в таком случае деву Марию тоже «можно изображать как распутную женщину». Правда, защитники книги неизменно подчеркивают, что фривольные сцены из публичного дома выдуманы не Рашди. Еще в древности неверующие называли жен Пророка «потаскухами», а Ибрагима «безродным».

Как сказал живущий в Париже иранский журналист Амир Тегери: «Даже если Магомет был бы изображен с большим уважением, тот факт, что Пророка кто-то превратил в персонаж художественной литературы, потряс бы мусульман как «ходуда», нарушение норм приличия». «Ислам не признает неограниченной свободы слова, — говорит Тегери, — большинство мусульман терпимы ко многим вещам, но не к тем, которые каким-то образом задевают их веру». Все же следует добавить, что в романе нет насмешки, злобы, лишь удивление и радость за то, насколько дети Аллаха разные. Когда Габриэль и Салладин идут через современный Лондон, он раскрывается перед ними подобно гобелену. Книга соединяет в себе очарование сказок «Тысяча и одной ночи» и размышления о противоборстве истории, культуры и индивидуума. Немало эпизодов рассказывают о судьбах индусских иммигрантов в Англии, это и есть главная тема книги Рашди. Очевидно автор, родившийся в Бомбее, получивший образование в Кембридже, хотел опровергнуть созданное Киплингем представление о Востоке и Западе, идею их возможной

встречи. Автор был свидетелем их встречи и наяву, и в воображении, но результат был то комичным, то горьким или шокирующим. Писателю, вызвавшему самую острую полемику за всю 14-вековую историю ислама, отнюдь не легко. В конце февраля ожесточенные споры перекинулись с пыльных улочек пакистанских городов на конторы крупнейших европейских издательств и торговые кварталы Соединенных Штатов, в результате самые влиятельные книготорговые фирмы приняли решение издать «Сатанинские стихи» из оборота.

Многие мусульманские лидеры во всем мире протестовали против дикого приговора Хомейни, но ни один из них слова не вымолвил в защиту Рашди, его литературных идей или права свободы слова. Лишь немногие из обвинителей книгу читали, большому количеству показалось, что они достаточно узнали из случайно услышанных отрывочных пересказов и сплетен, но это им не помешало признать автора осквернителем и ренегатом, то есть человеком, который по законам исламской веры заслужил смерть.

Когда Рашди спросили, воспринимает ли он всерьез угрозы Хомейни, писатель, по всей вероятности ошеломленный случившимся, ответил: «По-моему, это действительно очень серьезно». 24 февраля он объявил, что глубоко сожалеет о переживаниях, доставленных публикацией романа всем истинным последователям ислама. Но аятолла оказался более суровым, чем можно было предположить. На следующий день лидер иранской революции отверг извинения Рашди и декларировал: «Долг каждого мусульманина сделать все возможное, чтобы отправить осквернителя на тот свет». Три дня спустя, в обращении к иранским клерикалам, Хомейни добавил, что ничто, даже экономические санкции Запада «не заставят его отступить и отказаться от исполнения приговора Божьего».

Западные политические лидеры и остальные граждане возмущены таким предельным деспотизмом: приговорить к смерти иностранного подданного, единственное преступление которого, по мнению жителей Запада, заключалось в «желании изучить свои мусульманские корни». Министр иностранных дел Голландии отказался от запланированного визита в Иран. Канада, Швеция и Норвегия в знак протеста отзывали своих дипломатов из Тегерана. Иран, в свою очередь, вызвал на родину большую часть послов из западноевропейских стран. В центр конфликта попало правительство Великобритании — во-первых, из-за того, что Рашди британский гражданин, во-вторых, на британское посольство в Тегеране, распахнувшее свои двери примерно за три месяца до скандала после восьмилетнего перерыва, снова напала разъяренная



толпа. Единственному иранскому дипломату, аккредитованному в Англии, британское министерство иностранных дел объявило, что угрозы Хомейни «абсолютно неприемлемы», потребовало для своего посольства в Иране особую охрану и декларировало, что Лондон «заморожит» свои планы по укреплению связей с этой мусульманской страной. Многие американцы сочли, что их президент на удивление медлителен. Хотя Буш, с небольшим опозданием, осудил действия Хомейни как агрессивные и нецивилизованные, добавив, что Ирану «придется ответить», если его действия будут наносить вред интересам США. Американская администрация не могла предпринять нечто большее, потому что дипломатов, которых можно было бы отозвать, нет, эмбарго на торговлю, установленное в 1979 году, все еще в силе. Администрация Буша действовала сдержанно, не упуская из виду, что в плену у мусульманских фанатиков все еще находятся девять американцев.

Авиакомпания «British Airways» постоянно угрожает террором, из-за этого воздушные лайнеры в аэропорт Хитроу приходят с опозданием. Объектом нападок стало и «*Viking Penguin*», издатель Рашди *Waldenbooks* после многократных угроз распорядился изъять «Сатанинские стихи» из более чем 1300 книжных магазинов. На следующий день также поступили «*V. Dalton*» и «*Barnes & Noble*». «Мы еще никогда не изымали книг из продажи», — сказал Леонард Риджио, президент фирмы «*V. Dalton*», — но безопасность сотрудников для нас на первом месте». Вначале большинство американских литераторов делало вид, что не замечают конфликт, но через некоторое время 2200 членов ПЕН клуба опубликовали декларацию в защиту Рашди. Примерно 200 членов Национальной лиги писателей приняли участие в демонстрации у иранского представительства в ООН. Норман Мейлер выступил перед собравшимися со словами: «Хомейни дал нам возможность вновь обрести нашу хрупкую веру — веру в силу слова и готовность страдать за них», а Надина Гордимер высказала уверенность, что в действительности фантазия автора не представляет для ислама угроз. Демонстранты призывали писателей изъять свои произведения из магазинов, отказавшихся продавать роман Рашди, — пока что это предложение надо воспринимать как абстрактное, потому что в США «Сатанинские стихи» уже распроданы — второй тираж, 100 000 экземпляров, разошелся за считанные дни.

«*Viking Penguin*» получило в свой адрес угрозы запретить на своей территории продажу других книг этого издательства от 44 мусульманских стран. Эндрю Вилли, агент Рашди в Нью-Йорке, сказал, что роман предполагается перевести на 20 иностран-

ных языков, но издатели во Франции и ФРГ пересматривают планы по выпуску собственного издания. Канадское правительство во время прекратило закупку книги.

Отмену Хомейни своего приговора предвидеть, конечно, невозможно. Среди примерно 2500 иранцев, живущих на Британских островах, более 1000 экстремистов, включая студентов с краткосрочными визами. В Лондоне группы, пользующиеся поддержкой Ирана, нанесли немало вреда, в основном, производились взрывы бомб, посвящаемые иранским диссидентам. Ян Геллард, директор Лондонского института по изучению терроризма, сказал: «В мире ислама призыв имама — закон для всех... Самое страшное, что эти угрозы могут оставаться в силе месяцами». Даже годами. Реза Фазели, находящийся в эмиграции иранский кинорежиссер, дал интервью радиокампании BBC — он сам в свое время испытал на себе смертельные угрозы Хомейни. В 1966 году его сын был убит в Лондоне террористами. Фазели подтвердил, что Рашди попал в настоящий ад: «Я был вынужден научиться смотреть через плечо. Если они решили вас убить — конец всему. Но ведь они таким образом убивают сотни раз в день».

Чем же заслужил Рашди такой карьеры? На Западе считают, что ничем — или, по крайней мере, он не совершил ничего такого, за что можно было бы наказать строже, чем плохой рецензией. В Англии у Рашди достаточно защитников: группа писателей, возглавляемая известным драматургом Герольдом Пинтером, подала петицию на Даунинг стрит, 10. Писатель Энтони Бергесс точно сформулировал их позицию в газете «*The Independent*»: «Что думает светское общество о Магомете, никого не должно волновать, но разум вне зависимости от закона — не допускает такого агрессивного вмешательства. Исламабаду это принесло позор, в жертву принесены человеческие жизни... Если у мусульман появится желание напасть на христианский или гуманный образ ислама в нашей литературе, то они могут найти и более бесстыдные сатиры, чем произведение Рашди». Многие, в связи со скандалом, вспомнили о возмущении приверженцев ислама средневековыми христианинскими мистериями и изображением Магомета в виде сатанинского Махоунда. В 1977 году банда мусульман Ханафи ворвалась в три здания Вашингтона, взяв более 100 заложников и, между прочим, попыталась прервать показ в кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса киноэпопеи «Магомет, посланник Бога» стоимостью в 17 миллионов долларов. Хотя тон фильма был уважительным, продюсерам пришлось столкнуться с невероятными трудностями, например, съемочная группа была выслана из

Марокко. В 1980 году Саудовская Аравия яростно протестовала против англо-американской телевизионной документальной драмы «Смерть принцессы», повествующей об экзекуции молодой замужней принцессы Саиди и ее возлюбленного. Некоторые мусульмане возражали даже против «Детей Гебелави» — аллегорического романа, написанного тридцать лет назад, его автор Нагиб Махфуз в 1988 году стал лауреатом Нобелевской премии.

Фурор, вызванный в прошлом году фильмом Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», показал, что христиане, в особенности те, которые фанатично придерживаются буквального истолкования Священного Писания, не менее болезненно воспринимают художественное изображение библейских героев, хотя их протест не носит такого насильственного характера (вспомним возмущения Ватикана оперой Э. Ллойда Вебера «Иисус Христос — суперзвезда» в начале 70-х годов). Порой выясняется, что и «боги» при жизни изучению не подлежат — вспомним хотя бы, как мы сами обрели дурную славу своей щепетильностью в отношении к изображению в искусстве и художественной литературе некоторых руководителей и боязнь перед открытиями в их личной жизни.

Все же никто еще так чувствительно не задевал нерва огромной части человечества, как Рашди. Калим Аль Рави, преподаватель Американского университета в Каире, подчеркнул, что склонность Рашди к провокациям на сей раз зашла слишком далеко. Аль Рави сказал: «Что касается предыдущих романов (в которых Рашди высказывался весьма презрительно о Пакистане и получившей независимость Индии), то писатель вел себя, как маленький ребенок, который тычет спящего льва. «Сатанинскими стихами» лев разбужен, и теперь это мало походит на игру». Есть мусульмане, которые считают себя оскорбленными этим романом. «Он опозорил жен пророка, — сказал египетский писатель Шейх Магомет Аль Газали, — и мы считаем, что это проявление не свободы мнений, а свободы быть бесстыдным». Все же по сравнению со скандалом в Иране и на Индийском субконтиненте реакция верующих ислама на Ближнем Востоке была весьма сдержанной. Хотя конференция теологов в Мекке и объявила Рашди «еретиком и вероотступником» и повторно потребовала запретить ему въезд в мусульманские страны, многие священнослужители говорили, что этот случай слишком «раздут». Хасан Сааб, советник главы мусульман Ливана, назвал Рашди «маленьким писакой, напавшим на Пророка». «Разве Пророку был нанесен вред?» — спросил он. Великий имам из мечети Аль Азар в Египте отметил, что вся эта кутерьма увеличила до-

ходы автора «до астрономической суммы». Выходящая на английском языке газета «Egyptian Gazette» утверждала, что поступок аятоллы «нанес больше вреда образу ислама на Западе, нежели все романы Рашди, вместе взятые». «Если бы некому было протестовать, продано было бы не более 10 000 экземпляров книги, а остальные осели бы на складских полках, потому что вещь действительно написана слишком невнятно, чтобы заинтересовать широкие читательские массы». Действительно — какими бы не были литературные или теологические достоинства «Сатанинских стихов», коммерческий успех несомненен.

Чем же объяснить такую взрывоподобную реакцию на произведение, которое можно было попросту проигнорировать? Ответ носит и политический, и теологический характер. Прошло уже 15 лет с тех пор, как в Иране пришли к власти исламские фундаменталисты. Сейчас, когда приостановлена кровавая война с Ираком, унесшая 350 000 жизней, книга Рашди была орудием, с помощью которого Хомейни снова мог бы мобилизовать полчища своих последователей — на сей раз против выгодно далекого противника, преступление которого (можно и так считать) связано с «великим Сатаной», США. Как сказал Марвин Зонисс, профессор Чикагского университета: «Прекрасный способ приобретения политического капитала у себя дома с помощью иностранной авантюры».

На протяжении нескольких месяцев казалось, что иранские либералы имеют перевес. Незадолго до начала нападок Хомейни на Рашди его преемник аятолла Хусейн Али Монтазери выступил со странной примирительной речью в священной городе Квуме: «В мире бытует мнение, что Иран только убивает людей», — и призвал своих сограждан «отказаться от ошибок прошлого, добавив, что иранцам экстремизм «может нанести только вред». В то же время член парламента Али Акбар Хашеми Рафзаянъями объявил, что Тегеран ошибся в стремлении обрести военный перевес над Ираком. «Мы хотели ухватить слишком большой кусок», — сказал он.

Эта ревизионистская дискуссия, по видимому, пошатнула терпение Хомейни. Он нанес ответный удар самым удобным оружием, подвернувшемся в тот момент под руку — «Сатанинскими стихами». Пламенная риторика Хомейни, конечно, могла быть проявлением ярости одного человека, но она могла также означать, что приверженцы «твердой линии» стараются вернуть свои позиции.

В пакистанской кампании против Рашди огромное значение имела политика. Демонстрацию у посольства США в Исламабаде организовали религиозные и политические группиров-

ки, которые находятся в оппозиции правительству Беназир Бхутто, а до этого были связаны с его предшественником и врагом Зия уль-Хаком. Возвратившись после визита в Китай, премьер сказала: «Неужели кампания направлена против никем не прочтенной книги? В Пакистане она не переводилась и не издавалась. Или же в такой форме протестуют те, кто проиграл в выборах и теперь пытаются дестабилизировать демократический процесс?»

В конце февраля в Иране, Индии и Бангладеше поднялась еще более мощная волна протеста. Все же иранский президент Али Хаменеи утверждал, что смертный приговор Рашди может быть отменен, если автор извинится перед мусульманами и Хомейни. Когда Рашди действительно так поступил, информационная служба иранского правительства опубликовала противоречивый репортаж и серию комментариев, свидетельствующих о том, что внутри тегеранского режима царит смятение.

Кому же верить? Хаменеи был так же суров, как и аятолла, он сравнил смертный приговор с черной стрелой, которая выпущена и теперь летит навстречу цели. Он сказал: «Уже ничего больше не исправишь. У этого негодяя нет другого выхода, как только смерть, потому что он противопоставил себя миллиарду мусульман и исламу». Разумеется, что Рашди не думал совершать нечто подобное, он только использовал свое литературное дарование и обратился к образованному читателю, который понимает, что ему предлагают плод фантазии.

Если сначала все западные политики и литераторы кинулись защищать Рашди, то теперь настал черед своеобразной ответной реакции. Бывший президент США назвал книгу «оскорбительной». Ватикан объявил ее «кощунственной», и главный раввин Великобритании высказал упрек, почему роман вообще был опубликован. Тегеран формально порвал связи с Великобританией. В Британской библиотеке «Сатанинские стихи» помещены в особенно надежные книжные шкафы в специально охраняемом читальном зале. «Разве мы, белые империалисты, должны оберегать Рашди от собственного народа?» — пишет Оберон Во в «The Spectator». «Левые взгляды Рашди никого не приводят в восторг. Это страшный человек, и не было бы большой потери, если кровожадные муллы отрубили бы ему голову. Он этого заслужил», — настолько ненавидят Рашди некоторые его собратья по перу — очевидно, зависть тоже сыграла свою роль. Среди менее образованной публики реакция еще более подстрекательская. Британский Национальный Фронт, например, призывает репатриировать «мистера Рашди... и имама, рыкающие

банды аятоллы и мусульман, которых он привел в бешенство».

Судьба книги и писателя поставила общественность Запада перед трудно разрешимой дилеммой. Ясно, что авторы должны с большей почтительностью относиться к заповедям ислама, не преступая границ, навязанных фанатиками, — вспомним замечания Хаменеи, что для ислама нет границ в применении интеллектуального, а иногда и физического терроризма в различных частях света.

Уже на протяжении нескольких месяцев Салман Рашди защищает себя и свою книгу. «Самое возмутительное, что они говорят о произведении, которого вовсе нет, — сказал писатель, — книга, которую я написал — не та книга, из-за которой можно было бы убивать людей и жечь знамена». Как уверяет Рашди, роман вовсе не об исламе, а о миграции, метаморфозах, раздвоенности, любви, смерти, Лондоне и Бомбее. «Грустная ирония, — добавил автор, — после пятилетнего труда, вместо того, чтобы привлечь внимание к иммигрантской культуре, к которой я сам принадлежу, я должен смотреть, как сжигают мою книгу люди, в большинстве своем не читавшие ее; книга именно о них, о людях, которые могли бы в ее страницах обрести немного радости и признания».

Друзья Рашди обеспокоены, как писатель будет жить впредь, испытывая угрозу со стороны Хомейни. Наймет ли он телохранителей, будет жить в одиночестве или уедет в какую-нибудь далекую страну. Совсем немного таких, кто думает, что аятолла изменит свое решение, ведь для него истинные жертвы скандала вокруг Рашди не он сам и его жена, а пятьдесят миллионов граждан революционного Ирана.

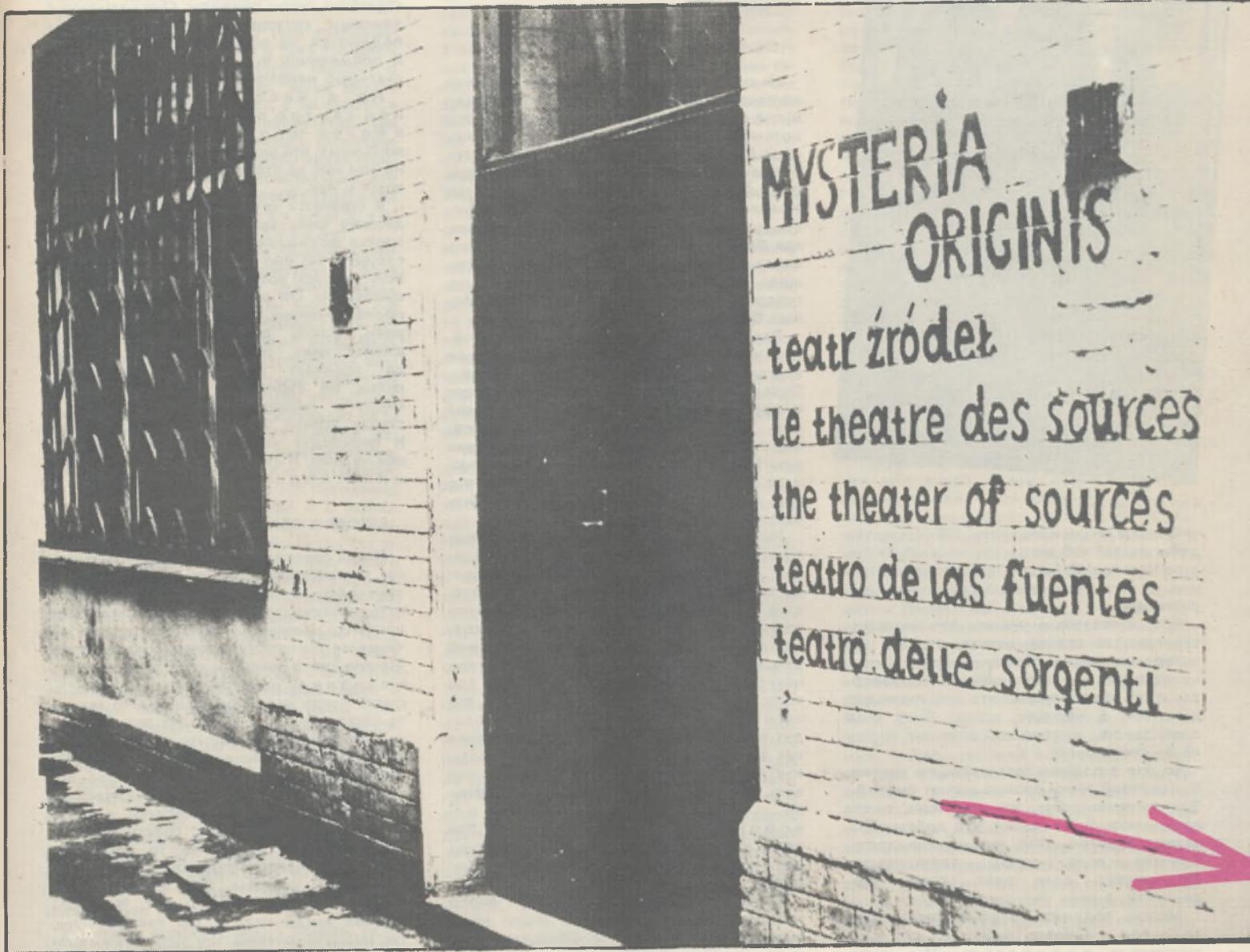
С конца февраля писатель живет где-то в Англии под охраной полиции, размышляя о магической власти, которую обрели его слова, и познает еще одну разновидность ссылки. Ситуация Рашди уже знакома. Как он писал более чем десять лет назад в романе «Grimus», «это естественное состояние ссыльного — спрятать свои корни в памяти».

4 июня, когда статья уже была подготовлена к печати, пришло известие, что умер аятолла Хомейни. Повлияет ли это на судьбу Рашди? Поживем — увидим. Правда, новый руководитель государства Али Хаменеи еще во время похоронной церемонии в жесткой форме заверил, что Иран будет последовательно и энергично продолжать курс Хомейни, другой иранский лидер Хусейн Али Монтазери еще недавно выступил с призывом «убивать британцев, французов и американцев», подстрекая на подлог бомб в самолеты и взрывы заводов западных компаний.

Е Ж И Г Р О Т О В С К И Й

---

# СТРАНСТВОВАНИЕ К ТЕАТРУ ИСТОКОВ



Фоторепродукции ВАДИМА КОНРАДА

Сегодня более, чем когда-либо, ясно, что идеи Гротовского — это идеи будущего, которыми смогут воспользоваться действительно свободные люди. И это — одна из причин официального неприятия у нас Гротовского или намеренного снижения, вульгаризации его путем параллелизации с апробированными именами. Так, например, как это сделано М. Швыдким в журнале «Театр» (№ 11, 1988). Это все равно, что Эйнштейна мерить Галилеем.

Вот почему своевременной (в год

30-летия Театра-Лаборатории) представляется публикация выступлений самого Гротовского, смысл которого надо искать не в театральной, а в интеллектуальной биографии. И коль скоро сам Гротовский с молодых лет занимался и продолжает заниматься сейчас поисками новой светской этики, то не надо ставить ему в упрек отход от театральной практики в нашем прагматическом смысле.

Будучи энциклопедически образованным, владея искусством полемики,

Гротовский всегда диалогичен (в буквальном смысле). И «Театр Истоков» — это тоже выступление, которое он сделал в июне 1978 года в Варшаве в рамках международного симпозиума Международного института театра. Симпозиум называли «Искусство дебютанта», и Гротовский, как всегда, пошел из глубины, от чистой этимологии к чистому смыслу — к прикладной философии, а не к прикладным театральным знаниям.

Театровед Л. МЕЛЬНИКОВА



Ежи Гротовский.

О чем я должен говорить! Об «искусстве дебютанта»! Об искусстве начала! О Театре Истоков! О Театре-Лаборатории! Начнем с того, что условимся о предмете разговора.

Если я говорю о чем-то, что меня интересует, то это не значит, что это же интересно другим. Я хочу говорить о том, во что верю; что мне очевидно. Естественно, я не предполагаю, что это очевидно для всех. У каждого может быть своя очевидность, и хорошо, если ей верны не за счет других.

То, что я должен рассказать, не научно. И с научной точки зрения может смутить. Это не философия, это практика, почти прагматика. Я бы сказал, что действовать таким образом, это моя очевидность. Сначала — дело, потом — уверенность. Это значит: дело дает основу уверенности, а если нет, то нет.

Можно подумать, реально ли вообще то, о чем я говорю, может ли оно осуществиться полностью. Мы часто спрашиваем: «Это реально!». Мы задаем этот вопрос на языке, который нас оправдывает. Но возможно ли достичь скорости света! Однако мы ищем, как можно к ней приблизиться.

#### ОБ ИСКУССТВЕ ДЕБЮТАНТА

Я бы хотел воззвать к присутствию того, кого нет среди нас, но кто все же здесь есть — это Питер Брук. Когда-то Брук говорил о «принципе дебютанта» у самураев. Этим же примером пользуются некоторые мастера дзен.

Когда самурай постиг свое искусство, когда он достигает практического оптимума (назовем это «техничностью»), он знает, что должен разучиться, отбросить

всё и оказаться снова дебютантом. Говорят, что если он не отбросит свой опыт и знания воина, он не станет глупцом, сумасшедшим, ребенком, зверем, силой природы и будет убит. Быть с противником, как с незнакомым, помнить, что это сражение может быть последним, а значит — единственным. Забыть обо всех умениях и быть как во сне. Только тогда у воина есть шанс, когда он способен забыть о победе. Только в таком значении — но не только в таком и не прежде всего в таком — я говорю об «искусстве начинающего».

#### ОБ ИСКУССТВЕ НАЧАЛА

На самом деле я говорю о врожденном состоянии. Значит, о чем-то небезопасном; и для этого надо переступить условности, потому что вид получается нечеловеческий. Потому что достижение очевидности бытия приближается к очевидности природных сил, одной из стихий природы. Кажется, что все происходит в очевидности, но без предварительной медитации, как бы без защиты. Есть такие польские слова, которые об этом говорят. Например: моросит. Кто моросит! Что! Еще говорят: светает. Что светает! День! Может быть...

Это очень легко атаковать, сказав: «человек всегда погружен в историю, человек всегда связан общественной ситуацией». Правда! Правда!.. Но сегодня я говорю о другом полюсе. Тот факт, что у меня есть руки, не отменяет другого факта: что у меня есть и ноги. Но — у меня только руки! Но — у меня только ноги! К счастью, и то, и другое. Хотя порой кажется, что кое у кого есть что-то одно из двух. Буквально или метафорически.

Когда мы ищем врожденное состояние, то обладаем двумя возможностями. Первая: через тренинг, который будет преодолен, опрокинут, отброшен. Как в искусстве самурая: сначала должно произойти сознательное овладение, затем — бессознательное, и уже потом — как условный рефлекс — уже окончательное овладение искусством воина; но в той точке, где воин начинается на самом деле, все это надо забыть. Вторая возможность проходит через раздрессуру. Со дня рождения нас все время дрессируют: как смотреть, как слушать, что есть что, как быть, как есть, как воду пить, что можно, что нельзя... Поэтому вторая возможность: о с в о б о ж д е н и е о т д р е с с у р ы. Это очень трудная работа. Она требует большего усилия и самодисциплины, чем тренинг.

Когда я был в Пекинской Опере перед культурной революцией, то видел классический спектакль «Царь Обезьян». Одну и ту же роль в один день играл отец, в другой — сын. Все элементы роли были идентичны, потому что там все закодировано, и там одни и те же знаки. Я не видел никакой разницы. Но я спросил, почему, когда играл отец, я был захвачен, а на второй день, когда в этой роли был сын, несколько скептичен. Мне ответили: «Потому что когда сын делает это сальто, он потеет в пахах». Сын был в таком периоде, когда тренинг еще виден. А отец, тренировавшийся, несомненно, все время, — во время спектакля забывал о тренинге. Это пример первой возможности, через тренинг, которую я называю «техникой один», «техничкой» в древнегреческом значении, где «techné» означает «искусство». Оба — и сын, и отец, — были в «технике один». Но пример отца по-

казывает, как через технику он пришел к свободе.

Примером «техники один» в Индии является классическая йога, которая устремлена к самоконтролю человека, его природы на всех абсолютно уровнях и связана с бессознательным; здесь все должно быть полностью разобрано и чисто. Так начинается избавление от условностей.

В той же самой культуре примером второй возможности — техники два — определенной степени может быть тантра или тантрическая йога. Она идет через служение силам природы. Она называется «высшим служением». Силам природы поддаются, не позволяя им разрядиться. К применению к сексу это означает сексуальную неразрядку.

Но в чистой, ортодоксальной тантре об этом говорится в более широком смысле. Служить тому, что нас ведет, но расходоваться не абы как, но чтобы произошло усиление: нами и нас.

В странах с католическими традициями должно быть ясно, что существует еще третья возможность — «состояние милосердия». Но оно индивидуализировано. Есть человек, который должен пройти над пропастью. Он подходит к краю, видит — пропасть велика, через нее перекинута дерево. Узкое дерево. Человек заглядывает вниз, присматривается. И тогда замечает слепого. У того есть палка, он ощупывает ею землю, подходит к перекинутому над пропастью стволу дерева, ощупывает палкой и его. И переходит через пропасть, ничего о ней не зная. Искать ли «состояния милосердия»!

#### БЛИЖЕ К ТЕАТРУ ИСТОКОВ

Когда говорят об искусстве начинающего, то говорят о начале, о началах. Что значит быть в начале! Значит ли это искать исторические корни, искать то, что было когда-то! Можно ли спрашивать, как начинается театр, как он потом развивается! Можно, но я имею в виду другое. Быть в начале — значит быть чем-то для действия. Когда мы говорим о чем-то таком, то часто думаем о детях. Но думаем сентиментально. Надо забыть об этом. Надо также забыть о беспощадности и жестокости ребенка, о его эгоизме. Это все существует, но ведь есть другой аспект ребенка, необычайный особенно в определенном периоде. Это, собственно, то, что нас трогает в ребенке. То, что живет с самого начала, в задатках. То, что для него, все — впервые. Лес, в который он входит, для него первый лес. И такого больше нигде нет. А мы так обучены, так выдрессированы, так запрограммированы, что каждый лес, даже тот, что мы видим в первый раз, это тот самый лес, и мы говорим себе: «Это лес». Несмотря на то, что этот лес каждый день другой. Следовательно, быть в начале — значит действительно воспринимать и быть в том, что происходит.

Быть в начале — это значит hic et nunc, или лучше, — hic stans et nunc stans.

Всегда, когда мы что-то делаем, думаем о чем-то, что уже прошло. О каждом дереве, которое встречается на пути, мы думаем о формулах на тему деревьев. Или в воспоминаниях. У нас в голове есть какие-то мечты и беспокойство о будущем. Поэтому мы всегда между прошлым и будущим. Быть в начале — это значит отказать от не присутствия. Избегания происходят благодаря нашему интеллек-

туальному компьютеру. Этот компьютер — одна из важнейших вещей, полученных нами от природы. Вопрос в том, что есть время, когда мы должны работать, и время, когда мы должны отдыхать. И каждый раз надо быть в состоянии. И каждый раз надо быть в состоянии отвечать за программу. Что такое восприятие! Это опыт, эксперимент. Это что-то осязаемое, органичное, первородное; очень простое. Но наш компьютер так устроен, что мы оторваны от этой простейшей вещи. И воспринимаем мысли, а не факты.

И, собственно, поэтому (что воспринимаем мысли, а не факты) я хочу говорить о теле, а не о душе. Когда говорят о «душе» или «духе», очень легко впасть в нечто псевдомистическое, а по сути — в сентиментальное. Очень легко стать (на свой лад) фальшиво поэтичным. Одновременно во многих языках слово «дух» ошибочно ассоциируется с «интеллектом», что означает только другой способ разделения человека. Но когда я говорю о теле, я говорю о человеке.

Где наши границы! А где границы Солнца! Посмотрим: это вибрирующий шар, из которого выбираются протуберанцы, там происходят солнечные бури. И мы думаем, что это и есть границы. Но это вовсе не границы солнечного тела. Ведь говорят же астрономы о «солнечном ветре». Что это такое! Это частицы солнечной материи, проникающие в глубь нашей солнечной системы и создающие своего рода оболочку, которая окружает систему, охраняя ее от космических течений извне. Может, границы солнца там! Возможно. Но если это так, то значит, мы находимся внутри солнца. То же самое и с нашим телом. Когда я думаю о себе, то принадлежит ли мне моя кровеносная система! Очевидно. Так же очевидно, как и то, что мы называем «внутренним миром». У моего тела есть четвертое измерение. Но у меня есть и то, что называется «внешним миром». Чтобы открыть свое тело, мне надо сначала твою. Но я не смогу сделать этого, если не буду по-своему любить тебя. И потом, открыв тело, я открываю тело дерева, тело неба, тело земли, я открываю тело всякой вещи. Измерение, которое не выводится из системы кровообращения... оно существует как измерение, в котором мы находимся, когда оказываемся в облике неба для астрономов и на нас смотрят звезды.

Когда говорят о технике начала, то не фиксируются на прошлом, это только продолжительность в начале. Сначала — это сейчас, поэтому каждое время — это начало.

Но чтобы пройти к опыту начала, надо пройти через что-то, что есть еще перед понятием группы. Группа может быть чем-то существенным, чем-то, что нас поддерживает. Это правда. Но чтобы она не была коллекцией истин, высказанных для обнаружения страха перед жизнью, чтобы группа могла стать естественной встречей и неслучайной, — так вот, этот опыт должен произойти до вступления в группу. Это что-то индивидуальное, познание «сущест в о в а н и е — с у щ е с т в о в а н и е». Только после этого группа может стать чем-то творческим.

Я уже говорил, что существуют две возможности, чтобы оказаться в начале: техника один — через тренинг и полный отказ от него, и техника два — через раздрессуру. Я склоняюсь ко второй возможности. Это стратегия, работа, рассчитанная на долгий срок, это, когда бьешься головой

о стену, это сознание и забывание — острота видения, поступков, ожиданий... Это тяжелая работа, прошу не забывать об этом. Кажется, что если нет этой второй возможности, то нет вообще ни одной из них. Зачем сегодня начинать со стратегии раздрессуры! Потому что мы живем в технической цивилизации, которая развивается, и это безусловно; у нее есть свои созидательные эффекты, и мы привыкли к ней. В этой цивилизации колонизация тела планеты, себя, жизни, мысли, колонизация, которая начинается с нас самих, с нашего организма, продвинулась так далеко, что возникла потребность в ее уравнивании. Можно сказать, что мы находимся в периоде колонизации самих себя, начиная с того, что есть в нас самих, и с тела прежде всего. Здесь можно было бы воспользоваться разными учеными словами, например, «экология»... Но не забудем, что первым естественным источником является тело, мои чувства. Это первый источник, данный человеку. А соседним источником являешься ты. Я и ты с точки зрения Великого Источника! Живого света! А поскольку жизнь между подчиняется тому же самому, чему подчиняется тело человека, даже если превращается в гипс и клей, то хотя бы поэтому надо начинать с техники-два, а не один. Я вижу необходимость в новом равновесии. Но если кто-то начинает с первой техники, то я понимаю его и уважаю. Впрочем, с какого полюса не начать, все равно надо открыть противоположный.

Так здесь ли мы пересекаем «мир людей»: я — ты. Или я — ты значит я и ты! Или это значит — двое! Это фальшивая математика. Это двое, которые составляют одно! Нет. Это один, в котором двое! Нет. Когда мы говорим — в нашей цивилизации — о таких вещах, а еще лучше, о теле, то каждая пани Дульская видит лишь сексуальные отношения и дает выход своим фантазиям, которые всегда имеют одну тему. Ее компьютер так запрограммирован, что принимает реальность тела и чувств только, если речь идет о сексе. Я не хочу сказать, что он не остается в отношении к чему-то фундаментальному, потому что это остается. Но я не о нем говорю здесь. Я — ты. Это опыт чего-то более искреннего, чем я и ты. В нем не получается: я перестаю существовать, где же ты! Этот опыт в том... в нем есть все. Если ночью собаки лают и издали доносится голос, ветер и земля, которая движется, — она не мертвая. Крик птицы, звезда, огонь, огромное море. Все есть.

А сейчас я хочу уже непосредственно перейти к Театру Истоков.

#### ТЕАТР ИСТОКОВ

Театр Истоков — это не художественная микстура, приготовленная из великих мудрецов, йогов, шаманов и волшебников. Это не фольклорный праздник, не фестиваль «третьего мира», он не стремится к синкретизму, «новому синтезу», это не танцы Острова Бали, смешанные с йогой или образами из книг Кастанеды. Это — не перестройка. Но легко сказать, чем он не является, чем определить его. Чтобы быть в состоянии вообще говорить об этом, я пока покружусь вокруг и около, прикасаясь к нему примерами. Это все. Потому что я не владею таким языком, на котором мог бы теоретизировать на эту тему.

Я находил такой язык в каждый период жизни, когда что-то было уже сделано. Иногда это происходило тогда, когда все

уже было мертвым для меня. Здесь я все время в дороге и не могу найти такого языка. Надеюсь, что все это не мертвец.

Легко ошибиться и принять Театр Истоков за истоки театра или отождествить его с техникой, опередившей театр. Тогда бы я говорил о начальной технике. Можно привести пример из нескольких культур: техника мистерияльная, йога (существует музыкально-драматическая форма йоги под названием баули), явления из пограничной зоны между японским дзен и театром. Но процессы перерождения («одержимость») в негритянских культурах, некоторые виды индийской техники, которые современным языком мы назвали бы «экологической совестью» [мир, как живой дом человека, в котором он не тиран творения, но «сущность и гость в великом мире мощи»]. Поэтому мы могли бы говорить о техниках истоков, но есть что-то, что есть в нас всегда, то, что становится забытым пейзажем нашей природы. Речь идет о поисках в действиях непосредственных связей между людьми и жизненно важным. Поэтому в нашем предприятии более важным, чем техники истоков, являются истоки техники. Что это такое! Психолог сказал бы, что бессознательное. Но это не совсем то. Мицкевич, говоря о «совершенном человеке», в том, как говорил, прикасался к сути. Возьмем более дальний пример: процессы одержимости в негритянских культурах. Что в них от техники истоков, а что от истока техники! Надо проанализировать.

Профессор Марс, психиатр с Гаити, бросил нам вчера вызов, когда сказал об определенной — неевропоцентричной — традиции драматических явлений. И, кажется, никто не принял этого вызова и сведению. А ведь можно не понять, что то, что мы в Европе называем театром (в значении драматического искусства), является свежей мыслью, но в большой степени эпохи барокко, даже не Возрождения, присвоенной мещанским обществом и приспособленной к его правилам игры и является малой частью того, чем бывают драматические явления, были и могут быть. Очень легко в театральных школах говорить студентам о «триединстве драмы», существовавшей в Древней Греции, но ведь это существует до сих пор, существует и может существовать. Легко сказать, что театр нужен людям. Но ведь существуют места, где то, что (говоря языком этнологии) можно назвать «драматическими религиями», и там театр попросту не нужен, потому что он становится частью жизни, выделяясь из повседневной рутин. Об этом говорил профессор Марс, когда упоминал «драматические религии, связанные с негритянскими традициями».

Во время встречи наступает что-то, что, как психиатр, я назвал бы «атакой одержимости» богов, которые занимаются «в е з д к о й л ю д е й»; это «идентификация», «трансформация» — так я тоже говорил.

Легко сказать, что «атака одержимости» связана с истерией, потому что она и на самом деле порой с ней связана. И тогда видно, что люди, поддающиеся ей, строят истерические мостики. Но мне интересно, что все это одинаково происходит на каждой географической широте, как в известных примерах Шарко: мостики и истерические когти. Но если бы такая гипотеза избавляла нас от проблемы, то надо сказать, что на практике истерическая мотивация не очень убедительна: она объ-

ясняет лишь часть случаев. Интересно также, что чаще всего они проявляются в таких формах «драматических религий», которые или предназначены для туристов (поэтому неподлинны), или появляются в пригородных районах, где возможны разные влияния и стечения. И хотя удобнее было бы сказать, что вообще все это истерия, однако, в огромном количестве случаев, это неправда. Таково также мнение профессора Марса, если сослаться на мнение врача.

Так что же это? Симуляция! Возникновение образов в театральном смысле! Грани роли, образа! Иногда — да, например, в бразильской «макумбе для туристов». Но в чистой, полной макумбе — нет. Даже если «границы образа» понимать по Станиславскому, т. е. как переживание. Очень трудно об этом теоретизировать. Стоит кому-нибудь поконфронтировать с этим в любом регионе мира, чтобы узнать, что это — не грани образа. Есть он и есть что-то — но не образ, создаваемый им.

Но если это не создание образа, то что же это такое: о н и ч т о-то? Он — это сознание, «я» осознанное, а что-то — это бессознательное, точнее говоря, о б р а з, из него излившийся. Говоря так, мы все время остаемся замкнутыми в определенной органической форме языка и, следовательно, видении предмета. Когда на Гаити мы говорили с профессором Марсом, то тоже впадали в этот язык, в юнговскую терминологию. Некоторые люди «о б ъ е з ж е н ы» некоторыми богами. Можно ли тогда сказать (по-юнговски), что это «автономный комплекс», вид «психоида», частички, оторванные от психики данного человека, ставшие автономными и функционирующими как *alter ego*? Наверное, да. В некоторых, более редких случаях так и есть. Но часто это производит впечатление, как будто конкретный «архетип» стал самостоятельным и на мгновение выпарил «я». Тогда форма экспрессии (данного бога) кажется идентичной, несмотря на то, на кого снизошла одержимость. И это как-то цепляется к технике истоков.

А истоки техники! Возьмем пример процессов одержимости. Кажется — в черных, белых, желтых, красных и каких еще хотите культурах — что одержимость — это следование течению или переплывание, вступление в течение, в течение. Суть, и мы имеем дело с голым человеком, который нашел измерение. Сейчас я думаю, когда говорю о том, что сказал, — думаю о старце, похodem на Зосиму из «Братьев Карамазовых», о Теофиле из Антиохии, жившем в начале нашей эры. Ведь он сказал: «Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога». Для кого-то это вообще немного значит, если понимать это в так называемом духовном смысле или как метафору. Но это — буквальность. Покажи мне твоего человека, а я тебе покажу моего Бога. Это бывает в некоторых явлениях, которые профессор Марс называет «драматическими религиями». Но это бывает не только там и не только так. Это встреча.

Когда приводят примеры, то провоцируются недоразумения. Когда я привожу примеры из Индии, мне приписывают зависимость от восточных влияний и занятия йогой или пантеизмом. Когда говорю об индейцах Северной Америки, мне приписывают игру в шаманизм. Когда речь веду о voodoo (или о негритянско-гаитянских традициях), говорят, что «технику наваждения» я хочу перенести в пост-

индустриальное общество. Ничего подобного. А впрочем, подумаем в контексте нашей цивилизации о технике от-вождения. Хотя бы для здоровья. Потому что нам грозит наваждение, одержимость людей, стоящих в жизни на противоположных позициях. Такие силы назывались Мамонной. Они проникают повсюду в двери и окна. И речь не только о деньгах. У этих сил — своя техника: например, карьера и в особенности путем уравнения того, что делается, со способом использования. Есть люди, даже в этом зале, которые плохо постарели. Их лица изменились. Это поразительно — смотреть на лица, которые, старея, не запечатали полноты жизни, а лишь отражают грустную, недовольную, неполную, безвкусную маленькую жизнь, которая происходит от того, что он занимается тем, что ненавидит. Когда еще сказано: не делайте того, что ненавидите. Как я делаю это? Приходится. «После сорока лицо человека — это что-то такое, за что он отвечает». Человек ответствен за слезливые исповеди со стаканом в руке. Мамона нас охватывает, общественный демон. И когда я говорю о раздрессуре, о началах, о врожденном состоянии, я говорю об освобождении нас от таких сил; потому что х о р о ш а другая одержимость, как у Теофила из Антиохии.

Есть разные слова, обозначающие начало. По-гречески — «arche». По-крестьянски — Guine (в переводе — «Африка», «Гвинея») — земля предков. В японском языке используются иероглифы с основой «корень», в санскрите — «Sahadra» — т. е. урожденный в... Там, где мы соприкасаемся с началом, мы соприкасаемся с истоком техники. Это способ обращения с тобой, но не наука.

Но как бы я ни пытался в деталях описывать Театр Истоков, я все же предполагаю воспользоваться опубликованной в прессе формулой, полной, хотя и сухой.

«Участниками Театра Истоков являются люди с разных континентов, культур и традиций. Театр Истоков посвящен деятельности, возвращающей нас к истокам жизни, к непосредственной, как бы первой реакции, к органичности, к глубинному познанию жизни и существования. Первичный драматический феномен — такова кодовая тема. Театр Истоков планируется провести между 1978 и 1980 годами с интенсивной деятельностью в три летних периода и с финальной реализацией в 1980 году».

Впрочем, и эта формула требует уточнений. Ведь речь идет о круглогодичной работе, а не только летней. То, что названо финалом — это отнюдь не окончание программы и не готовый продукт, но лишь начальное открытие, которое даже в 1980 году должно охватить определенное число участников снаружи; по сути эта работа может быть первым подходом к иной деятельности.

Уже несколько лет моя работа не связана с драмой в устоявшемся понимании этого слова (т. е. с записанной драмой или сценической); она основывается на деятельности людей и особенностях места и времени, где это происходит; это не рассказ о чем-то, что делается, это реальные представления людей в данное время — здесь нет никакой символизации: если дело происходит в дороге, значит, дорога настоящая, если в лесу, то в лесу настоящем, если в избе, то изба тоже настоящая.

Если я говорю о драматическом явлении, то помню этимологию слова «драма» — «действие». Там, где мы оказываемся перед действием, перед действительностью, есть две возможности: воля или очевидность. Воля деяния или очевидность деяния. Но, по сути: с чего бы мы ни начали... с какого конца ни подошли, обязательно придем к другому: это так, как когда играешь палкой и подбрасываешь ее. Что касается очевидности... это что-то почти невидимое, но «объективно» может быть почти скандальным. Это, как если бы здесь, на симпозиуме, кто-то уснул; и поскольку это очевидность, то и проблема снимается.

Таким образом, мне нужно два года для работы с небольшим числом людей с разных континентов, из разных культур и традиций. У них и у нас. Зачем! Затем, чтобы смочь что-то открыть, нельзя уничтожить основу. Надо найти условия для того, что Станиславский называл работой над собой, или по моей версии — работой собой. Это основа. Это необходимо, если мы не хотим превратить все в торговлю, во что-то сенсационное, что под напором прессы, стремящейся к сенсации и моде, могло бы стать фальшью и призраком. Я думал сначала, что, возможно, удастся сделать фасад, которым бы все были довольны и под прикрытием которого можно будет заняться тонкой работой. Однако эта работа требует совести, исключаяющей строительство фасада. Это просто ядовито, когда человек начинает мыслить... нетактично.

В этой работе над собой важен порядок: человек-человек, как когда-то порядок: старец-юноша. Когда я говорю «старец», то имею в виду два значения: человек, за которым стоит традиционная культура, традиционная техника, почти забытая традиция, — и человек просто старый. Когда я смотрю на таких людей, то вижу, что старость может быть исполнением, сбывшейся полнотой. Когда я говорю «юноша», то имею в виду два значения: во-первых, это представитель нашей цивилизации, которая по сути очень молода и напоминает младенца, играющего с бритвой: во-вторых, просто молодые люди, люди нашей цивилизации, тянущиеся к такой конфронтации без псевдомистики, они ищут что-то подлинное, они относительно молоды. Но есть и третье значение: столкновение того, что старо, и того, что молодо, что тяготеет к будущему, оно «современно» в смысле: это открытие забытого, «новое».

Труднее всего — языковая порядочность, при которой даже языковая общность не была бы условием... Представители, например, традиционных культур часто стесняются говорить о том, что считают своей личной тайной или тайной традиции. Тем более не стоит от них требовать, чтобы они учили традиционную технику. Для этого нужна целая жизнь. В противном случае это будет «юга в десяти лекциях».

Я бы не хотел, чтобы Театр Истоков ассоциировался с чем-то экзотическим. Не только потому, что таким образом может оскорбить культуры, отличающиеся от европейских, но и потому, что в основе нашей собственной культуры, существующей уже около двух тысяч лет, еще есть живые истоки.

Театр Истоков имеет дело с трудными вещами, потому что они — п е р в ы е. Например: какова разница между тишиной и молчанием! Если мы находимся в камере, где человек лишается влияния впечатлений для экспериментальных целей или нечеловеческих, — то тогда появляется

ся тишина. Но если мы не находимся в таких искусственных условиях, то существует поток, о котором когда-то говорили: «музыка сфер». Всё музыка, но наш шум к ней не допускает. Поэтому надо в себе установить тишину-молчание, чтобы суметь подключиться. Но чтобы не потерять такого рода восприятия и суметь пойти за ней, иногда нужно молчание: так нам нужно молчание, чтобы выйти к слову.

В некоторых языках одно и то же слово обозначает и «конец», и «цель». Должны мы оставаться в конце или в начале? Быть в начале — это значит позволить финалу оторваться от истоков, от корня. Тогда и приходит начало.

Давно сказано, что настоящий секрет деяния, вступления и поворота, — это движение, которое является отдыхом.

Доцеловость — трудная проблема. Нужна работа, усилие, детерминация. Нужна работа с целью — «стрельба в яблоко». А цель и доцеловость — это два разных дела. Что такое доцеловость? Мы воспитаны в ней, это значит, что сначала у нас есть определенная концепция, определенная модель, а потом мы начинаем прилагать усилия для того, чтобы запечатлеть ее в объективной материи. А что такое беспричинность? Это значит, что существуют определенные поводы, это как зерно, которое мы можем открыть, помочь вырастить или запретить. Вместо того, чтобы готовить штамп результата, надо готовить наше поле шанса-зерна. Доцелевое мышление в некоторых сферах жизни применяется хорошо, в других становится просто ошибкой, в третьих катастрофой. Один физик говорил, что в 19-м веке физика имела механический характер. Казалось, что можно сконструировать идеальную модель. Сегодня, когда входят в мир элементарных или огромных измерений, то входят в «огромный мир». Физик употребил выражение Станиславского — «органичность». Он сказал: «Это, как если бы я увидел два, три, пять деревьев; на вид — они все те же, но каждый раз другие». Он сказал: «Каждый физический феномен имеет свою «особенность», потому что все они разные, т. е. органичные, а не механические».

В чем разница! То, что органично, вырастает из зерна, как из причины, дающей путь деянию. Это что-то, идущее от корня, это то, чему позволили жить, но не из концептуальной модели и штампа.

Даже в предприятии Гора в 1977 году некоторые из тех, кто принимал в нем участие, несмотря на то, что мы пытались сломать этот штамп, шли с целью дойти до «Горы». Сейчас в Театре Истоков мы должны иметь место — откуда, но не куда. Важно место выхода. А куда же мы идем! Здесь это неважно. Куда же выходи м! Это место можно назвать культурной деревней... Оно и так должно быть простым, даже убогим (пресса в таких случаях употребляет слово «пленэр»). Еще молодым человеком я был в Туркмении в оазисе Мерв. Оазис этот образовался в устье реки Мерв, которая берет начало в Гиндукуше и течет по пустыне Кара-Кум. Тогда там еще не было оросительного канала. Оазис Мерв жил в месте, откуда река выходила. Это как время, когда люди снаружи уходят с нами в окружающую жизнь, главную жизнь, в реальную, как этого хотят другие. Может, это будет какая-то идущая группа — как долго! Как

долго в ней можно будет находиться в состоянии «очевидности»!

Верно только то, что, как обычно, мы начнем с малого. Потому что нет ничего хуже, чем начало хаоса. Речь не идет о командах и указаниях, нет, надо избежать г л у п о с т и хаоса. Поэтому начнем с малого. С себя. Может быть, когда-нибудь дорога пройдет через страну! Через континент! Но и тогда важен момент выхода... мы уходили из родного дома, зная, что покидаем его и близких, поэтому в тот день все было важно.

Вы, конечно, спросите о том, что же делается во всем этом с пришлыми людьми. Здесь у меня те же затруднения, как и тогда, когда я старался, как можно вежливее, ответить на вопрос о «действенном участии»: «Элементы можно свести к чему-то простейшему, как деяние, реагирование, спонтанность, импульс, песня, музицирование, ритм, импровизация, звук, движение, правда и способность тела. А также: человек под взглядом человека, человек в осязаемом мире».

Так я ответил. Но для многих это прозвучало формулой. В таком случае отвечать мне труднее, потому что сами деяния первичны. У меня нет для них формул. Я сегодня об этом все время говорил — на разные лады. Вокруг и около.

Так я разговаривал на Гаити... с разными людьми: в деревнях, в Порт-о-Пренсе, с людьми, воспитанными в евро-американских традициях, с людьми, не образованными вовсе, и не было никого, кто после нескольких вопросов не понял бы поиски Театра Истоков. И не в смысле сведения всего к шаманству. Мне отвечали словом «Guinea» — Африка.

#### О ТЕАТРЕ — ЛАБОРАТОРИИ

То, что я хочу сейчас сказать, не касается Театра Истоков, это относится только к Театру-Лаборатории — коллективу и его деятельности. То, что делали с 1970 по 1977 год, описано в книге «На пути к действенной культуре». Эту публикацию мы строили по принципу: кроме статистики — никаких описаний, потому что, по нашему мнению, это было бы нарушением правил общения между нами и людьми снаружи, которые приходят, чтобы участвовать действительно в открытых деяниях. Кроме того, описания вызывают много недоразумений, потому что происходящее по своей природе диахронно, а опыт действенного участия — синхронен в большей степени, чем восприятие спектакля. Но если кто-то из участников пишет на эту тему и будет публиковать, то, несмотря на то, согласны мы с автором или нет, мы будем считать такой текст документом, который оставим у себя и опубликуем сами хотя бы отрывочно. Мы подготовим к изданию отдельную брошюру, посвященную именно проекту «Гора» и составленную из таких вот записей. То, о чем говорится в обеих брошюрах, — это наш подход к порогу, за которым открывалось непознанное пространство. Нужно открыть следующие двери, как бы пробиться через то, что р я д о м с т е а т р о м — к звонку.

Чтобы понять, на чем основано это пробивание, надо определить разницу между рабочей встречей, стажировкой (или мастерской), с одной стороны, и тем, что я называю «деяние — поток», с другой. В повседневности стажировка — это работа с людьми, которая должна их чему-то

научить (или от чего-то отучить, что-то разблокировать). Но ведь существует возможность (и существует давно, мы соприкоснулись с ней, например, в проекте «Гора») — возможность деяния, которая случается тогда, когда случается, охватывая всех, кто есть, где ведущие перестают быть только проводящими занятием, они становятся акушерами или огородниками; деяние, которое охватывает большое число людей, длится часы, дни, ночи. Деяние — процесс, деяние — поток, «деяние» в значении «произведение». Но — деяние собой, деяние людьми в двух смыслах: они его вызывают и они же составляют живую ткань. Вслед за Борхесом можно было бы сказать, что такое деяние «это сад с разбегающимися дорожками». Все является потоком, процессом, плывет параллельно; пересекается, разбегаются, ускоряется, замедляется, охватывает разные места.

А сейчас мы подходим к ключевой точке. Ведь один из нас оказывается рядом с чем-то таким, что далеко выходит за повседневное понимание стажировки, и в его работе остаются живые процессы. Но он приучен к п е р е р ы в а м, а это значит, что есть время, специально предназначенное на еду, отдельно на сон и на работу. А деяние-поток возникает там, где нет деления времени на отрезки. Мы оказываемся поблизости от такой возможности, мы ищем её в работе над «Деревом Людей», а она всё — на глубине. Чтобы наиболее банальные действия, наиболее рутинные — чтобы все было в потоке. Для этого не нужно что-то повседневное, банальное, или, например, менять время вечерней трапезы... Надо сделать так, чтобы все было живой субстанцией процесса: и непоточное, и поточное. Здесь нам и надо пробиваться.

#### ВРЕМЯ В ЖИЗНИ

Театр Истоков — это, очевидно, — нечто совершенно другое. Впрочем, и группа, которая его готовит, должна быть другой: многоязыкой. Театр Истоков начнется в середине 1980 года, рядом с таким событием, как II Международные Театральные встречи. Очевидно, что если будем живы, если судьба допустит, как говорили раньше. Если по пути не свернем на фальшивую дорожку. У меня больше нет слов, чтобы обо всем этом говорить.

Говорят, что есть три возраста: молодость, зрелость и старость. Так, театр спектакля был для меня в каком-то смысле связан с молодостью, а смещение в сторону деяние-потока (целого периода действенной культуры) — со вторым периодом; проект «Театра Истоков» ассоциируется со вхождением в третий возраст. Старость может быть еще молодой, но если войти в неё вовремя, то в ней открывается что-то очень важное. Другой взгляд, другие встречи с людьми. Я не верю, что это худшее время, что оно хуже первого или второго. Он, этот возраст, часто становится худшим, но ведь для многих из нас первый или второй возраст — тоже фатальный. Думаю, что лучше всего я снажу об этом словами, которые у меня ассоциируются с этим проектом: жемчужина вдовы — есть такая легенда — жемчужина вдовы.

Перевела ЛАРИСА МЕЛЬНИКОВА



ПУБЛИЦИСТИКА

ЮОЗАС УРЬШИС

# ЛИТВА В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ. 1939—1940

Утром повели к молодому следователю Захарову. Тот заявил, что я арестован по подозрению в шпионаже, что санкцию на арест дал прокурор и что в течение десяти дней либо будет доказано, что подозрения обоснованны, либо меня освободят.

Ни того, ни другого, ясно, не случилось, ни через десять дней, ни через десять лет — прокурор преспокойно продлевал санкцию на арест.

Месяца два спустя меня увезли в саратовскую тюрьму — дело в том, что в этот город был эвакуирован из Москвы центральный аппарат с Лубянки.

Саратовская тюрьма встретила «неприветливо». Отрезали пуговицы, крючки — брюки, чтоб не сваливались, придерживал рукой.

Начались ночные допросы — расспрашивали о людях, о событиях, о службе, выискивали, за что бы зацепиться, из чего состряпать дело.

Саратовская тюрьма в ту зиму была не только холодной, но и голодной. Однако электричества не жалели — всю ночь горел свет, чтобы надзиратель в любую минуту мог увидеть в «кормушку», что ты делаешь в камере.

Когда сирены стали частенько воем извещать о воздушной тревоге, гасили свет и надзиратели, открыв глазок в двери, лучом фонарика шарили по камере.

— Кто на «У», подходи! — посветив фонариком, окликнул однажды надзиратель.

Надзирателю нельзя громко называть заключенного по фамилии, чтобы не расслышали из других камер.

Подхожу.

— Фамилия? Собирайся с вещами!

Отвели в другую камеру. Обыскали. Потом строго:

— Куда пойдем, что будем делать, ничего не спрашивать, шаг в сторону, стреляем без предупреждения. Пошли!

Два вооруженных часовых — один спереди, другой сзади, вывели в темный двор, втолкнули в одиночку «черного ворона» — стоячий гроб.

Ехали долго. Наконец послышался грохот железной дороги и как будто дохнуло ее запахами.

Высадили из «черного ворона» где-то на рельсах. Темнь хоть глаз выколи.

**Что же будет, что же будет  
Ночью темной, беспросветной**

В конце концов оказываюсь в поезде в стальной одиночке (стольпинскими вагонами называли вагоны для перевозки заключенных).

Поезд долго не трогался с места, но тронувшись, помчался на всех парах. (Это было время Сталинградской битвы).

Куда-то приехали! Поезд останавливается. Высаживают далеко от вокзала, тоже на путях. Слепой «черный ворон». Снова тюрьма. О том, что это одиночка Бутырской тюрьмы в Москве, узнаю по штемпелям на белье. Короткий, примерно десятидневный, этап. Опять собирай вещи, строгая изоляция, «черный ворон», железная дорога.

С этого дня никому своей фамилии не говори, будешь называться шестым номером, когда спросят фамилию, говори этот номер.

Долгая поездка в стольпинской одиночке.

1943 год. Февраль или март. Высаживают снова на путях. «Черный ворон». Какой-то город, которого не вижу и который не видит меня. Оказалось, Киров, об этом узнал уже в тюрьме. Одиночка, строгая изоляция. Как и до сих пор, никаких сношений, никакой переписки с внешним миром, но и никаких надоевших допросов. Книжки, стрижки, снующие над крышей, один край которой виднеется в окно, за сторожевой вышкой. И облачко иногда можно увидеть, и луч солнца. В Кировской тюрьме не пришлось столкнуться с тем омерзительным средством изоляции, гнетущее впечатление от которого пришлось испытать во всех других тюрьмах, — здесь не заслоняли окна со стороны двора деревянным щитом.

**Досками небо мое забито . . .  
Небо ясное сокрыто . . .**

Только желудок урчал недовольно — просил есть . . .  
Лязгнули однажды затворы дверей, вошел начальник тюрьмы

(Окончание. Начало в №№ 4, 5, 1989)

со стройным офицером, прибывшим из Москвы. Тот интересуется, как я себя чувствую.

— Спасибо, — говорю, — чувствую себя счастливым, только голодным.

— Вы получаете полный паек заключенного.

## ДВА МЕМОРАНДУМА

Зимой 1943—1944 годов я написал в Кировской тюрьме два меморандума «О необходимости восстановления независимости Литовского государства» и отправил их Сталину.

Сделал я это так.

Когда начальник тюрьмы посетил мою камеру (сидел я, как упоминалось, в одиночке, зашифрованный номером), я попросил, чтобы дали несколько листов хорошей бумаги, поскольку хочу написать личное заявление на имя Сталина.

Дали. Когда наступил день заявлений, я написал короткое заявление начальнику НКВД Кировской области с просьбой, чтобы меня доставили к нему, потому что я написал заявление на имя Сталина и хотел бы его вручить тому начальнику, лично.

Спустя несколько дней приводят меня к молодому генералу в форме с голубыми лампасами и золотыми погонами, их вернули не так давно. За его столом сидел еще и молодой офицер НКВД с лейтенантскими погонами. Этого я знал — недавно меня водили к нему из камеры для «беседы». Я удивился тогда, услышав, как в Кировской тюрьме офицер обращается ко мне по-литовски. Он представился — Тауринкас. Дал литовские издания, рассказал о некоторых деятелях литовской культуры, организовавших ансамбль песни и музыки, о 16-й Литовской дивизии... Предлагал высказаться на такую тему: «Каков долг каждого литовца сейчас, когда с каждым днем приближается освобождение Литвы от немецкой оккупации?»

Тогда и созрела мысль написать упомянутый меморандум.

Генерал принял меня спокойно и вежливо, я вручил ему свое заявление, он посмотрел на заглавие, которое звучало примерно так: **МЕМОРАНДУМ О НЕОБХОДИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВА.**

Он был адресован Сталину. Попросил, чтобы переслали ему.

— Ладно, перешлю, — ответил генерал и добавил, обращаясь к часовому: — Можешь увести (это значит меня, обратно в камеру).

Во врученном ему меморандуме необходимость восстановления независимости Литовского государства обосновывалась интересами сохранения и развития литовского народа, литовской нации. Только при наличии своей независимой государственной организации, излагал я, где вся жизнь будет зиждиться на своем языке, своем образе жизни, только при наличии своей отдельной суверенно управляемой территории, на которой народ будет себя чувствовать подлинным хозяином, создадутся предпосылки для сохранения и развития своего образа жизни, своего языка, своих обычаев, традиций и национального самосознания. Влить нацию в огромный инородный котел — значит лишить ее каких-то сфер общественной жизни, пронизать массивными слоями иностранцев с их языками, школами, образом жизни, нивелировать и в конце концов — денационализировать. Подчеркнул еще и тот факт, что война рассеяла немногочисленный литовский народ по всему свету. Вихри одной войны унесли часть народа на Восток, второй — другую часть на Запад, третьи оказались неведомо где. Такое «кровопускание» нанесло литовской нации колоссальный вред. И чрезвычайно важно, чтобы после окончания войны все литовцы при желании могли бы вернуться в отчий дом. Условия для такой репатриации могут быть созданы только независимым Литовским государством.

Вручив этот меморандум, я начал размышлять о другом — о таком, где бы восстановление независимого Литовского государства можно было обосновать интересами самого Советского Союза.

Написал. Победоносное шествие Советской Армии на Запад, рассуждал я во втором меморандуме, показало, что с точки зрения высшей политики было бы крайне важно, чтобы мировая общественность не испытывала сомнений в преданности Советского Союза принципам свободы и независимости народов, их самоопределения, которые провозгласила Октябрьская революция и которые руководство Советского Союза стремилось подтвердить по разным поводам. Одной из весьма действенных мер, для того чтобы рассеять возможные сомнения в этом вопросе, было бы восстановление независимого Литовского государства. Такой жест позволил бы сказать всему миру: принятые меры были вынужденными под угрозой войны, теперь, когда наше оружие разгромило агрессоров, мы возвращаем все, что принадлежит другим. Такой поступок Советского Союза поднял бы его престиж на небывалую высоту и приумножил бы ряды его друзей во всем мире. Литовская нация в ответ на проявленное благородство Советского Союза с точки зрения международной морали осталась бы навечно благодарной и испытывала бы дружественные чувства к

соседу не по какому-либо принуждению, а из глубокого убеждения и из правильного понимания своих собственных интересов.

Возможно, в этих меморандумах были употреблены другие слова, ведь прошло столько лет, но смысл я ни в чем не искажил.

Опять, как и в первый раз, попросил меня отвести к областному начальнику НКВД Жду, держу свое послание под рукой, чтобы, как только откроется дверь, захватить его с собой.

И вот однажды лязгает запор и широко открывается дверь.

— Пошли!

Вышел из камеры:

— Руки назад!

Привели. Но в этот раз не к начальнику. К заместителю.

Рассказал ему, что недавно говорил начальнику, подал меморандум, он мельком взглянул и положил на стол. Потом велел мне отойти от стола к дверям и там сесть на специально поставленный для заключенных стул. Все пространство большой комнаты отделило нас друг от друга.

За его спиной висел на стене большой портрет всем известного Феликса.

Полковник (на плечах его были погоны) — непонятно почему — сказал, что он настоящий чекист, и строго спросил меня: — Что это вы тут выдумали писать?

— Советская армия, — говорю, — все ближе подходит к Литве,

и уже недалеко то время, когда правительству Советского Союза вновь придется заняться литовским вопросом. Хочу обратить внимание правительства на такой аспект этого вопроса, на какой, возможно, никто другой этого внимания не обратит.

— Не волнуйтесь, правительство и без вас знает, что надо делать. Кроме того помните, что литовские партизаны борются не за такую Литву, какую вы имеете в виду.

— Я вас, гражданин начальник, прошу только переслать мое послание адресату.

— Веди назад! — приказал полковник часовому.

## ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ

Как бы ни изолировали, ни зашифровывали, заключенные раньше или позже находят способ связаться друг с другом.

Так и в Кирове выяснилось, что в той же тюрьме в одиночках, расположенных в сходящихся под прямым углом коридорах, кроме меня, сидят еще моя жена Мария Машётайте-Урбшне, бывший премьер-министр Литвы Антанас Меркис, его жена, сын; бывший президент Эстонии Пятс, его сын, адвокат Пятс; бывший командующий эстонской армией генерал Лайдонер, его жена; бывший министр обороны Латвии генерал Янис Балодис, его жена; бывший министр иностранных дел Латвии Вилгелмс Мунтерс, его жена.

Однажды из какой-то камеры донеслись громкие крики протеста, стуки, грохот, в коридоре замечались надзиратели. Это не выдержали нервы у президента Эстонии Пятса, и он исчез с нашего горизонта.

Я заболел мокрым плевритом, и меня увезли в Горький, в тюремную больницу.

После войны все «кировцы», кроме президента Пятса, отбывали заключение в Ивановской тюрьме. В одиночках, без фамилий, под номерами, без права переписки с внешним миром — однако режим был там повольготнее, кормили досьта.

В 1952 году, чуть ли не в феврале, все льготы были вдруг сняты, режим стал строже, атмосфера сгустилась. Спустя несколько дней нас ожидал этап.

— Писал жалобы, что сидишь без суда, будет теперь тебе суд! — такими словами проводил меня из Ивановской тюрьмы шеголеватый офицер в высоком звании.

Поезд стучит, быстро несет меня в неизвестность...

Москва. Поезд подъезжает к пассажирскому перрону. Заключенного никто не собирает скрывать от глаз людских, как было до сих пор. Выводят из вагона, ставят между двумя вооруженными солдатами, с винтовками наизготовку и, можно сказать, демонстративно ведут через весь перрон, привлекая внимание пассажиров.

Затапливают в одиночку в «черном вороне», где и сесть-то нельзя, приходится ехать стоя.

Опять Бутырская тюрьма. Номер зачеркивают — вызывают по фамилии.

Пища скудная. Всю ночь, не зная, о чем спрашивать, продержал следователь, днем запрещено не только спать, но и ложиться, давящая атмосфера презрения и запугивания — высасывают из пальца «дело». Жену, как впоследствии выяснилось, довели до серьезной психической травмы.

Не выдержала психика и генерала Лайдонера — по дороге с вокзала в тюрьму он в «черном вороне» начал кричать, стучать, произносить речи (я узнал его по голосу). В тюремном дворе его выпустили первым и увели, до меня доносился что-то громко излагающий голос. Так исчез и он.

Функцию суда, конечно, заочного, выполняло пресловутое Особое совещание.

**Ведь следствия ведутся тайно, и тайные суды,  
И знать никто не знает, за что осуждены . . .**

Какой-то тюремный чин зачитывает приговор Особого совещания, вынесенный за «преступление», наконец-то за одиннадцать лет заключения сотворенное чьим-то ловким воображением. Звучал приговор примерно так: «За активное участие в попытках международной буржуазии свергнуть Советскую власть (ст. 58, п. 4 Уголовного кодекса РСФСР) такой-то приговаривается к двадцати пяти годам тюремного заключения. Срок отсчитывать со дня ареста. Имущество конфисковать».

После этого он велел заключенному расписаться на оборотной стороне бумаги, мол, с приговором ознакомлен.

Как довелось узнать позднее, такие сроки заключения были назначены и другим балтийцам и членам их семей, которые перечислялись раньше.

Для отбытия срока отвезли нас всех во Владимирскую тюрьму.

Там поместили в одну камеру бывшего президента Литвы Александраса Стульгинскиса, бывшего премьер-министра Антанаса Меркиса, его сына, бывшего министра юстиции и члена Государственного совета Стасиса Шилингаса, бывшего министра просвещения профессора Юозаса Тонкунаса и автора этих строк. Позднее сюда же попали латвийские министры Янис Балодис и Вилгелмс Мунтерс, о которых я писал выше. Эстонцы же исчезли с нашего горизонта. Лайдонер скончался в тюрьме, о судьбе Пятсов, отца и сына, не довелось больше ничего слышать.

Женщин — Меркене, Балоде, Лайдонер, Мунтере, Урбшене — так же свели в одну камеру.

Стульгинскис, Шилингас и Тонкунас прибыли во Владимирскую тюрьму из сибирских лагерей. Там они были «осуждены» на десять лет исправительных работ, а когда эти сроки кончились, Особое совещание добавило им еще по двадцать пять лет тюрьмы — чтоб уж не вышли живыми из этого лабиринта . . .

Помнится, было воскресенье. Около полудня. Тихо, спокойно. В коридоре не слышно топота сапог, скрипа дверей, вообще не долетает ни единого звука. В такие дни заключенные вздыхают свободнее. По словам поэта Ю. Балтрушайтиса,

**Есть искра света в каждой тьме, —  
Есть миг свободы и в тюрьме . . .**

Вдруг взывают сирены, должно быть, во всем городе. Мы переглядываемся.

На другой-третий день докатилась весть: умер Сталин.

\* \* \*

Просачиваются новости, что там-то и там-то в лагерях и тюрьмах волнения, бунты. Бунтуют ээки, ясно. Зашевелились, видно, и во Владимирской тюрьме — до нашей камеры доносятся сердитые голоса, хлопанье дверей, стук. Нас не ведут на прогулку.

Спустя какое-то время к нам заладили ходить разного уровня комиссии, расспрашивали что и как, есть ли жалобы, пожелания.

Просим разрешить переписку с родственниками. Вскоре объявляют: подайте заявления, укажите адреса лиц, с которыми хотите переписываться, мы уточним, проживают ли эти лица по указанным адресам, и если это так, сможете с ними переписываться.

Я указал адрес своей родной усадьбы, там жили мои родители и двое братьев со своими семьями. Ждать пришлось долго, наконец тюремные власти сообщили: никто из указанных мной лиц по

тому адресу не проживает. Написал новое заявление — если никто из них там не проживает, то прошу установить, где они теперь живут, и дать мне их новые адреса. На это по прошествии довольно долгого срока мне дали ответ: Котрина Урбшене (моя мать) умерла в Тулуна в 1950 году. Не по своей воле, ясно, поехала она туда умирать, будучи 85 лет от роду.

О том, что отец, брат, две невестки, племянник умерли в ссылке в Сибири от голода, болезней, холода, унижений, что тело другого брата, вызванного в 1946 году в Науместскую милицию, на завтра или на третий день было выдано для похорон, что в родной усадьбе не осталось никого из близких, я узнал только после выхода из тюрьмы.

Весной 1954 года вывели из нашей камеры Александраса Стульгинскиса, Стасиса Шилингаса, Юозаса Тонкунаса — позднее мы узнали, что их выпустили на свободу.

27 августа того же года освободили и других литовцев, эстонцев и латышей. Из эстонцев, правда, дождалась освобождения только вдова генерала Лайдонера. Ее муж, как я уже писал, скончался в тюрьме, а судьба Пятсов осталась нам неизвестной.

Из тюрьмы-то выпустили, но в родной край возвратиться не разрешили . . . Остались во Владимире. Живи, как хочешь, — в чужом городе, гол как сокол, в полном физическом и духовном истощении, без крыши над головой.

31 августа 1954 года дали такую телеграмму:

«Совету Министров СССР

Москва

Постановлением Прокуратуры, Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности от 16 августа 1954 года после 13 лет тюремного заключения 27 августа выпущены бывшие министры Балтийских государств и их жены. Состояние их в отношении быта и трудоустройства очень тяжелое. Просим предоставить срочную всестороннюю материальную помощь, пока трудоспособные найдут работу, а нетрудоспособным просим назначить пенсии. Ответа ждем во Владимире до востребования.

Меркис, Урбшис, Балодис, Мунтерс, все с женами, вдова Лайдонер».

Ответа мы, естественно, не дождались, но городские власти Владимира проявили внимание к нашему положению, выделили для начала единовременные пособия и помогли так или иначе обосноваться — кому в самом Владимире, кому в районном центре.

В декабре того же года моей жене и мне (думаю, что и другим из нашей группы) были назначены пенсии по старости — в современном исчислении по 50 рублей в месяц. Такую пенсию плюс добавленные в последнее время 5 рублей я получаю и в этом, 1987, году.

Премьер-министр Антанас Меркис как тяжело больной прямо из тюрьмы был перевезен во Владимирскую городскую больницу, а оттуда через некоторое время — в дом инвалидов в районном городе Меленки Владимирской области.

Там он и почил 5 марта 1955 года.

Последние услуги ему оказала вдова эстонского генерала Лайдонера, которая, как и он, после тюрьмы попала в тот же дом инвалидов в Меленках.

5 апреля 1987 г.

Перевели ЛЮБОВЬ ЧЕРНАЯ и  
ВИРГИЛИУС ЧЕПАЙТИС

АЛОТЫС

**А**мериканская писательница Эйн Рэнд (род. 1905 г.) — автор нескольких романов и публицистических сочинений. В самый активный период своей деятельности с 40-х по 60-е годы — была широко известна в интеллектуальных кругах Америки, обрела немало поклонников и противников. Ее философская теория — объективизм, представление о мире, делающее акцент на объективной реальности в противовес субъективным переживаниям и видимости. Отношение Э. Рэнд ко многим понятиям и явлениям весьма нетрадиционно.

Э. Рэнд убежденная защитница ка-

питализма, но считает, что во многих странах, в том числе в Америке, он пошел по неверному пути и это создает угрозу свободному развитию человека. Обеспокоенная этим, Э. Рэнд написала целый ряд статей о разных аспектах общественной жизни. В них она подвергла резкой критике политические, экономические и культурные тенденции двадцатого века, сложившиеся в мире, и в частности в США. В центр всего Рэнд ставит человека и его умственный потенциал, интеллект. Прогресс, по ее понятию, заключается в развитии истории от общины к обособленному индивидууму и в процессе освобождения человека от на-

вязанных связей с другими людьми. Рэнд уверена, что государственная система и политика должны строиться по объективно обоснованным законам и руководствоваться научно разработанными теориями, а не большинством голосов. Особенно необычен взгляд Э. Рэнд на альтруизм. Она его отрицает полностью, считая, что он придает человеку статус приносимого в жертву животного, что несовместимо с стремлением свободной личности к счастью. Взгляды писательницы во многом спорны, но напор, с которым она отстаивает права личности, и дерзкое стремление указать государству его место очень привлекательны.

## ЭЙН РЭНД

# ПРИРОДА ГОСУДАРСТВА

Государство — это институт, обладающий исключительной властью проводить в жизнь определенные правила общественного поведения на данной географической территории. Нуждаются ли люди в таком институте и почему?

Разум человека — это его основное орудие в процессе выживания, его средство получения знаний, которыми он руководствуется в своих действиях. В силу этого главным условием его существования является свобода мыслить и действовать в соответствии с доводами разума. Это отнюдь не означает, что человек должен жить в одиночестве и лучшая среда для него — необитаемый остров. Общение друг с другом приносит огромную пользу. Социальное окружение — вот наиболее благоприятная для выживания человека среда, **но лишь при определенных условиях.**

«Жизнь в обществе обладает для человека двумя величайшими ценностями. Это — знания и обмен. Человек — единственное существо, способное накапливать запас знаний и передавать его из поколения в поколение, знания, потенциально доступные человеку, неизмеримо больше всего того, что он может узнать в течение своей жизни, т. е. знания, добытые другими, служат ему. Второе преимущество — это разделение труда. Оно дает человеку возможность сосредоточить все свои усилия в определенной области деятельности и обмениваться продуктами своего труда с теми, кто специализируется в других областях. Принимая участие в таком сотрудничестве, каждый из партнеров приобретает более значительные знания, навыки и прибыль, чем если бы он производил все, что ему нужно, в одиночку, на необитаемом острове или на ферме, обслуживающей только своих хозяев. Но эти же преимущества определяют, какие человеческие типы наиболее ценны и в каком обществе: только разумные, деятельные, независимые люди в рационально организованном обществе.» («Объективистская этика» в сб. «Достоинство эгоизма»).

Общество, которое отнимает у индивида продукты его труда, или превращает его в раба, или пытается ограничить

свободу его мысли, или принуждает его действовать вопреки доводам разума; общество, которое порождает непримиримое противоречие между своими указами и требованиями человеческой природы, — не является, строго говоря, обществом. Это, скорее, толпа, объединенная законами банды. Такое общество разрушает все человеческие ценности и его существованию не может быть никакого оправдания. Оно представляет собой не источник блага, но смертельную угрозу жизни человека. Несравненно безопаснее и предпочтительнее жить на необитаемом острове, чем в Советской России или фашистской Германии.

Чтобы люди могли сосуществовать в стабильном обществе, которое разумно устроено и продуктивно функционирует, чтобы их отношения друг с другом были взаимовыгодными, им следует признать основным принципом социальной жизни принцип прав личности. Вне его невозможно никакое цивилизованное или нравственное общество. Признать права личности — означает признать нормальные условия человеческого существования, соответствующие его природе.

Права человека может нарушить только применение физической силы. Только посредством физической силы один человек может лишиться другого жизни, сделать рабом, воспрепятствовать достижению его целей или заставить действовать вопреки доводам разума. Поэтому непрелюдным условием существования цивилизованного общества является исключение физической силы из социальных отношений. Это означает, что если люди желают иметь дело друг с другом, они должны пользоваться только методами убеждения, обсуждать проблемы и заключать добровольные соглашения.

Признание права человека на жизнь означает и его право на самозащиту. В цивилизованном обществе физическая сила может служить только орудием наказания и только против того, кто первым ее применил. Когда насилие — зло, наказание становится моральным императивом. Если бы какое-либо «пацифистское» общество отвергло право на ответное применение силы, оно бы отдалось

на милость первого же головореза, который решил бы воспользоваться его беспомощностью. Тем самым было бы достигнуто нечто противоположное доброму намерению: вместо искоренения зла — поощрение его. Общество, которое не обеспечивает организованной защиты от насилия, вынуждает каждого гражданина вооружиться, превратить свой дом в крепость, стрелять в любого подозрительного незнакомца, появившегося у его двери, или вступить в банду, борющуюся за его права против других банд, созданных с этой же целью. Это приводит к вырождению общества, превращению его в одну большую банду, где правит грубое насилие и ведется бесконечная война, подобная войнам первобытных племен.

Решение о применении физической силы, даже ответное, не может быть делом частных лиц. Мирное сосуществование невозможно, если человек живет под постоянной угрозой насилия со стороны любого соседа в любой момент. Не имеет значения, добрые или злые намерения этого соседа, разумны или противоречат здравому смыслу его доводы, руководствуется он чувством справедливости или невежеством, предрассудком, злобой — применение насилия к одному не может быть оставлено на произвол другого. Представьте себе, что человек, потеряв кошелек, решил, что его обворовали. Он врывается во все соседние дома, обыскивает их и стреляет в первого встречного, вид которого ему подозрителен, считая это доказательством вины. Ответное применение силы требует объективных правил расследования: следует доказать сам факт преступления, установить преступника, определить меру наказания и обеспечить его исполнение. Люди, которые пытаются вершить суд игнорируя эти правила, представляют собой линчующую толпу. Если бы вопрос о наказании решался частными лицами, то общество выродилось бы в подобную толпу. Власть стала бы властью толпы, суд — судом Линча, а человеческие отношения — серией кровавых расправ, вендеттой.

Но если насилие должно быть исключено из социальных отношений, необходим институт, задача которого защищать права людей на основе **объективного** кодекса законов. Таким институтом является государство, по крайней мере государство, отвечающее своему предназначению. Это — его основная цель, его единственное моральное оправдание и причина возникновения. **Государство есть средство объективного контроля над ответным применением силы.** Этот контроль обеспечивается объективно установленными законами. Между действиями частных лиц и действиями властей существует коренное различие, которое сегодня настойчиво игнорируется. Оно состоит в монопольном юридическом праве государства на принуждение. Это неотъемлемое право государства, чья главная функция — пресечение насилия. Именно поэтому его действия должны быть строго регламентированными, чтобы исключить малейшую возможность произвола. Государству следует быть безличным роботом, действующим строго по закону. Контроль над государством — непереносимое условие существования свободного общества. В разумно организованной социальной системе частное лицо имеет законное право совершать любые действия, если они не нарушают права других людей, в то время как представитель власти в каждом своем официальном действии ограничен законом. Частному лицу разрешено все, что не запрещено законом, представителю же власти запрещено все, кроме разрешенного законом. Таким образом сила подчиняется праву. Это американская концепция «правления законов, а не людей».

Природа и цели государства, отвечающего своему предназначению, определяют природу законов, обеспечивающих существование свободного общества, и являются источником его власти. Основной принцип такого государства изложен в Декларации независимости: «Для обеспечения этих (индивидуальных) прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых». Защита индивидуальных прав — это единственная цель государства, оправдывающая его существование. Тем самым это единственная цель и законодательства: все законы должны исходить из прав личности и направлены на их защиту. Все законы должны быть **объективными** (объективно обоснованными): люди должны твердо знать и до совершения каких-либо действий, что запрещается законом (и почему), что является преступлением и каково наказание за него. Источником власти правительства — это «согласие управляемых». Это означает, что правит не **правитель**, а слуга или **исполнитель** воли граждан. Это означает, что государство как

такое не имеет никаких полномочий, кроме полномочий, возложенных на него гражданами.

Есть только один основной принцип, который индивид должен признавать, если он хочет жить в свободном обществе, — отказ от применения физической силы и передача в руки государства права защиты каждого гражданина. Иными словами, индивид должен принять принцип **отделения власти от произвола** (любого произвола, включая его собственный).

Что происходит в случае разногласий между двумя людьми по поводу дела, которым они оба занимаются? В свободном обществе никто не заставляет их иметь дело друг с другом. Это происходит добровольно, по обоюдному согласию, а если вносится элемент времени — заключается контракт. Если один произвольно расторгает контракт, другой может понести огромный ущерб. В таком случае у потерпевшего не остается иного выхода, кроме захвата собственности обидчика в качестве компенсации. Но решение о применении силы не может быть делом частного лица. И здесь мы подходим к одной из самых важных и самых сложных функций государства — функции арбитра, который улаживает споры людей посредством объективных законов.

Преступники составляют меньшинство даже в полувиллизованном обществе. Но главная задача мирного общества — защита и выполнение контрактов при помощи гражданских судов. Никакая цивилизация не может сохраниться и развиваться без гарантии такой защиты. В отличие от животного человек не способен выжить, действуя по первому порыву и учитывая только настоящий момент. Он должен планировать свои действия, определять задачи на продолжительный период и выполнять их. Чем более развит ум человека и чем больше его знания, тем длиннее срок, который он способен охватить своими планами. Чем выше и сложнее цивилизация, тем более широких временных пределов требует ее деятельность. Поэтому и заключаемые контракты более долгосрочны. Это делает гарантию безопасности таких договоров особенно настоятельной.

Даже общество, основанное на примитивном товарообмене, не могло бы функционировать без соблюдения определенных правил обмена. Например, если бы человек согласился обменять бушель картофеля на корзину яиц и, получив яйца, отказался отдать картофель. Можно себе представить, что будет означать такой каприз в индустриальном обществе, где поставляют в кредит товары на миллиарды долларов, или подписывают многомиллионные контракты, или заключают договоры об аренде на 99 лет.

Одностороннее расторжение контракта — это, по сути, неправомерное применение силы: один человек получает материальные ценности и услуги другого, затем отказывается оплатить их и тем самым удерживает их силой, не имея на это права, обладает ими без согласия их владельца. Мошенничество включает в себя такое же неправомерное применение силы — материальные ценности так же приобретаются без согласия их владельца, т. е. предлог или обещание фальшивые. Вымогательство — это еще одна разновидность насилия, оно состоит в приобретении материальных ценностей не в обмен на другие ценности, но под угрозой применения силы, насилием или нанесением ущерба. Некоторые из этих действий — умышленные преступления. Другие, такие как одностороннее расторжение контракта, могут не мотивироваться преступными намерениями, но вызваны безответственностью или неблагоприятием. Бывают и более сложные случаи, когда обе стороны претендуют на справедливость своих требований. Но, вне зависимости от конкретных обстоятельств дела, оно должно подлежать действию объективно установленных законов и рассмотрению беспристрастным арбитром, отправляющим правосудие, т. е. судьей (или судом присяжных). Обратите внимание на основной принцип, управляющий восстановлением справедливости во всех этих случаях: ни один человек не имеет права получить какие-либо ценности без согласия их владельца, и, как следствие этого, вопрос о правах человека не может решаться частными лицами, зависит от чего-то произвольного выбора, неразумия или прихоти. По сути, это основная цель государства, действующего в соответствии со своей природой: обеспечить людям возможность существования в обществе, защищая благо и борясь со злом, которое люди могут причинить друг другу. Основные задачи государства осуществляются тремя институтами, имеющими дело с применением силы и защитой прав человека: **полицией** —

защита людей от преступников, **вооруженными силами** — защита людей от иностранных захватчиков, и **судом** — решение споров между людьми посредством объективных законов. Деятельность этих институтов включает большое количество разнообразных противоречивых моментов, обусловленных их функциями. Они реализуются на практике в форме законодательства и изучаются особой наукой — философией права. В процессе отправления правосудия неизбежны разногласия, ошибки, но неизблемым остается принцип: цель государства и закона — охранять права граждан.

В наши дни этот принцип подчас забывают или игнорируют. Результатом является современное состояние мира: человечество сползает к беззаконию, тирании, к модели первобытного общества, управляемого грубой силой. Как следствие необдуманного протеста против этой тенденции, возникают сомнения в оправданности существования государства: не является ли оно злом по своей природе, и не является ли анархия идеальной социальной системой? Анархия, как политическая концепция, это навивная, повисшая в воздухе абстракция. По причинам, изложенным выше, общество вне организованного государства отдает себя на милость первого преступника, который появится и вовлечет его в хаос войны банд. Но способность людей совершать безнравственные поступки не единственное возражение против анархии: даже общество, каждый гражданин которого абсолютно благоразумен и нравственно безупречен, не могло бы функционировать в состоянии анархии; именно потребность в **объективных** законах и в арбитраже для решения честных споров делает необходимым создание государства. Один из последних вариантов анархистской теории, который соблазняет некоторых молодых защитников свободы, — это причудливая абстракция под названием «конкурирующие правительства». Исходя из основной предпосылки современной теории этатизма\* — отождествления функции управления государством и управления промышленностью, власти и производства, адепты теории «конкурирующих правительств» выворачивают наизнанку этатистскую концепцию огосударствления бизнеса и заявляют, что, коль скоро конкуренция благотворна для бизнеса, она благотворна и в деле управления государством. Вместо одного правительства, обладающего монопольным правом управления, они предлагают создать на одной географической территории несколько правительств, конкурирующих друг с другом за лояльность граждан. В таком случае каждый гражданин волен «прицениваться» к правительствам и поддерживать то, которое выберет. Вспомните, что насильственное ограничение деятельности людей — это единственная функция государства. В таком случае что означает конкуренция в вопросе насильственного ограничения? Нельзя даже упрекнуть эту теорию в противоречии в терминах, т. к. в ней полностью отсутствует понимание терминов «конкуренция» и «правительство». Ее нельзя назвать и повисшей в воздухе абстракцией, ибо она абсолютно оторвана от действительности и никоим образом не может быть реализована на практике, даже грубо, приблизительно. Достаточно будет одного примера. Предположим, м-р Смит, клиент правительства А, подозревает, что его сосед, м-р Джонс, клиент правительства Б, ограбил его. Отряд полиции А прибывает к дому м-ра Джонса, где его уже ждет отряд полиции Б. Полицией Б отрицают законность жалобы м-ра Смита, а также заявляют, что не признают правительство А. Что произойдет? Судите сами.

Эволюция концепции государства представляет собой долгий, извилистый путь. Вероятно, в каждом организованном обществе существовали догадки об истинных функциях государства. Об этом свидетельствуют такие явления, как признание некоторого, если и не существовавшего, то подразумеваемого, различия в структуре государства и банды грабителей; ореол уважения и морального авторитета правительства, как охранителя «закона и порядка»; тот факт, что даже самые порочные типы правительства считали необходимым поддерживать некую ви-

димось законности и порядка, хотя бы как дань традиции и рутине, и претендовали на нечто, подобное этическому оправданию своей власти, мистической или социальной по природе. Точно так же как абсолютные монархи Франции должны были взывать к «священному праву королей», современные диктаторы Советской России должны тратить состояния на пропаганду, чтобы оправдать свою власть в глазах поработанных подданных. В истории человечества осознание истинной функции государства — совсем недавнее достижение, ему всего 200 лет и оно восходит к эпохе Отцов—Основателей Американской революции. Они не только определили природу и потребности свободного общества, но и разработали средства реализации этого на практике. Свободное общество, как и любой другой продукт человеческой деятельности, невозможно создать случайными средствами, простым хотением или «добрыми намерениями» лидеров. Необходима сложная законодательная система, основанная на действующих объективно принципах, чтобы общество было и сохранялось свободным. Эта система не зависит от побуждений, нравственности или намерений любого должностного лица, она не оставляет легальной лазейки для возникновения режима тирании. Американская система взаимозависимости и взаимограничения законодательной, исполнительной и судебной власти (checks and balances) как раз и была таким достижением. И хотя определенные противоречия в конституции действительно оставили лазейку для роста этатизма, сама идея конституции, как средства ограничить власть государства, держать ее в определенных рамках, была безусловной победой. Сегодня, когда предпринимаются массированные атаки на эту идею, не будет лишним напомнить, что конституция прежде всего ограничивает действия государства, а не частных лиц, регламентирует поведение не частных лиц, а правительства, устанавливает не систему защиты властей, но систему защиты от властей.

А теперь рассмотрим, как преобладающая сегодня концепция ставит идею государства с ног на голову, переворачивает её с точки зрения политики и морали. Вместо того, чтобы быть охранителем прав человека, государство становится самым опасным их нарушителем, вместо того, чтобы защищать свободу, государство устанавливает рабство; вместо того, чтобы защищать людей от насилия, государство само применяет силу и принуждение любыми способами, средствами, которые сочтет удобными; вместо того, чтобы служить инструментом **объективности** в человеческих отношениях, государство создает подспудное господство смертельного страха и неуверенности посредством необъективных законов, чья интерпретация зависит от прихоти любого случайного должностного лица; вместо того, чтобы защищать людей от произвола, государство присваивает себе неограниченную власть творить произвол. Таким образом, мы быстро приближаемся к состоянию полного извращения природы государства: когда оно **свободно** делать все, что пожелает, в то время как граждане могут действовать только с разрешения. Это состояние самого мрачного периода человеческой истории, стадия правления грубой силой.

Часто замечают, что, несмотря на материальный прогресс, человечество не смогло достигнуть равной ему ступени прогресса нравственного. Из этого обычно следует пессимистический вывод о человеческой природе. Верно, что моральный уровень человечества постыдно низок. Но если принять во внимание системы правления, основанные на чудовишном извращении этической природы государства (а это было возможно благодаря альтруистически-коллективистской морали), при которых человечеству пришлось существовать большую часть своей истории, то можно поразиться, как людям удалось сохранить хотя бы подобие цивилизации и какой же неразложимый остаток чувства собственного достоинства дал им возможность ходить прямо, на двух ногах. И здесь, собственно, начинаешь понимать природу политических принципов, которые следует принять и защищать в сражении за интеллектуальное возрождение человека.

\* Этатизм (от фр. *etat* государство) — понятие буржуазной политической науки, означающее активное участие государства в экономической жизни общества.

# «ВХОДИТЕ,

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ ЖДЕТ ВАС . . . »

30 сентября прошлого года в нашей газете «Literatūra un māksla», № 40 мы опубликовали размышления кинодраматурга Виктора Лоренца о том, почему писатели и деятели искусства избегают отображать исторические события 1940 года в Латвии. В статье «Правду о 1940 годе? . . . » автор противопоставил теоретическим предположениям историков реальные факты жизни: Народное правительство Латвии фактически было сформировано в посольстве СССР; в состав этого правительства был включен советский разведчик Викентий Латковский; представители Красной Армии тогда активно влияли на процессы внутренней жизни Латвийского государства.

Эта полемическая статья вызвала широкий резонанс, поэтому публикуем разговор с Виктором Лоренцем, пытаясь таким образом дать ответы на некоторые вопросы наших читателей.

— В своей статье Вы рассказали, как при знакомстве с лживыми официальными историческими концепциями у Вас выработался внутренний этический запрет на написание кинодрамы о событиях 1940 года в Латвии. Как вы считаете, существуют ли и сейчас такие препятствия?

Позволю себе ответить встречным вопросом: Неужели Вы верите, что Министерство иностранных дел СССР не в состоянии найти в своих архивах секретное приложение к пакту Молотова—Риббентропа? До тех пор, пока мы будем играть в жмурки в неприбранных дворах и конюшнях своей истории, будет существовать и комплекс аморальных обстоятельств, так просто именуемый препятствиями.

— Из Вашей статьи читатели узнали, что Викентий Латковский с 1920 года был связан с советской разведкой. Может быть, став летом 1940 года членом правительства Латвии, он прервал эти связи?

В этот период для деятельности Латковского открылись широкие возможности. В его ведение перешло руководство политической полицией Латвии, и НКВД СССР незамедлительно прислал Латковскому своих советников. Для удобства он выписал иностранным специалистам латвийские паспорта.

— Можете ли Вы назвать кого-нибудь из советских специалистов внутренних дел, работавших на территории Латвии в период Народного правительства?

Да. Одним из них был Симон Шустин. Позже, после включения Латвии



Работники посольства Советского Союза в Национальном театре на торжественном заседании Сейма, которое провозгласило установление советской власти. В первом ряду справа — посол В. Деревянский, в центре — И. Чичаев.

в состав СССР, Шустин официально назначили заместителем народного комиссара внутренних дел Латв.ССР, а в 1941 году, после разделения ведомств, ему доверили пост народного комиссара госбезопасности. В «Вестнике Президиума Верховного Совета ЛССР» (№ 10 за 1940 год) имя Шустина жульнически из Симона переделано в Симаниса. Очевидно, получив Латвийский паспорт «Симанис» безумно полюбил все латышское.

— Участвовали ли присланные Берия специалисты в полицейских акциях лично?

В мемуарах Викентия Латковского целая глава повествует о том, как Шустин активно участвовал в розыске и высылке в Советский Союз военного министра Латвии Кришьяниса Беркиса. Еще до рассвета 31 июля 1940 года вооруженная бригада под руководством Латковского и Шустина окружила Приекульскую мельницу недалеко от Цесиса. Однако генерал Беркис уже уехал из своего летнего жилища. Его арестовали в Таллинне, привезли в Ригу, заточили в Цитадель. Этот факт свидетельствует о том, что офицеры органов внутренних дел СССР на территории независимого государства Латвии действовали не только в качестве советников

но и принимали непосредственное участие в проведении полицейских акций.

— Рассказывал ли Латковский о последних днях, проведенных в Латвии президентом Латвии Карлисом Улманисом?

После 17 июня 1940 года Улманис хотел, чтобы не менялся личный состав его охраны. Латковский обещал считаться с этим желанием, но, к большому удивлению президента, вскоре его стали охранять совсем чужие люди.

— Кто это были?

С. Маргерс, Б. Латковский, А. Эйсакс, В. Емельянов, А. Валтерс, А. Стабровскис.

— Это было единственным недоразумением во взаимоотношениях Улманиса и Латковского?

Не менее удивлен был президент Латвии, когда однажды дал указание отвезти несколько чемоданов из своего дворца. Извозчика задержали на понтонном мосту.

— Что было спрятано в чемоданах?

Этого член Народного правительства и начальник политической полиции Викентий Латковский никогда не узнал. Задержанными вещами немедленно завладело советское посольство. Аналогичная судьба постигла и чемоданы с документами, переданные Лат-



Viesi Tautas Sacīmas vēsturiskajā sēdē. No kreisās: PSRS sūtniecības 1. sekretārs b. M. Vetrovs, b. ģenerālpulkvedis Loktionovs un PSRS sūtnis b. V. Derevjanskis.

Гости исторического заседания Сейма. Слева направо: первый секретарь посольства СССР М. Ветров, генерал-полковник Локтионов и посол СССР В. Деревянский.



Торговый представитель Терентьев и И. Чичаев (первый слева) с супругой на воскресном отдыхе.

ковскому после длительных переговоров его предшественником Фридрихсонсом.

— В некоторых последних публикациях мелькает фамилия советского дипломата Чичаева. Вы также упомянули в своей статье, что в поисках материалов для киносценария познакомились с этим человеком. Почему Вы так мало написали о встречах Чичаева со Сталиным, когда на самом высоком уровне обсуждалась будущая судьба Латвии?

Был уверен, что историки это сделают более профессионально.

— Но историки пока молчат. Вероятно, до сих пор не могут добраться и до полок, на которых хранятся столь важные для изучения прошлого Латвии протоколы. Мы вынуждены обходиться без помощи ученых. Были ли у Вас личные беседы с Чичаевым?

Да, беседовали много и долго. Встречались несколько раз. Чичаев передал в мое распоряжение свои заметки очевидца, вернее — участника событий. Напомним читателям, что Иван Андреевич Чичаев с августа 1938 года по сентябрь 1940 года был первым секретарем, позже — советником посольства СССР в Риге. Вот что он пишет: «В апреле 1940 года меня вызвали в Москву для доклада. Вместе со мной выехал торгпред В. Тимофеев и секретарь полпредства И. Ковалев. В наркомате, куда я явился, мне сказали, что сегодня ночью меня примет И. В. Сталин, которому я должен доложить о положении в Латвии.

Хотя перед выездом в Москву я хорошо подготовился, взял с собой необ-

ходимые документы и справки, неожиданный вызов к Сталину меня взволновал.

Было около 12 часов ночи, когда мы вошли в комнату А. Н. Поскребышева, помощника Сталина, через которую был вход в кабинет Сталина. Здесь стояла какая-то настороженная тишина, говорили вполголоса. Поскребышев, видимо, ждал нас. Поговорив с наркомом, он ушел в кабинет Сталина, откуда тотчас же вернулся, сказав: «Входите, Иосиф Виссарионович ждет вас».

Сталин, поздоровавшись, пригласил нас сесть за длинный стол, где уже сидели члены Политбюро В. Н. Молотов, А. А. Жданов и другие. Сам не сел, внимательно присматривался к нам, как бы запоминая наши лица.

Я первый раз видел Сталина так близко. Он выглядел таким же, каким показывался всюду — небольшого роста, в полувоенном костюме защитного цвета, сапогах, с трубкой в руке, волосы и усы чуть тронуты сединой. Меня поразил его взгляд — пристальный, изучающий, пронизывающий словно рентгеновский луч. Он то вскидывал, то опускал глаза, пытливо всматривался в лицо собеседника, казалось, своим взглядом он проникает в тайны твоих мыслей, заглядывает в душу. Нелегко было выдерживать его взгляд. «Докладывайте», — отрывисто бросил он, обращаясь ко мне.

С трудом преодолевая волнение, я начал свой доклад.

... Послушав минуты три—четыре, он перебил меня, начав задавать вопросы... Изредка в беседу вступали члены Политбюро. На одно замечание Сталина я осмелился даже возразить ему... Во время беседы Сталин два раза вызывал Поскребышева и спрашивал, скоро ли придет Тимошенко, занимавший тогда пост наркома обороны. Наша беседа со Сталиным и членами Политбюро продолжалась около часа. Все прошло хорошо. Сталин не сделал ни одного критического замечания, а только слушал, задавал вопросы, и уточнял то, что ему было неясно. Из его вопросов и замечаний мы поняли, какие задачи стоят перед нами, что ждет от нас ЦК партии и Советское правительство и как следует действовать.

... Между прочим, мне довелось еще два раза говорить со Сталиным по телефону.»

— Как дальше развивалась деятельность Чичаева в Риге после его исторического разговора со Сталиным?

На 244-й странице рукописи своих мемуаров «Страницы минувших лет. 1973» он пишет: «Получив «зарядку» и указания в Москве, мы возвратились в Ригу, где приступили к решению поставленных перед нами задач. Снова начались встречи и беседы с политическими, общественными, военными и другими деятелями, изучение настрое-

ния и положения в стране, кадров прогрессивных кругов, деятельности иностранных посольств, особенно германского, проявлявшего бурную активность.

Улманис продолжал свою прежнюю политику. Однако некоторые министры его правительства, генералы, чиновники и представители деловых кругов, чувствуя, видимо, приближение важных перемен, изменили свое поведение, начали искать контакты с нами. Например, министр иностранных дел Мунтерс стал каждый выходной день приглашать нас на прогулку за город. Мунтерс был, пожалуй, самым образованным и дальновидным политиком из всех членов правительства. Он раньше всех понял, что в надвигающейся борьбе между великими державами Латвия не может играть самостоятельной роли, ей надо заранее определить свое место, и он готовился к этому.

Интерес к поддержанию контактов с нами стал проявлять даже вице-президент, военный министр генерал Балодис игравший в «оппозицию» к Улманису. Как бы в пику своему патрону, он стал встречаться с нашим полпредом в ресторанах, приглашать его к себе домой. Министры земледелия и финансов наперебой приглашали меня, торгпреда, военного атташе на охоту, чтобы в беседах на привале «пощупать» и расположить к себе нас. Выходили на поверхность и те кадры, которым суждено было в будущем заменить профашистскую клику Улманиса...»

— А революционная ситуация?

Цитата из воспоминаний И. Чичаева свидетельствует о том, что активность трудящихся масс не была решающим фактором в событиях 1940 года в Латвии. Как видно, их заранее планировал, обсуждал и ими дирижировал сам Иосиф Виссарионович, и ему следует, наконец, отдать должное при изучении того времени. Характерно, что Чичаев, располагавший обширной информацией о положении в Латвии, нигде в своих воспоминаниях не приводит конкретных примеров, свидетельствующих об образовании революционной ситуации. Зато он весьма конкретно говорит о закулисных сделках большой политики, заключенных втайне, за спиной латышского народа. Жаль, что наши историки не имеют ни малейшего представления, в каком архиве и под каким «специфром» следует искать исчерпывающие документы о визите Ивана Чичаева в Кремль в апреле 1940 года. Конечно, не исключена версия, что Чичаева вызвали в Москву в последних числах апреля. В таком случае, этот разговор со Сталиным состоялся в мае 1940 года. Предполагать так побуждает тот факт, что упомянутый Чичаевым Тимошенко стал и маршалом, и народным комиссаром обороны СССР только 7 мая 1940 года. Во всяком случае,

Иосиф Виссарионович прекрасно знал, кого в ту ночь пригласить на беседу. Семен Константинович Тимошенко уже заслужил звание Героя Советского Союза на залитых кровью снежных полях нашего соседа Финляндии. Помоему, не мешает вспомнить и советского посла В. Деревянского, аккредитованного в Риге 8 мая 1940 года. До нападения Советского Союза на Финляндию этот человек возглавлял Советское дипломатическое представительство в Хельсинки. Очевидно, Иосиф Виссарионович намеревался использовать в Прибалтийских странах весь накопленный в финской войне опыт, если Рига, Таллинн и Вильнюс не подчинились бы ультиматуму Москвы.

— Из приведенной цитаты Чичаева следует, что он явился в кабинет Поскребышева вместе с неким народным комиссаром. Молотов это не мог быть, потому что он уже сидел у Сталина. Почему Чичаев не назвал фамилию своего спутника?

Остается предположить, что это был народный комиссар внутренних дел СССР Берия, которому Чичаев, как сотрудник разведки, был подчинен. Очевидно, что в 1973 году Чичаев не захотел лишиться раз упоминать своего бывшего шефа, к тому времени Лаврентий Павлович был давно расстрелян. И на последующих страницах рукописи, где речь несомненно идет о Берия, автор деликатно обходится безличным «народный комиссар».

— Кем же Чичаев был — дипломатом или чекистом?

Не открою никакой государственной тайны, сказав, что природа одарила Ивана Чичаева выдающимся талантом в обеих упомянутых вами профессиях. Уверен, что в некоторых странах многие это могут подтвердить.

— Что он делал после присоединения Латвии к Советскому Союзу?

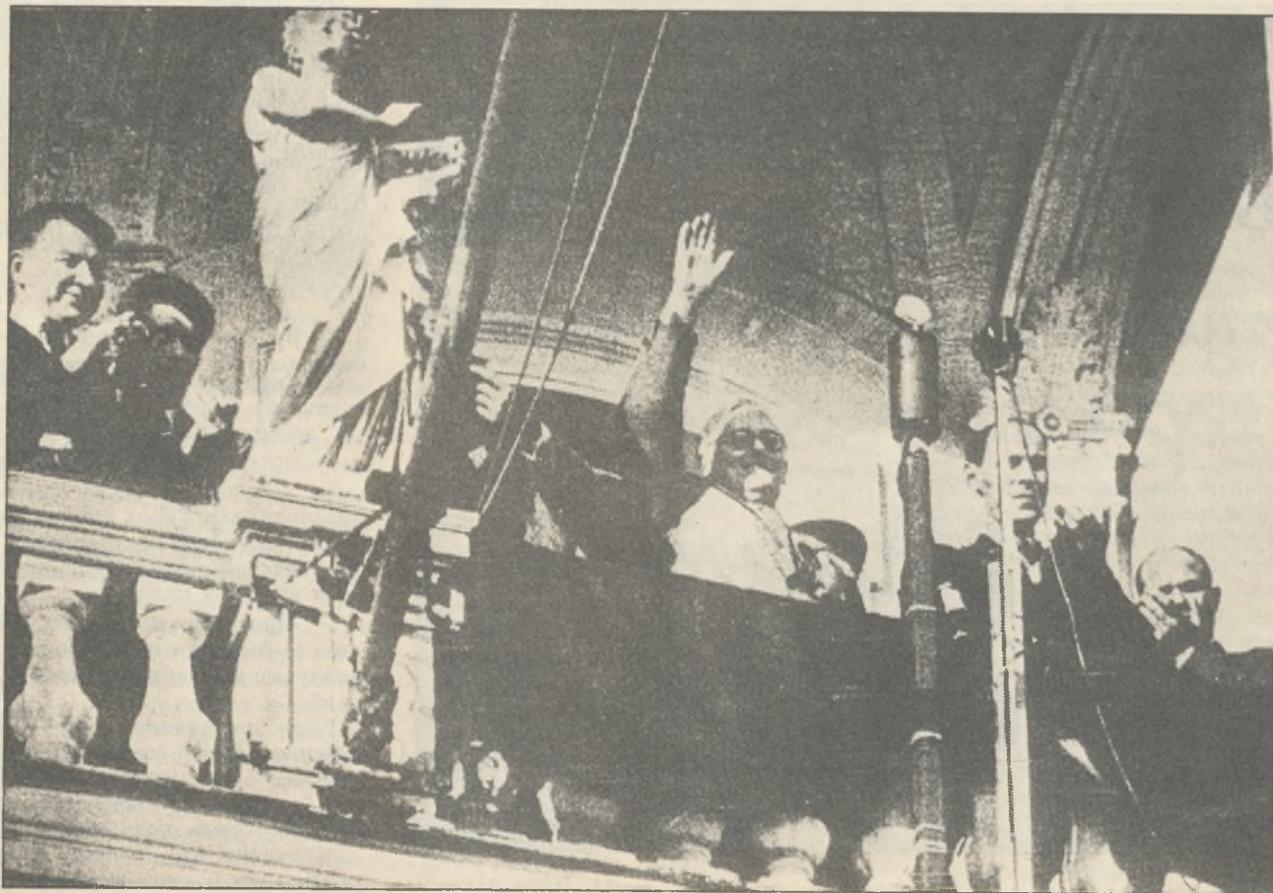
До 18 июня 1941 года Чичаев работал в посольстве СССР в Стокгольме, помогая Александре Коллонтай вести дипломатические дела в Швеции. В Москву Чичаев был отозван за несколько дней до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. В этой сложной ситуации он опять официально вернулся в ряды органов государственной безопасности СССР. Путь из Стокгольма в Москву лежал через Ригу. Когда 19 июня пароход «Эстония» причалил к берегам Латвии, Чичаева встречал Алфонс Новикс, чтобы отвезти его на дачу В. Лациса. Там Чичаев всю ночь провел в разговорах с Вилисом Лацисом и Янисом Калнберзиньшем о том, что в любую минуту может начаться война. На 217-ой странице воспоминаний Чичаев пишет: «ЦК и правительство уже дали указание подготовиться к эвакуации ценностей, документов, запасов продовольствия и материалов».

— Следовательно, в начале войны



B-ra Višinska izvadišana uz Maskavu.

Работа в Латвии выполнена. 26 июля 1940 года А. Вышинский отправляется домой.



21 июня 1940 года. А. Вышинский (в центре) приветствует демонстрантов с балкона советского посольства. Первый слева — И. Чичаев. Лозунг «За Советскую Власть!» еще рассматривается как провокационный.



Викентий Латковский — советский разведчик с 1920 года, член Народного правительства и шеф политической полиции летом 1940 года.

**Иван Чичаев работал в органах госбезопасности?**

Да. В Москве и Новосибирске. Когда летом 1941 года в Москву прибыл английский полковник Гиннесс, чтобы обсудить с советскими коллегами создание в тылу противника совместного невидимого фронта, Чичаев получил приказ Берия вступить в тесный контакт с представителем британской разведки. Так судьба привела Ивана Андреевича в Лондон.

Работая руководителем советской миссии связи и уполномоченным СССР при правительствах союзников, полковник Чичаев смог познакомиться со многими выдающимися историческими личностями. Среди них были, например, король Норвегии Хокон VII, генерал де Голль, лейбористский лидер — Этли, польский генерал Сикорский, президент Чехословакии Бенеш... Советский полковник часто посещал британские разведшколы, закрытые военные базы и аэродромы. Тайные боевые действия сблизили Чичаева не только с англичанами. Он был желанным гостем также в посольствах Бельгии, Голландии, Норвегии, Польши, Чехословакии, Югославии, Франции. Когда возникла необходимость, британский военный самолет через оккупированную гитлеровской Германией территорию доставил Чичаева в Москву. Там его тепло

встречали Молотов и посол Великобритании сэр Арчибалд Керр.

**— Фантастическая биография! Какой из эпизодов жизни Чичаева в Лондоне кажется Вам наиболее интересным?**

В контексте истории Латвии интерес могут вызвать отношения Чичаева с президентом Чехословакии Эдуардом Бенешем, которого Иван Андреевич считал мудрым и очень ловким государственным деятелем. Рассуждая, что политика без разведки — вообще не политика, президент однажды показал Чичаеву копию своего письма, адресованного Сталину. Это было предупреждение об агрессивных планах гитлеровской Германии в отношении Советского Союза. В нем почти точно указана роковая дата июня 1941 года. Поэтому Бенеш считал себя провидцем.

**— Вероятно, Сталин был благодарен Бенешу за такое предупреждение?**

Да, очень. После освобождения Чехословакии от гитлеровской оккупации советником посольства СССР в Праге был назначен Чичаев. Думаю, что для Эдуарда Бенеша это было неожиданностью, и вряд ли президент-провидец предполагал, что вскоре его постигнет участь нашего Карлиса Улманиса.

**— Когда Бенеш подал в отставку с поста президента страны и какие силы подготовили эту смену власти в Чехословакии?**

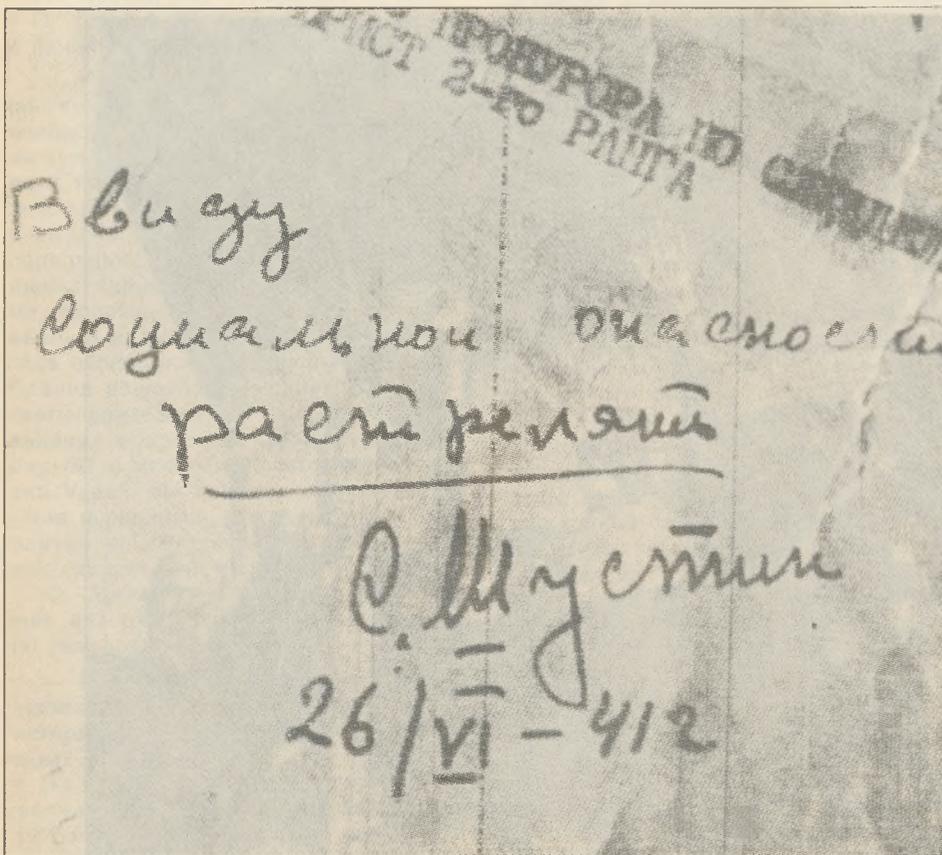
Все началось с выборов в Национальное собрание в мае 1946 года. Национальный фронт Чехословакии получил тогда 40% голосов и коммунист Клемент Готвальд стал премьер-министром. Это можно назвать переходным периодом наподобие лета 1940 года в Латвии. В этот период Бенеш еще выполнял функции президента страны. С этого поста его сняли в феврале 1948, мотивируя тем, что государству грозит переворот правых сил...

**— Видите ли Вы еще какие-нибудь совпадения в чехословацких событиях и истории Латвии?**

И в Латвии, и в Чехословакии дипломатическая деятельность Чичаева длилась два года. Готовясь к решающим событиям, СССР сменил там руководителей своих дипломатических служб, и в обоих государствах Чичаев стал фактическим проводником советской внешней политики.

**— Простите, но в мае 1940 года вместо бывшего посла Зотова в Риге сразу же был аккредитован Деревянский.**

Хотя до нападения СССР на Финляндию Деревянский руководил советским посольством в Хельсинки, все же он, по профессии инженер, был не столь искушен в искусстве дипломатии, как Чичаев. К тому же, новому послу еще надо было «акклиматизироваться» в Риге. Недаром Вышинский поселился в квартире Чичаева.



Образец почерка Симона Шустина.

ва, когда в июне 1940 года прибыл в Ригу. Там поздними вечерами они анализировали сделанное за день и планировали, что предстоит сделать завтра.

— Вызывал ли Сталин Чичаева к себе и из Праги?

Да. Второй раз в своей жизни Чичаев почувствовал сверлящий взгляд Сталина 25 июля 1946 года. На сей раз они жали друг другу руки на банкете, устроенном в Кремле в честь делегации вновь назначенного правительства Чехословакии. Готвальд сидел напротив Иосифа Виссарионовича, а Чичаева усадили между Маленковым и маршалом Коневым. Практические решения будущих задач Чичаев уже обсудил наедине с Молотовым днем раньше. За праздничным столом звучали только тосты и поздравления. После трапезы все просмотрели любимый фильм Иосифа Виссарионовича «Трактористы». По настроению этот банкет созвучен одному событию в Латвии 20 июля 1940 года. Тогда в «Белом доме» на ул. Валдемара, 35 собрались радостные депутаты вновь избранного Сейма. Их приветствовали Вышинский, Чичаев и другие видные советские представители. Тосты звучали за полночь. Правда, фильм «Трактористы» показать не удалось, в зале не было ни экрана, ни соответствующей аппаратуры. Зато звучали песни, которыми новых депутатов тешила откомандированная из Москвы латышка Ирма Яунземе и другие советские артисты. Утром следующего дня сто депутатов единогласно решили дальнейшую судьбу Латвии — в республике провозгласили советскую власть, обратились к Верховному Совету СССР с просьбой принять нас в семью братских советских народов... По непонятным причинам, депутаты забыли, что Блок трудового народа, который они представляли, в своей предвыборной программе не упоминал ни советскую власть, ни присоединение к Советскому Союзу.

— Не дали ли депутатам право провозгласить в Латвии советскую власть народные демонстрации, состоявшиеся незадолго до этого?

Мы тоже участвуем в демонстрациях. Но, шагая в колонне, не можем знать, какие лозунги несут другие шеренги, например, какой плакат у Дома политпросвещения показывает Модрис Луянс, когда мы находимся уже у памятника Свободе. Для того и существуют в цивилизованном мире конституции, регулирующие правовым способом решения жизненно важных для народа вопросов. У демонстраций совсем другая общественная функция. В данном случае депутаты Сейма обязаны были руководствоваться статьей 77 Конституции Латвии и вопрос о советской власти следовало передать на всенародное голосование. Мандат депутата — не *carte blanche*,

полномочия депутата юридически строго регламентированы.

— Обычно события лета 1940 года трактуются как дружеская помощь Советского Союза, оградившая Латвию от гитлеровской агрессии.

Газета «Правда» в своей передовице от 5 июля 1940 года высказывает несколько иное мнение. Цитирую: «Писаки англо-французской прессы с целью провокации и введения в заблуждение общественности распускают в своей стране и во всем мире слухи, что меры безопасности, предпринятые Советским Союзом вблизи своих северо-западных, западных и южных границ, направлены против Германии. Эти господа лгали и лгут по заказу генеральных штабов Англии и Франции».

— Вернемся ненадолго в послевоенную Чехословакию. Когда и как Иван Чичаев завершил там свою деятельность?

Ему не удалось дождаться окончательной победы Готвальда. Вероятной причиной его отъезда из Праги весной 1947 года могла быть его речь в словацком городе Кошице. Как местная, так и американская и английская печать расценила ее как грубое вмешательство дипломата Советского Союза во внутренние дела Чехословацкого государства.

— Что же такое сказал Иван Андреевич?

Он предупредил представителей оппозиции, что Советский Союз не останется равнодушным к тому, что делается вблизи его границ.

— Не рассказывал ли Вам Чичаев, почему покончил жизнь самоубийством министр иностранных дел правительства Национального фронта Ян Масарик?

Чичаев сказал, что это произошло при весьма странных обстоятельствах. Ником образом не хочу проводить параллели с самоубийством командующего пограничными войсками Латвии генерала Болштейнса 21 июня 1940 года, однако думаю, что оба трагических события ясно свидетельствуют: и Чехословакия, и Латвия пережили насыщенные драматизмом исторические повороты, при которых даже закаленные люди не всегда находили в жизни выход.

— Сталин... Молотов... Берия... Вышинский... Чичаев... Латковский... Шустин... Не существовали ли все же в руководстве Компартии Латвии в 1940 году наряду с таким раскладом сил и антисталинские тенденции?

Мне лично не известно о таких тенденциях, имеющих принципиальное значение, а не являющихся проявлением мелких разногласий. Если отражением политики, тактики и стратегии Компартии Латвии считать орган ЦК КПЛ «Циня», то в этой газете антисталинская направленность впервые начала проявляться только в 1956

году после XX съезда КПСС, когда сам Сталин был уже мертв. Хочу подчеркнуть, что жестокие судебные процессы 30-х годов в Москве вызвали острые и весьма принципиальные споры в международном рабочем движении. Коммунисты Латвии в этой дискуссии заняли явно выраженную сталинистскую позицию. Об этом свидетельствует «Циня» № 1 и 4 за 1937 год, № 2 и 3 за 1938 год).

— Как известно, большинство проживающих в СССР латышей в 30-е годы были репрессированы, многие даже расстреляны. Не свидетельствует ли это, что некоторая оппозиция все-таки существовала?

По-моему, нет оснований сомневаться в единодушном мнении ученых, что наших земляков тогда судили на основе лживых обвинений. Из этого можно сделать вывод, что осужденные были лояльно настроены к существовавшему режиму. Как исключение надо упомянуть Иварса Смилга, ни от кого не скрывавшего своей антисталинской позиции, почему он и был репрессирован еще до начала больших процессов. Трагедия Смилга закономерна. Но как рядом с ней оценить биографию Якова Алксниса?.. И он расстался с жизнью как жертва Сталина. Но до этого 11 июля 1937 года, когда специальный состав суда огласил смертный приговор Тухачевскому, Эйдеману, Якиру, Уборевичу, Корку, Фельдману, Примакову и Путне, одним из подписавших этот кровавый приговор был легендарный Яков Алкснис. При изучении таких противоречивых исторических событий наши историки иногда руководствуются по-человечески очень понятным, но отнюдь не самым научным критерием — боязнью, что перед судом истории не все выглядит так красиво, как должно бы. Где по таким тактическим соображениям частично или полностью скрывается правда, там начинается ложь. На сей раз я позволил себе говорить только о тех упрямых фактах, с которыми мне пришлось столкнуться в своей литературной деятельности.

— Может быть Вы хотите в конце разговора добавить что-нибудь?

Историки упрекают, что они чересчур медленно разрабатывают новую концепцию 1940 года. Мне кажется, что спешка подталкивает на замену исследования прошлого элементами однодневной пропаганды, что очень скоро приведет ученых к новому тупику. Чтобы появилась концепция, необходимо прежде всего открыть все спецфонды, существующие в явной или завуалированной форме. Только так можно преодолеть вакуум исторической информации, созданный в свое время для достижения цели, имеющей очень емкое, безжалостное и точное имя. Манкуртизм.

С Виктором Лоренцем беседовал  
АНДРЕЙС КРАУЛИНЬШ.

Б. П. Вышеславцев относится к той категории русских философов XX века, которые, несмотря на активную писательскую деятельность, не оставили все же законченной философской системы. Причем, если для мыслителей типа Н. А. Бердяева или И. А. Ильина само системоторчество было лишь «философским предрассудком», то для таких философов, как Вышеславцев, с их юридическим образованием и принадлежностью в молодости к немецкой школе систематического философского творчества, недоговоренность и незаконченность не были органичны, а явились результатом либо условий существования, либо каких-то внутренних, психологических причин. В случае Вышеславцева и те, и другие совпали, и он так и не выразил до конца своих взглядов на многие важные вопросы. Но, несмотря на это, «философские построения Вышеславцева сохраняют всю свою значительность и даже больше: в них есть семена, могущие дать обильный рост» (прот. В. Зеньковский). Согласитесь, что трудно дать более высокую оценку философу.

Борис Петрович Вышеславцев родился в Москве в 1877 году, в семье присяжного поверенного. В 1895 г. он поступает на юридический факультет Московского университета, где находит своего «учителя» П. И. Новгородцева (1866—1924), выдающегося философа и правоведа. После окончания университета Вышеславцев несколько лет занимается адвокатурой, но вскоре оставляет ее для занятия философией. Молодой ученый становится постоянным участником заседаний Московского религиозно-философского общества им. Вл. Соловьева, о котором писал впоследствии: «Здесь собирались русские философы и писатели и господствовал подлинный философский диалог, касающийся предельных тем на границе философии и религии, впрочем, и вообще всех актуальных философских тем».

После сдачи магистерского экзамена Вышеславцев принимается за первый свой большой труд, который выходит в Москве в 1914 году, — «Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе трансцендентальной философии». Эта работа привлекает внимание ведущих русских философов своим нетрадиционным подходом к творчеству немецкого мыслителя, в частности, на нее пишет положительную рецензию С. Л. Франк в журнале «Русская мысль», кн. V за 1915 г. Вышеславцев подчеркивает иррациональные моменты в философии Фихте и убедительно доказывает, что Фихте в своем умозрении устремлен к Абсолютному, понимание которого не может быть исчерпано в понятиях и категориях. Из этой устремленности к Абсолюту вытекает у Фихте особое внимание к интуиции, нераздельно связанной, по Вышеславцеву, с рациональным мышлением. Такое толкование философии Фихте говорит о Вышеславцеве как об очень проницательном историке философии (через несколько лет другой русский философ — И. А. Ильин — дал столь же оригинальную трактовку философии Гегеля, причем в том же ключе).

Работа о Фихте приносит известность Вышеславцеву в столичных научных кругах и он становится штатным доцентом, а с 1917 г. — профессором Московского университета. Вышеславцев активно участвует в бурной научной жизни пяти первых послереволюционных лет; включается в работу созданной по инициативе Н. А. Бердяева московской Вольной Академии духовной культуры, где читают курсы лекций С. Франк, Ф. Степун, Вяч. Иванов, А. Белый; участвует в многочисленных дискуссиях и обсуждениях. Но в 1922 г. большевики высылают Вышеславцева из России в Берлин вместе с Бердяевым, Франком, И. Ильиным, Л. Красавиным и др. К счастью, немецкое правительство в то время хорошо отнеслось к философам-эмигрантам из России и они получили возможность наладить научную жизнь в Берлине (а также в Париже, Белграде, Праге и др. культурных центрах Европы). Присутствие стольких профессоров позволило основать в столице Германии Русский научный институт с несколькими отделениями, в организации которого принимал непосредственное

участие Вышеславцев. В Берлине создается также (снова по инициативе Н. А. Бердяева) русская Религиозно-философская академия, которая явилась как бы продолжением московской Вольной Академии. Но со временем жизнь в Берлине становится трудной и с материальной, и с социальной точки зрения, потому большинство философов переезжают в Париж, который с конца 20-х годов становится «столицей» русского зарубежья. Вышеславцев участвует во всех научных начинаниях в Париже: читает курсы лекций на Русских факультетах при Парижском университете (которые называли Курсами при Сорбонне) и вместе с Н. А. Бердяевым и П. Ф. Андерсоном руководит русским отделением издательства УМСА-Press; преподает в Православном Богословском Институте в Париже (Институт Преподобного Сергия); регулярно выступает с публичными докладами, которые привлекают интеллектуальную элиту русского зарубежья, сам участвует в многочисленных дискуссиях и обсуждениях; печатает статьи в ведущих эмигрантских журналах и газетах; выпускает несколько философских трудов (из самых значительных — «Человеческое сердце в индуизме и христианском мистицизме» и «Этика преображенного Эроса»). Умер Вышеславцев в Женеве в 1954 г. Уже после его смерти вышли в свет два больших его труда: «Вечное в русской философии» и «Философская нищета марксизма».

В эмиграции Вышеславцев сближается с учеными из круга выдающегося психолога и философа К.-Г. Юнга, принимает участие в сборниках научных трудов юнгианцев. Это очень важная сторона научной деятельности Вышеславцева, т. к. он дал христианскую интерпретацию современных психологических теорий и в результате показал с необычной стороны существенное различие между учениями З. Фрейда (психоанализ) и его ученика Юнга (аналитическая психология). Для Вышеславцева сведение духовной жизни к сексуальным мотивам у Фрейда есть «спекуляция на понижение» (определение М. Шелера). И в этом Вышеславцев (вслед за С. Л. Франком в статье «Психоанализ как мирозерцание» — «Путь», Париж, кн. 25) видит близость учений Фрейда и К. Маркса, у которого сведение истории и культуры к «экономическим интересам» есть та же «спекуляция на понижение». Эта тема сегодня очень актуальна, поэтому я остановлюсь на ней подробнее.

По убеждению Вышеславцева, подлинная философия всегда разворачивает некую «систему ступеней бытия», где «каждая ступень раскрывает новое качество бытия». Эти ступени, в упрощенном виде, следующие.

1. Категории физико-математического бытия (материально-пространственные процессы).
2. Категории органического бытия (растительно-животные процессы).
3. Категории бытия психического (сознание и подсознание). Это царство природы; над ним возвышается царство духа и свободы. Дух и свобода одно.
4. Категория бытия духовного, тоже имеющего несколько ступеней: наука, техника, экономика, право, мораль, искусство, религия.»

Но эта лестница ступеней бытия является одновременно иерархией ценностей, которая подчиняется закону включения низших ступеней в высшую, когда низшая ступень присутствует в высшей, но не исчерпывает ее (ибо в лестнице ступеней бытия от первой ступени к последней идет накопление сложности и многообразия, а потому верхние ступени богаче и ценнее низших). Этот закон, сформулированный первоначально Аристотелем (в категориях формы и материи) и окончательно Гегелем (диалектическое «снятие»), диктует и особое понимание человека, который «во всей полноте своей есть механизм, химизм (обмен веществ), организм: есть неодушевленное растение, одушевленное животное, и, наконец, творчески-свободный дух».

При таком понимании соотношения формы и материи (где каждая низшая ступень становится в своем развитии материей для высшей ступени, которая, соответствен-

но, является формой для низшей) можно увидеть как самую возможность материализма, так и его главную ошибку: «Материализмом будет сведение (редукция) всякой высшей формы к ее низшей материи». Для Маркса такой материей являлось хозяйство (производство и распределение), а для Фрейда — сексуальность. Общим же у них служит спекуляция на понижение, где культура объявляется только хозяйством (марксизм), духовность только сексуальностью (фрейдизм), человек только животным организмом (вульгарный материализм) и т. д. Но это движение вниз ничего ровным счетом не объясняет, т. к. приводит не к ответу на «последние, проклятые вопросы», а лишь к снятию самих вопросов. Для подлинного объяснения необходимо движение вверх, но как раз это восхождение и неприемлемо для марксизма, т. к. приводит, в конце концов, к последней, абсолютной вершине, к Абсолютному Духу, к Богу.

Этой спекуляцией на понижение не ограничивается ошибочность марксизма, т. к. он имеет не только теоретическое, но и практически-житейское значение (философия здравого смысла), когда «сведение всего к какой-либо низшей материи, которая тогда делается последним основанием и фундаментом всего — как у Маркса экономический фундамент — есть с одной стороны признание этого фундамента, как существенной реальности, но с другой стороны, признание его, как главной ценности». Если хозяйство есть самое существенное в социальной жизни, то оно есть и самое ценное, и, следовательно, «экономический материализм есть суждение оценки, из которого вытекает практическое поведение», т. е. «теоретическая философская «спекуляция» превращается в практическую норму поведения, в ставку на низшие ценности».

И в этом особая притягательная сила материализма и марксизма как практического руководства к действию (в бунте, революции, но и в политике вообще); этим он захватил широкие народные массы в начале века в России. «Замечательно то, — пишет Вышеславцев, — что игра на понижение в теории и практике всегда будет наиболее популярна. (...) Спуск всегда легче возвышения — это закон косности человеческой природы, линия наименьшего сопротивления. С каким восторгом человек узнает, что он произошел от обезьяны, что он только животное, только материя, что святая любовь есть только сексуальность и т. д. По-видимому всякое «только» доставляет глубокое облегчение, тогда как всякое «не только» тревожит, побуждает к усилию. С каким увлечением и с какой виртуозностью люди раскрывают всяческую «подноготную», обнаруживая всюду корысть и похоть. Для лакея нет великого человека и для хама всякий вышестоящий есть «деспот, пирующий в роскошном дворце». Это пафос понижения здравого смысла, по Вышеславцеву, «пафос профанации», сущность которого состоит в сведении всего возвышенного на низменные мотивы (религия есть страх и корысть священников, любовь есть сексуальность и т. д.) и в убеждении, что все возвышенное есть только иллюзия. «Отсюда, — пишет философ, — эстетическая и этическая отвратность марксизма, отсюда — абсолютная неудача всякого марксистского искусства, отсюда — хамский стиль прессы...» И главное, к чему приводит спекуляция на понижение и пафос профанации: «В результате — нет ничего святого, а отсюда — последний шаг: приятие преступления». Вышеславцев много раз возвращался к критике марксизма. Уже после смерти философа вышел основной его труд по этому вопросу «Философская нищета марксизма», который до сих пор остается одним из основных по философской критике марксизма. При этом важно иметь в виду, что Вышеславцев критически анализировал не только классический марксизм, но и его советский вариант, что редко встречается у значительных философов. Вот пример оценки Вышеславцевым исканий в СССР: «За 36 лет не могло появиться ни одного самостоятельного философского труда, не могло быть выражено ни одной оригинальной мысли,

выходящей за пределы марксизма, который все еще топчется на своем тезисе и никак не может перейти к анти-тезису».

Перед русским народом, который сейчас медленно выходит из состояния летаргического сна, встают многие старые вопросы, на которые он так и не успел ответить в свое время, ибо ему после 1917 года сначала зажали рот, а потом и вовсе усыпили ум и совесть. Один из таких вопросов — отношение к своему наследию и восприятие его в контексте мировой истории и культуры. Немало сил потратили на разрешение этого вопроса русские мыслители XIX и XX веков, не обошел его и Вышеславцев: «Что может быть отвратительнее тупого самомнения и ограниченного самодовольства, изображенного на лице человека, или, еще хуже, большими буквами написанного на лице целой нации! Но не менее отталкивают слезливое самоуничуждение и полное отсутствие благородной гордости. И то, и другое свидетельствует о безнадежном застое в мысли и в действии».

Вышеславцев справедливо указал на эти крайности в отношении русского народа к своей истории и культурной традиции. Вот чего в ней явно не хватало, так это трезвости и спокойствия в оценке своего собственного существования и в отношении к своим близким и дальним соседям. И здесь становятся особенно многозначительными рассуждения Вышеславцева о необходимости «воли и покоя» для народа у Пушкина, так как действительно без свободы никогда не будет спокойствия (раб или мертв душой, равнодушен, или же истеричен в бунте), но и без спокойной работы ума и духа недостижима подлинная свобода (не может быть свободы на развалинах и обломках, ибо она в таком случае приведет либо к смерти, либо к новой тирании). И эта же спокойная свобода диктует истинное отношение к своему культурному и историческому наследию.

«Память и история есть первое преодоление смерти», писал незадолго перед смертью Вышеславцев, и тут же вспоминается знаменитое определение культуры (которая в какой-то из своих сторон раскрывается как именно историческая память) о Павлом Флоренским: «Культура есть борьба с мировым уравниванием — смертью». Эти слова двух выдающихся мыслителей можно воспринимать как призыв к нам, поскольку мы однажды вознамерились в своем бунте своеволия разрушить культуру (создавая призрачную культуру «Соцреализма»), историю (создавая партийную псевдо-историю) и память (лишая человека чувства собственного духовного достоинства, когда он осознает себя укорененным в мыслях и делах предков и через них — в истории и космосе). Это призыв к нам восстановить и возродить все, что еще можно восстановить.

Я уверен, что в скором времени все труды Вышеславцева будут опубликованы на его Родине, а пока, как первый шаг в знакомстве с наследием этого интереснейшего мыслителя, мы предлагаем его статью об А. С. Пушкине, 190-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году.

Статья Вышеславцева о Пушкине — это явление во многих отношениях характерное для русских философов, писавших о литературе. Это прежде всего взгляд на того или иного художника слова как на мыслителя и «идеолога» (см. для сравнения написанную в таком же ключе статью о Пушкине С. Л. Франка — «Вопросы философии», № 10 за 1988 г.), когда поэтические или прозаические произведения служат не эстетическим объектом, а источником идей. Такой подход укоренен в русской традиции, в особенности по отношению к творчеству Н. Гоголя, Л. Толстого и Ф. Достоевского, которые традиционно включаются в курсы истории русской философии (Н. О. Лосский, прот. В. Зеньковский, С. Левицкий). Но статья Вышеславцева интересна и самим изложением, т. к. этому своеобразному философу в полной мере свойственны «изящество слога, ясность мысли, четкость анализ» (прот. В. Зеньковский).

## МНОГООБРАЗИЕ СВОБОДЫ В ПОЭЗИИ ПУШКИНА

Проблема свободы и рабства, свободы и тирании является сейчас центральной мировой проблемой, она же всегда была центральной темой русской философии и русской литературы. Пушкин есть прежде всего певец свободы. Философия Толстого и Достоевского есть философия христианской свободы и христианской любви. Если Пушкин, Толстой и Достоевский выражают исконную традицию и сущность русского духа, то следует признать, что она во всем противоположна материализму, марксизму и тоталитарному социализму. Русская философия, литература и поэзия всегда была и будет на стороне свободного мира: она была революционной в глубочайшем, духовном смысле этого слова и останется такой перед лицом всякой тирании, всякого угнетения и насилия. Гений Пушкина является тому залогом: «Гений и злодейство — две вещи несовместимые». Неправда, будто русский человек склонен к абсолютному повиновению, будто он является каким-то рабом по природе, отлично приспособленным к тоталитарному коммунизму. Если бы это было верно, то Пушкин, Толстой и Достоевский не были бы выражением русского духа, русского гения. Поэзия Пушкина есть поэзия свободы от начала до конца.

О чем поет? Поет она свободу,  
Не изменилась до конца.

Полнота жизни, полнота личности есть полнота творческой свободы. Кто ее не переживал, тот не может философствовать о свободе. И Пушкин изображает это переживание на всех его ступенях: от простого «самодвижения» и спонтанности жизни, от бессознательного инстинкта «вольности» — вплоть до высшего сознания творческой свободы, как служения Божеству, как свободного ответа на Божественный зов.

Нет слова чаще встречающегося в поэзии Пушкина, чем «вольность» и «свобода»; и нет, кажется, слова более многозначительного на языке человеческого; и вот поистине он раздвигает все его значение, дает пережить всю многоликость, неисчерпаемость и противоречивость свободы. Все, что он отрицает и ненавидит, связано с неволей, насилием, принуждением, тиранией, самовластием. Все, что он любит, ценит, чем восхищается, что привлекает его внимание, соединено со свободой, есть ее воплощение, ее символ, или она сама: «Море — свободная стихия», «Гроза — символ свободы», ветер, орел, птичка, сердце девы — и, наконец, сам поэт — все это живет и дышит только свободой: «Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона». Старый цыган говорит в ответ на ревнивую тиранию Алеко: «К чему? Вольнее птицы младость, кто в силах удержать любовь?» Эта природная, стихийная, космическая свобода есть элемент его души. Его увлекает кочевая вольность цыган, и в ком из русских ее нет? «Как вольность весел их ночлег...» С ними он «вольный мира житель». И грустно ему, когда уходят вдаль «Телеги мирные цыганов, Смирненной вольности детей...» Все живое ищет свободы и страдает в окопах, как птица в клетке. Эту вольность он чувствовал в себе и сочувствовал ей всюду, где ее встречал.

Та же свобода влечет и его самого: свобода полета, свобода странствий, свобода «увидеть чуждые страны». Всю жизнь он мечтал увидеть Италию, которая «свята для внуков Аполлона»: «ночей Италии златой я негой наслажусь на воле»... Море манит его горизонтом свободы:

По вольному распутию моря  
Когда ж начну я вольный бег?

Придет ли час моей свободы?  
Пора, пора! Взываю к ней;  
Брожу над морем, жду погоды,  
Маню ветрила кораблей...

Но если ему не суждено увидеть Италию, или Париж, или «в Германии туманной вкусить учености плоды», то и в родной деревне его соблазняет «праздность вольная, подруга размышленья», «леность беспечная и свободная»; «я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы»... Но истинный смысл свободного досуга заключается для него, конечно, в творчестве: «В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны»... Искусство для него мыслимо, конечно, не иначе, как «вольное искусство». Даже пировать с друзьями он любил лишь тогда, если «свобода, мой кумир, за столом законодатель». Но, конечно, не одну только стихийную или индивидуальную, творческую свободу воспевает Пушкин; он знает, что она нераздельно соединена со свободой гражданской и политической. В ней заключается истинная сила и слава народов: республиканский Рим возбуждает в нем уважение («я сердцем римлянин, кипит в груди свобода!»). В ней же слава и честь царей: он воспевает Александра «словами истины, свободными, простыми», не за империализм, а за то, что он несет народам Европы освобождение: «Ужель свободны мы? Ужели грозный пал?». Европа обнимает царя «освобожденною от рабских уз рукою». Даже величие Наполеона не в его самовластии, а в том, что «он миру вечную свободу из мракасылки завещал»... Для себя самого, для России, для всего мира русский поэт ждет этой свободы: «Мы ждем с томленьем упованья минуты вольности святой» (Чаадаеву). Ода «Вольность» выражает высший социальный, правовой и политический идеал поэта. Два мощных слова найдены для его запечатления:

Народов вольность и покой.

Так писал он в молодые годы, и вот как к концу дней своих он выразил высшую ценность личности, индивидуальной жизни:

На свете счастья нет,  
Но есть покой и воля.

Вольность и покой — покой и воля, таковы альфа и омега его поэзии. Поистине он мог бы сказать о своей лире: «О чем поет? Поет она свободу, не изменилась до конца!». В этом он видит тему зрелого своего творчества и противоположность поэзии юности, воспевавшей любовь, друзей, пиры, «Вакха и Киприду». Тоже вольность, но вольность иного произвола. Отныне он решает иное:

Разбей изнеженную лиру —  
Хочу воспеть Свободу миру,  
На тронах поразить порок.

Но может ли человек окончательно отказаться от свободы, потерять самое чувство, самый инстинкт свободы? С точки зрения рефлексологии Павлова приходится ответить отрицательно, ибо существует безусловный рефлекс, свойственный всему живому: пойманное животное, насекомое, даже растение делают все движения для освобождения, тоже, конечно, и человек. Все живое хочет «дышать свободно», т. е. на всякое препятствие каким-либо жизненным функциям отвечает безусловным рефлексом освобождения. Откуда же в таком случае потеря свободы, властвование и подчинение? Дело в том, что существует другой рефлекс, столь же безусловный, столь же фундаментальный для всего живого, но противоположный первому: это безусловный рефлекс власти,

захвата, присвоения, овладения. Ребенок схватывает каждую вещь и тянет себе в рот, животное стремится догнать и схватить добычу; человек стремится захватить, присвоить и подчинить себе все, что может, и прежде всего своего ближнего. Похоть господства есть одна из самых сильных страстей. Эти два противоположных инстинкта или два врожденных рефлекса (Павлов говорит, что рефлекс и инстинкт — это то же самое) безусловны в том смысле, что они даны по природе, даны от рождения, им не нужно учиться, они не созданы культурой, они элементарны и стихийны, как сама жизнь. Но культура может их воспитывать, облагораживать, превращать из стихийных сил в культурные ценности. Они противоположны и потому могут противоречить друг другу: конфликт власти и свободы есть постоянная тема личной жизни и жизни народа. Но они могут быть согласованы друг с другом, могут восполнять друг друга и служить друг другу (такова власть права и справедливости, защищающая свободу). Здесь лежит целый узел проблем, отсюда разворачивается сложная диалектика свободы. Она присутствует во всем творчестве Пушкина. Трагизму власти и свободы посвящены главные его произведения: «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «История Пугачевского бунта», «Скупой рыцарь», «Полтава», «Андрей Шенье», «Вольность». Пушкин знал до конца, в чем состоит этот трагизм, знал и то, в чем состоит его разрешение. Трагизм власти в том, что она может быть соединена с преступлением; разрешение трагизма состоит в оправдании власти, в том, что она может дать личности и народу «вольность и покой».

Трагический конфликт есть источник мудрости, ибо он пробуждает и очищает дух и требует решения. Но мудрость поэтов, мудрость Пушкина, выражает себя иначе, нежели мудрость философов, ученых и политиков: не в понятиях и доказательствах, не в системах и в учениях, не в идеологиях — но в живых образах, в символах, в разных воплощениях прекрасного слова.

Воля к власти, так же как и воля к восстанию и освобождению изображается у него в ряде живых людей. Он глубочайшим образом проник в психологию того рода людей, который был ему самому абсолютно противоположен: люди, жаждущие власти и требующие подчинения, живут не для чего иного, как «для житейского волнения, для корысти и для битв». Их крайнюю противоположность составляют люди подлинной и высшей свободы, такие, которые не ищут власти и не принимают подчинения. Они суть истинно «свободнорожденные» и живут «для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Из этих слов ясно, кто эти люди: это поэты, художники, ученые, мыслители, пророки, апостолы — люди творческого духа, люди «вдохновения» («поэты» в греческом смысле этого слова, т. е. «творцы»). Пока они верны своему призванию, они не хотят «ни царствовать, ни господствовать»<sup>1</sup>. Пушкин указал на высокое предназначение: «божественный глагол» призывает их к свободному служению через красоту, истину, мудрость и пророческое слово («глаголом жги сердца людей»). Такие люди «не надеются на князей, на сынов человеческих» . . . «К ногам народного кумира не клонят гордой головы». К ним принадлежал сам Пушкин, к ним же принадлежал и Павлов. Не следует забывать при этом, что рефлекс свободы врожден каждому человеку, хотя далеко не каждый достигает той высшей духовной свободы, которую Пушкин противопоставил «житейскому волнению».

Из этого не следует, что свобода понятна и ценна только каким-то аристократам духа: открытия и откровение есть удел немногих, но пользование открытиями есть удел всех, и для этого тоже нужна свобода. Свобода слова и мысли одинаково нужна как тем, кто имеет нечто сказать, так и тем, кому нужно нечто услышать. Способность воспринимать чужое творчество, питаться и восхищаться им есть тоже активность свободного духа. Если Пушкин дорог нам всем, то это значит, что вольность Пушкина, «святая вольность» еще звучит в каждой душе.

Удивительно то, что, изображая типы людей ему противоположных, Пушкин угадал и определил их бессознательную сущность, их основной инстинкт, совершенно аналогично тому, как это делал в наши дни Павлов в своей рефлексологии или как это делает современный психоанализ. Пушкин определил их через «корысть и битвы»; но это два проявления одного и того же врожденного инстинкта захвата, завоевания, покорения, присвоения. Война была источником рабства и ограбления. «Корысть и битвы» — «злато и булат», вот две формы захвата власти, две формы похоти господства:

Всё мое, сказало злато;

Всё мое, сказал булат.

Богатство через власть или власть через богатство, — но всегда власть в конце концов. Материализм со своей психологией «интересов» ничего в этом не понимает. Скупой рыцарь говорит: «мне все подвластно, я же ничему; я знаю власть мою, с меня довольно сего сознания . . . И музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поробится, и добродетель и смиренный труд». Совершенно то же самое и с гораздо большим правом и основанием мог бы сказать современный вождь любого тоталитарного государства. При этом богатство через власть гораздо надежнее, нежели власть через богатство: последнее всегда может быть отнято властью.

Несмотря на упоение властью, скупой рыцарь, однако, несчастлив, как настоящий властитель и царь Борис Годунов: «Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной душе . . .» Почему же счастья нет, спокойствия нет? А потому, что «жалок тот, в ком совесть не чиста», потому, что «мальчики кровавые в глазах», потому, что власть соединена с преступлением и существует «когтистый зверь, скребущий сердце — совесть: нежданный гость, докучный посетитель . . .» Далеко не всякая власть оправдана и слишком часто она связана с преступлением («я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть, в них знак моей читая воли»).

Удивительно то, что это остается верным для самых различных носителей власти: для Иоанна Грозного, не лишенного величия, но и преступного безумия; для Бориса Годунова, трезвого, умного и вовсе не жестокого. Даже лучшие наши монархи, как Екатерина Великая, Петр Великий, Александр «Благословенный», связаны с преступлением (мужеубийством, сыноубийством, отцеубийством). Принятие преступления есть ахиллесова пята власти. Трудно решить, можно ли совершенно уничтожить в человеке совесть (например при помощи материалистического миросозерцания, при помощи атеизма), но одно несомненно: невозможно устранить тревогу и страх тиранов, вечную угрозу свержения власти. Этот страх защищается устрашением, т. е. террором. Отсюда возрастающая бдительность и тревога власти, ибо безусловный рефлекс свободы неуничтожим. Таково трагическое противоречие власти; казалось бы, давно найдено его разрешение в современном праве и государстве, но нет, оно стоит перед нами во всей своей силе и сейчас и снова требует разрешения. Вот почему высшая свобода духа отвергает тот демонический элемент, присущий власти, который составляет ее вечное искушение и который был отвергнут Богочеловеком: необходимость преклониться пред духом зла. («Дам Тебе власть над всеми царствами мира, если падши поклонись мне, ибо она принадлежит мне, и я кому хочу даю ее»). Вот почему так часто возлагать надежду на сильную власть, как на единственное средство спасения: «не надейся на князи . . . в них бо нет спасения», но еще меньше можно надеяться на пугачевых, на самозванцев, узурпаторов, революционных тиранов, «вождей» всякого рода, еще меньше можно называть их «гениями». Здесь должно прозвучать суровое слово поэта: «гений и злодейство — две вещи несовместные!» Гений и вольность — две вещи нераздельные! Вольному гению нет места среди тиранов и рабов.

<sup>1</sup> Сократ сохранил эту верность, Платон — нет.

Вольный гений России, вольный гений Пушкина, который никому и никогда не покорялся: ни Александру, ни Николаю, ни Пугачеву, ни декабристам, ни якобинцам, ни «общественному мнению», ни социальному заказу, ни общей полезности. Лишь одному зову он покорен: «Божественному глаголу», лишь только он «до слуха чуткого коснется».

Но Пушкин изображает не только трагедию власти, но и трагедию свободы. Обе тесно связаны между собой. Свобода может переходить в произвол, в своеволие страстей, в разбойничью «вольницу», в народный бунт «бессмысленный и беспощадный» и, наконец, в тиранию. Тиранин отнимает всю свободу у всех и присваивает ее исключительно себе. Но такая «свобода» есть преступный произвол, уничтожающий подлинную свободу. «Ты для себя лишь хочешь воли», — говорит старый цыган тираническому Алеко. Тирания ревности делает его убийцей, и вот что говорит ему истинная «вольность»:

Мы дики, нет у нас законов,  
Мы не терзаем, не казим,  
Не нужно крови нам и стонув;  
Но жить с убийцей не хотим.

В истории народов и царей дело не решалось с такой мудрой простотой.

Трагедия власти состоит в том, что она пробуждает протест революционной свободы; трагедия революционной свободы состоит в том, что она пробуждает врожденный инстинкт власти в самих освободителях. Свержение власти превращается в присвоение власти, и при том наихудшей. Трагедия власти и свободы сводится к одной и той же теме тирании и ее свержения:

Питомцы ветреной Судьбы,  
Тираны мира! трепещите!  
А вы, мужайтесь и внемлите,  
Восстаньте, падшие рабы!

Начало трагедии дано в оде «Вольность» (1817 г.). Она изображает легальную тиранию и ее свержение. Дальнейшее развитие трагедии дано в «Андрее Шенье» (1825 г.), где появляется другая тирания, свержающая первую, тирания революционная. Но вечный протест вольности против неволи выражен здесь в таких словах, которые применимы ко всякой тирании, ибо выражают самое ее существо:

Увы! Куда ни брошу взор,  
Везде бичи, везде железы,  
Законов гибельный позор,  
Неволи немощные слезы;  
Везде неправедная Власть

Воссела — Рабства грозный Гений  
И Славы роковая страсть.

Ко всякому тирану на земле, к бывшему и будущему одинаково, могут быть отнесены пушкинские слова пророческого гнева:

Читают на твоём челе  
Печать проклятия народы,  
Ты ужас мира, стыд природы,  
Упрек ты Богу на земле.

Пушкин так же, как Толстой и Достоевский, понимал, что злая власть, тирания есть предел зла на земле, царство «Великого Инквизитора».

Первое трагическое столкновение власти и революционной свободы, первое восстание свободы в истории, совершается против патриархальной, легальной тирании.

Поразительно описание того, как позникает перед ним жуткая картина убийства императора Павла в этом жутком и призрачном городе:

Глядит задумчивый певец  
На грозно спящий средь тумана  
Пустынный памятник тирана,  
Забвенью брошенный дворец —  
И слышит Клии страшный глас  
За сими страшными стенами,

Калигулы последний час  
Он видит живо пред очами.

Но вот что удивительно: несмотря на все отвращение и ненависть к тирану, поэт с безошибочным моральным чутьем и свободой морального суждения видит всю отвратительность потаенного предательского цареубийства:

Он видит — в лентах и звездах,  
Вином и злобой упоенны  
Идут убийцы потаенны,  
На лицах дерзость, в сердце страх . . .

О стыд! о ужас наших дней!  
Как звери вторглись янычары!  
Падут бесславные удары . . .  
Погиб увенчанный злодей.

Да, «злодей», но все же его убийство остается подпольным, предательским, зверским, бесславным — если вспомнить все, увидеть все, как было, то не радость ощущаешь, а «стыд и ужас». Иначе и не может чувствовать тот, кто при всей вольности своей был христианин, кто мог сказать, что «чувства добрые он лирой пробуждал». Но вот другая сцена цареубийства встает в воображении поэта: казнь Людовика XVI. Этого доброго семьянина, бесхарактерного и тяжелого на подъем, уж никак нельзя назвать тираном и злодеем; трудно найти о нем более верное слово, чем то, которое здесь стоит:

О, мученик ошибок славных,  
За предков в шуме бурь недавних  
Сложивший царскую главу.

Вдумайтесь в эти слова и перед вами встанет другая тень другого «мученика ошибок», идущих по преемственности от предков: тень последнего русского императора, по своему характеру столь похожего на последнего предреволюционного французского короля. Но здесь отвращение к цареубийству становится у поэта еще более глубоким и обоснованным: это не простое отвращение к убийству или казни, это осуждение преступления и беззакония, которые совершил народ и избранные им тираны, «убийца с палачами»:

Восходит к смерти Людовик  
В виду безмолвного потомства.  
Главой развенчанной приник  
К кровавой плахе Вероломства.  
Молчит Закон — народ молчит,  
Падет преступная секира . . .  
И се — злодейская порфира  
На галлах скованных лежит.

Таково гневное осуждение казни Людовика.

Вот, что значит настоящая свобода морального суждения, не признающая никаких лозунгов толпы, никакой тирании революционного комплекса. Для революционной власти и ее вождей всякого короля и императора полагается считать «деспотом», пирующим в роскошном дворце».

Я не знаю более свободного ума в России, нежели Пушкин. Вот еще пример: в известном смысле он сочувствует декабристам, как борцам за свободу, после их осуждения он их жалеет и утешает, он пишет стихотворение «Во глубине сибирских руд . . .», но его пронзительный насмешливый ум, его безошибочное зрение художника не могло не видеть всей бестолковщины этого первого интеллигентски-дворянского путча за «Конституцию».

Пушкин не знал страха вообще. Он был достаточно благороден и смел, чтобы сказать Николаю: «был бы с ними», но и достаточно умен, чтобы понять, что из этого ничего не могло выйти. Обо всем этом Пушкин мог говорить с Николаем I и так говорить, что Николай назвал его «самым умным человеком в России».

Конфликт власти и свободы составляет центральную тему зрелого драматического творчества Пушкина. Трагедия свободы есть вечная судьба человечества и вечная тема великих трагиков и поэтов от Эсхила до Шекспира

и от Шекспира до Гете, Шиллера<sup>2</sup> и нашего Пушкина.

Первым актом этой трагедии является патриархальная тиранья легального самовластия. Вторым актом является свержение тирании во имя революционной свободы. Третьим актом будет революционный террор и возникновение революционной тирании. Четвертый акт: свержение революционной тирании и торжество правовой свободы.

Для изображения этого постоянно повторяющегося ритма Пушкин берет французскую революцию как символ, как прообраз. И действительно, она осталась прообразом для философов, поэтов и политиков, осталась грозным символом и моральной проблемой. Не историю французской революции он изображает, конечно, а судьбу многих грядущих революций. С «Андреем Шенье» он отождествляет самого себя, обращаясь к той же самой богине свободы:

Открой мне благородный след  
Того возвышенного Галла,  
Кому сама средь славных бед  
Ты гимны смелые внушала.

Патриархальная монархия есть детство народов. Власть «царя-батюшки» есть продолжение отцовской власти. Но неизбежно столкновение сыновней свободы с отцовским самовластием, если только отец не освобождает сына добровольно<sup>3</sup>. Конфликт власти и свободы, подчинения и восстания — неизбежен и в личной, и в социальной жизни. Альберт восстает против злой воли отца («Скупой рыцарь»). Но и любящая власть может переживаться как тиранья. «Нет тирании сильнее, чем тиранья родительской любви», — сказал Шиллер. Вот почему никакая патриархальная идиллия, никакой «просвещенный абсолютизм» (а действительно просвещенным он бывает весьма редко) не может уничтожить пробуждения свободы. Обычно она появляется в ореоле героизма и идеализма и содержит в себе благородный протест против преступлений и ошибок власти. Революция переживается как торжество, как радость освобождения. Это ее романтический, «жирондистский» момент. Так начинается второй акт исторической драмы:

Оковы падали. Закон,  
На вольность опершись, провозгласил равенство,  
И мы воскликнули: Блаженство!

Но это блаженство длится лишь один момент. Романтика и риторика революционной свободы сменяется отвратительной реальностью: священная свобода исчезает «в порывах буйной слепоты, в презренном бешенстве народа», скрывается в «кровавой пелене», в бунте «бесмысленном и беспощадном». Пушкин и Шиллер оба — поэты революционной свободы, одинаково изображают это «презренное бешенство» (см. «Песнь о колоколе» Шиллера). Что здесь появляется некая «бесовская одержимость», в этом не сомневались ни Достоевский, ни Толстой. И сколько раз еще она появлялась и будет появляться во всякого рода «освобождениях»!

Но бунт и хаос произвола проходят быстро, как стихийное бедствие. Начинается новое действие драмы, еще более мрачное и как бы безнадежное. «Слабосильные бунтовщики не могут вынести своей свободы и ищут пред кем преклониться» (Достоевский). Возникает «Совет народных комиссаров» и «Революционный трибунал» (термины французской революции): «Совет правителей бесславных, сих палачей самодержавных...»

Но эти «советы» мало с кем советуются. Не существует никакой диктатуры класса или партии, всякая диктатура в конце концов единолична. Всякая свобода, даже внутри правящей партии уничтожена:

Над трупом вольности безглавой  
Палач уродливый возник...

Певец

<sup>2</sup> «Скованный Прометей», «Юлий Цезарь», «Кориолан», «Эгмонт», «Вильгельм Телль», «Дон Карлос».

<sup>3</sup> «Увижу ль наконец народ освобожденный и рабство, павшее по манию царя?»

Перстом он жертвы назначал...

Жертвы — из собственной якобинской партии. Здесь трагизм свободы достигает своего высшего напряжения: всякая «вольность» умерла, воля и сопротивление обезглавлены. Вот какими словами «вольный гений» нашего Пушкина выражает ужас и горе второй тирании:

О горе! О безумный сон!  
Где вольность и закон? Над нами  
Единый властвует топор.  
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами  
Избрали мы в цари. О ужас! О позор!

Такова удивительная диалектика революции, таков ее повторяющийся ритм: революция уничтожает ту самую свободу, ради которой она возникла, и рождает тиранию, стремящуюся сохранить самое себя, т. е. снова «консерватизм» и реакцию, всего более боящуюся новой революции и нового восстания свободы. Нагромождение грехов и ошибок легальной власти отмщается нагромождением злодеяний беззаконной тирании.

И все же идеал свободы не может быть уничтожен. Никогда «вольность» Пушкина не вступит на путь чистой реакции, на путь «Великого Инквизитора», на путь Победоносцева; никогда он не скажет злорадно: вот до чего доводит ваша свобода! Напротив, более чем когда-либо, свобода остается для него священной, и он верит в ее конечную победу:

Но ты, священная свобода,  
Богиня чистая, нет — не виновна ты,  
В порывах буйной слепоты,  
В презренном бешенстве народа,  
Сокрылась ты от нас: целебный твой сосуд  
Завешен пеленой кровавой:  
Но ты придешь со мщением и славой, —  
И вновь твои враги падут.

И верит поэт, что никто и никогда этой исконной стихии вольности укротить, закабалить и подавить до конца не сможет. Всякая тиранья осуждена на падение и морально, и природно. Да, это так, — подтвердит ученый, академик Павлов: рефлекс свободы есть безусловный рефлекс или неискоренимый инстинкт. Поэт имел основание верить в падение второго самодержавия, как он верил в падение первого:

И час придет... и он уж недалек:  
Падешь, тиран! Негодованье  
Воспрянет наконец. Отечества рыданье  
Разбудит утомленный рок.

Однако времена и сроки здесь неизвестны. Ритм истории не есть астрономический ритм и точные предсказания здесь невозможны: «историк не астроном и провидение не алгебра» (этот замечательный афоризм тоже принадлежит Пушкину). «Термидор» может длиться много лет, может длиться и столетия и кончиться вместе с гибелью государства. Рим никогда не восстановил республиканских свобод и погиб, когда империя потеряла свою правовую основу. В каком-то смысле Пушкин прав: «Свободой Рим возрос, а рабством погублен». Трагедия свободы как раз и заключается в этой неизвестности: а что если это конец? Победа абсолютного зла может казаться окончательной: тиранья умеет сохранять себя; народы могут приспособиться и покориться. Отсюда рождается безнадежность и резиньяция и презрение к человеку:

Паситесь мирные народы!  
Вас не пробудит чести клич,  
К чему стадам дары свободы:  
Их должно резать или стричь.

Однако это лишь проходящий момент, гений свободы не может «оставить надежду навсегда». Третье действие не есть последнее. Зло, как и болезнь, не обладает вечностью, оно кончается или смертью, или выздоровлением и искуплением. Пока существует жизнь, существует и рефлекс свободы. «Чести клич» еще звучит в душе. Против второй тирании, основанной и скованной могучей

поток свободы, поэт призывает вторую революцию, более мощную и стихийную, чем первая:

Кто, волны, вас остановил,  
Кто оковал ваш бег могучий . . .  
Где ты, гроза, символ свободы?  
Промчись поверх невольных вод.

Четвертое действие истории есть неизбежная ликвидация второй тирании и второго самовластия («сих палачей самодержавных»). Но как сделать, чтобы этот процесс не был вечным возвращением, вечной сменой революции и реакции? Ни то, ни другое не дает истинной свободы. Подлинная свобода есть свобода творчества, но творчество требует известного покоя, порядка жизни. Перманентная революция так же неблагоприятна для творчества, как и тирания. Вот почему Пушкин выражает свой социальный идеал следующими словами:

«народов вольность и покой».

И они достижимы лишь там, «где крепко с вольностью святой законов мощных сочетанье». Иначе говоря, свобода обеспечивается и реализуется только в формах права и справедливости. Выражаясь современным юридическим языком, мы можем сказать, что мудрость Пушкина, пророческая мудрость состояла в том, что в свой «жестокий век» он утверждал ценность либерального правового государства, за которое человечество все еще принуждено бороться. Сам он называл себя «либералом». Всегда и всюду он был и навеки будет с теми, кто выбирает свободу, а не тоталитарное подчинение власти, хотя бы оно обеспечивало каждому «печной горшок», полный каши, который «поденщику, рабу нужды, забот — всего дороже». Но что такое «тоталитарная власть», что такое самовластие и кого можно назвать тираном? Простой и точный ответ гласит: того, кто свою власть и силу ставит выше права и закона<sup>4</sup>. Тираном может быть масса со своими вождями, сам народ в своем «презренном бешенстве» или его властители и цари:

И горе, горе племенам,

Где иль народу иль царям  
Законом властвовать возможно!

Только свободное правовое государство оправдывает власть, дает ей право на существование (иначе она «от дьявола»). Пушкин говорит царям и властителям:

Склонитесь первые главой  
Под сень надежную Закона  
И станут вечной стражей трона  
Народов вольность и покой.

Иначе власть будет непрестанно воздвигаться и свергаться. Самодержавие византийское и русское знает смену отцеубийств и сыноубийств. Некто назвал такой государственный строй «монархией, ограниченной царевубийством».

Но мудрость Пушкина идет глубже: закон, определяющий строй жизни в государстве, закон, установленный законодательной властью и соблюдаемый властью, не есть тем самым абсолютный и вечный закон. Пока он не отменен, он должен соблюдаться в качестве «позитивного права», «позитивного закона» или декрета, но он подлежит оценке с точки зрения высшей правды и справедливости, которая может требовать его отмены или изменения.

Что же такое этот «высший закон», стоящий над правом, государством, народом и властью? С религиозной точки зрения это высший божественный закон правды и справедливости; с точки зрения философии права — эта высшая идея естественного права или справедливого права. Она ставит перед правовым государством вечную задачу совершенствования, исканий большей гармонии и справедливости. С поразительной краткостью и точностью Пушкин формулирует эту высшую правду:

Владыки! . . . . .

Стоите выше вы народа,  
Но вечный выше вас Закон!

Никакой позитивный закон, никакой кодекс законов — не вечен; поэтому «вечный закон», стоящий над народами и властью, может означать только вечную идею, вечную задачу справедливого права.

Пушкин принадлежал к тому типу людей, которые не желают ни управлять, ни быть управляемыми, свободны и от похоти господства, и от похоти лакейства. «Вольность» Пушкина есть наша «вольность», а наша «вольность» есть всемирная вольность. Поэт, как и романист, ставит трагические проблемы, но не решает их в смысле научного или философского решения. Не дело поэта создавать политические доктрины. Но интуицию высших принципов он имеет; «божественный глагол» он слышит и что свято и что презренно — он чувствует и передает свое чувство со стихийной силой, «глаголом жжет сердца людей». Если верно, что «поэты — по слову Платона — суть учителя мудрости», то пророческая мудрость есть высший дар поэта. Его Пушкин обладал и ее ценил выше всего:

Поэт казнит, поэт венчает,  
Злодеев громом вечных стрел  
В потомстве дальнем поражает.

II

## ВОЛЬНОСТЬ ПУШКИНА (Индивидуальная свобода)

Революционная свобода, политическая свобода, гражданская и правовая свобода не исчерпывают и не выражают подлинной сущности свободы, а являются лишь условием ее возможности, лишь путем ее достижения и защиты. Истинная глубина и высота свободы раскрывается лишь в конкретной жизни личности, в личности индивидуальной и личности народной. Право и государство есть лишь организация такой свободы. Пушкин жизненно ощущал и творчески выразил всю многозначительность свободы, все ее ступени, понял ее глубину и ее высоту. Низшая, глубинная, иррациональная свобода переливается как своеволие страстей («страстей безумных и мятежных так упоителен язык») или, если заглянуть еще глубже, — как бессознательная, стихийная мощь души. Чтобы сразу понять, о какой свободе здесь идет речь, надо вспомнить следующие изумительные строки Пушкина:

Зачем крутится ветер в овраге,  
Подъемлет лист и пыль несет,  
Когда корабль в недвижной влаге  
Его дыханья жадно ждет?

Зачем от гор и мимо башен  
Летит орел тяжел и страшен,  
На черный пеня? Спроси его.  
Зачем арапа своего  
Младая любит Дездемона? . .

Затем, что ветру и орлу  
И сердцу девы нет закона!  
Гордись, таков и ты, поэт,  
И для тебя условий нет!

То, что изображено здесь, есть космическая, природная, животная стихия, непонятная и непокорная человеческому закону, опасная и иногда губительная, и все же прекрасная.

<sup>4</sup> Ленин совершенно верно определяет «диктатуру», как власть, опирающуюся не на закон, а на силу.

в своей таинственной мощи. Ее заметил и угадал в Пушкине Гершензон: приведя этот изумительный и недоста-точно отмеченный стих, он говорит: «По беспредельной русской равнине, от полярного круга до теплых морей безудержно и бесцельно несется крутящийся вихрь и с ним безудержная русская душа. Эту русскую стихию знал уже Гоголь и изобразил в свободно и безудержно несущейся русской тройке . . . Куда и зачем — никто не знает.» Ее хорошо знал Тютчев («поэт всемогущ, как стихия»). Ее постоянно изображал Достоевский, знал и носил в себе Лев Толстой. Пушкина нельзя понять вне этой безумной стихийности его души. Напрасно так много говорят о его «трезвости и гармоничности» — это противоречит его юности, его женитьбе, его гибели. Может ли трезвый рассудок сказать: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья . . .»? Карамзин сказал о Пушкине: «Талант действительно прекрасный, жаль, что нет мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия». «Пир во время чумы» есть отрицание всякой трезвости и спокойной гармоничности. Песнь председателя названа «вольной, буйной, вакхической песнью». То, что воспевается здесь, есть противоположность трезвости, т. е. опьянение, противоположность разумности, т. е. безумие. Тютчев понимал значение подобных песен: «О, страшных песен сих не пой про древний хаос, про родимый . . .».

И вот приходится признать, что без известного безумья и опьянения поэзия невозможна. Художник творит в некоем божественном умоисступлении, — говорит Платон. Поэзия творит «как во сне», бессознательно, как Пифия. «Горячка рифм», «поэзии священный бред» свободен от всякого разумного влечения. Однако на одном безумии нельзя построить поэзии и вообще искусства: нужен еще и ум. И он был у Пушкина, и очень трезвый и пронизывающий, и если в жизни ему не хватало благоразумия, то в поэзии его была мудрость. Искусство не есть хаос, не есть космос, т. е. красота, и она создается из хаоса, из стихийной игры сил. Искусство имеет в себе эти два элемента: сознание и бессознательное, Аполлон и Дионис, гармония и диссонанс, священное безумие и святая мудрость, и только такая гармония ценна, которая разрешает диссонанс. «Красота спасет мир», — говорил Достоевский. Об умной красоте, несотворенной красоте говорят св. Серафим Саровский и о. Сергей Булгаков. И недаром и не всуе эпитет «божественно прекрасного» так часто применяется к высокому искусству. Чуткость к прекрасному дана русскому народу, об этом свидетельствует наша музыка, наша поэзия и прежде всего Пушкин. Но служение красоте, поклонение красоте, даже восприятие красоты есть свобода, освобождение духа и не терпит никакого насилия, никакого принуждения. Можно принудить к лести и притворству, к подхалимажу, но нельзя принудить к тому, чтобы нравилось то, что не нравится. Подлинное искусство есть всегда «вольное искусство».

Пушкин дает, конечно, не философию свободы, а поэзию свободы; но его поэзия имеет в себе мудрость, и эту мудрость в одежде красоты легко угадать философу. Вот в чем она состоит: свобода ценна на всех своих ступенях, от низшей до высшей. Неправда, что стихийность природных сил и страстей есть сама по себе зло. Напротив, она есть условие творчества, ибо космос творится из хаоса, и это одинаково верно для абсолютно Божественного творчества, как и для человеческих «искусств». Бог показывает Иову иррациональность таинственных, стихийных, божественных энергий в ответ на его требование законной справедливости и рациональной понятности Провидения. И после этого Иов склоняется перед этой тайной: «Господь говорит Иову из вихря: где ты был, когда я основал землю? Скажи, если обладаешь ведением . . . Открывались ли для тебя врата смерти? . . . Можешь ли ты связать узел плетя и узы Ориона разрешить? . . . Можешь ли ты понять, зачем существует глупый страус, смелый конь и страшный неуязвимый бегемот?» (Книга Иова, гл. 38—41).

И в человеке живут эти природные, космические силы; бессознательная свобода произвола дарована мне Богом, тем самым Богом, который меня «из ничтожества воззвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал» . . . Такова иррациональная глубина свободы, обособывающая ее низшую ступень, ступень стихийного произвола («малая свобода», по обозначению Августина). Но свобода уходит не только в глубину, но и в высоту. Под нею «бездна», но над нею «Дух Господень». Эту высшую ступень свободы («великая свобода», по Августину) Пушкин постиг через творчество. Подлинное искусство есть вольное искусство, гений — всегда «вольный гений». Но его вольность двоякая: она нуждается в низшей, стихийной, природной, космической свободе — и в высшей, духовной, мистической, Божественной свободе, в той свободе, о которой сказано: «Где Дух Господень — там свобода». В душе человека эта высшая свобода есть ответ на Божественный зов, призывающий его к творческому служению, к «священной жертве». Но эта жертва, это служение — не есть рабство, не есть даже «иго закона», но, напротив, добровольное призвание, которое есть свобода духа, та самая, о которой сказано: «к свободе призваны вы, братья!». Вольный гений воспринимает свое призвание, как служение красоте и правде, как служение поэтическое и пророческое; он слышит «Божественный глагол», он исполняет Божественную волю: «виждь и вземли!». И от нее получает высшую свободу духовного прозрения и постижения:

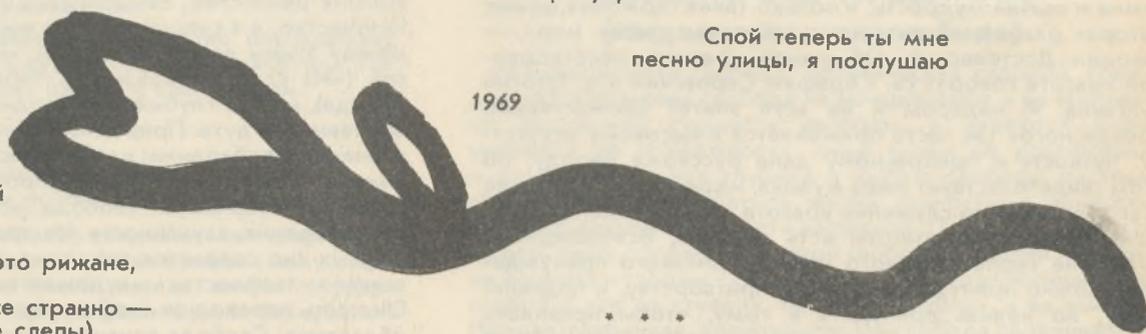
И внял я неба содроганье,  
И горний ангелов полет,  
И гад морских подводный ход,  
И дольней лозы прозябанье . . .

И еще другая свобода ему дана: свобода пророческого слова, не боящегося ни царства, ни священства, свобода «глаголом жечь сердца людей».

Такова высшая и низшая свобода. Между ними существуют градации, иногда взлет: от своеволия страстей к принятию высшей воли («Да будет воля Твоя»), от стихийных природных сил к творчеству культуры, к культуре высших ценностей, священных для человека. Свободное творчество, а в сущности и вся жизнь человека, движется между этими двумя полюсами, между глубиной и высотой («Из глубины воззвах к Тебе, Господи!» — Псалом Давида), между глубиной природных стихий и высотой Божественного духа. Природные силы, природные страсти и влечения, необходимые для творчества, даже для жизни, и вместе с тем их свободный произвол может «гибелью грозить». Творческая свобода есть преодоление хаоса, противоречия, случайности. Из противоборствующих природных сил создается гармония космоса. Таков принцип всякого творчества — художественного и морального. Оно есть переход от свободы произвола к свободе самообладания. Свобода означает автономию, самоопределение, самостоятельность: «я сам решаю, действую, выбираю, оцениваю». Но чем же именно обладаю «я сам»? Ответ: всеми душевными и телесными энергиями. Достоевский постоянно говорит об этом самообладании. Задача русского человека — овладеть бессознательной, стихийной силой, которую он чувствует в своей душе, русской стихией. В этом состоит моральная задача, условие морали. Пушкин отлично это сознавал, его моральное суждение отличается редкой правдивостью и точностью. Он никогда не смешивает добра и зла, никогда не ставит себя по ту сторону добра и зла, в нем есть глубокое чувство греха и раскаяния: «напрасно я стремлюсь к сионским высотам, грех гонится за мною по пятам», и далее: «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю . . .» Восхождение к высшей свободе совершается при помощи автономного, свободного морального суждения. Эта свобода морального суждения не нарушается у Пушкина никакими внешними воздействиями, никаким принуждением, никакой личной выгодой, никаким давлением общественного мнения, никаким социальным заказом.

# МОНТА КРОМА

Рига трагична.  
Многие рижане слепы:  
старые люди,  
подростки, дети . . .  
(Но те, кто зрячи, как раз сейчас  
лучше всего  
видят,  
они борются и создают Народный фронт.)  
Да, многие рижане слепы. Они  
длительный срок  
отбывали во тьме  
(куриная слепота старых понятий).  
Но это уже слишком поздно,  
теперь мы при свете,  
но многое слишком поздно.  
В руках у слепцов  
белые, прочные тросточки  
с набалдашничком. Цок-цок.  
Рука с тростью  
нащупывает дорогу,  
а зрячих  
хранит просто  
от нечаянного удара.  
А сойдя с тротуара,  
тонкую белую  
трость  
поднимают так,  
чтобы всякий встречный  
и поперечный  
не наскочил.  
Дорогу слепые знают, это рижане,  
что здесь родились.  
А приезжие, (как всё же странно —  
почти что все приезжие слепы)  
(тьма проникала повсюду  
и во многих местах сохранилась),  
да, так приезжие, они сидят по домам и  
установились в одну точку, ведь  
улиц Риги не знают они  
и к тому же тросточек лишены  
(те, кто зрячи, взяли за работу врача,  
спасают,  
пусть даже фактически это  
писатели,  
художники,  
учёные,  
крестьяне,  
рабочие).  
(Лечит ли и спасает кто-либо  
приезжих?)  
Детям, которые появляются на свет,  
которые играют при свете,  
я советую остерегаться углов,  
там всюду таится  
тьма.  
О Боже, моя Рига!



Послушай, я спою тебе  
песню улицы

Тро-тро-тро.  
Ту-ту-ту.  
Ар-ар. Тротуар.  
Тротуар и подошвы. И швы тротуара.  
Тротуар и шаги.  
Навстречу и мимо.  
И улица вверх течет,  
Как жужжащий живой эскалатор.  
Тротуары и ритм.  
Ритм и мысль.  
Ритм колышет над городом.  
Ритм твой волшебник,  
зачарованный город.



Тро-тро-тро.  
Ту-ту-ту.  
Мостовые, мосты.  
Ты-ты.  
Разве мы на ты?  
Разве мы на ты, незнакомец?  
Почему же шаги твои  
выстукивают — ты?  
Тро-тро-тро.  
Навстречу.  
Ту-ту-ту.  
Мимо.  
Тро-то. И стоп! И вдруг тишина. И машины летят без  
звука.

И я оглядываюсь в тишине.  
И ты оглянулся.  
В обычае города помахать рукой оглянувшись  
неопределенно.

Моей рукой.  
И твоей рукой в ответ.  
Тро-тро-тро.  
Ту-ту-ту.  
Расставания, встречи — это и есть город.

Ритм тротуара.  
Ритм тротуара.

Спой теперь ты мне  
песню улицы, я послушаю

1969

О, я была на том фронте,  
где оружие —  
пуля,  
это примитив,  
и —  
мысли там ни к чему.  
Но  
вот ты  
стоишь на трибуне,  
и у тебя есть оружие,  
твое оружие — слово,  
оле!  
И ты настолько же выразителен  
и напряжен,  
как слово.  
О, слово — это славное оружие.  
Словом  
можно добиться всего, что угодно.  
Ты — с оружием.  
Ты — опасен.  
И это всего прекрасней сегодня.



Нет, — я сказала ей, продавщице цветочного магазина. (Я лицо ее не запомнила, заурядная внешность).

Нет, — я сказала ей, — они без запаха, эти розы мне не годятся. (Она легко поднял шестой язычок пламени, подняла седьмой и держала так на весу, ну, разумеется, эти розы умели себя подать).

Нет, — сказала я ей, — эти розы задуманы для официальных торжеств, а я хочу для себя. (Пора бы ей догадаться и отложить их в сторону).

Нет, — сказала я ей, — потому что в Риге не найти аэрозоля с запахом роз, это я знаю точно. (И сама про себя тем временем рассуждала, что запах, наверное, отняли, чтобы взамен появилась выносливость. И еще я подумала, что селекционеры очень практичные люди, даже если дело касается роз. Но практичность отнюдь не признак современного мира. Наоборот: непрактичность. Ибо все вещи вокруг себя человек наделил практицизмом, чтоб самому непрактичным остаться. А роза не вещь, роза всегда настроение.)

Нет, — я сказала ей, — я хочу для себя, я жду, ко мне сегодня придут. Но она подняла семь огненных бликов и молвила самонадеянно и с превосходством, что розы эти долго не вянут. И я опустила голову, стыдясь ее ограниченности.

Нет, — я сказала ей, — утром они должны увянуть, право же, неприлично их видеть свежими утром, в конце концов это просто ужасно. (И, наконец, она отложила розы, и я вздохнула, ну как объяснить, если розы за ночь запахом не изойдут и к утру не увянут, можно будет подумать, что ничего и не было ночью.)  
Но я промолчала.

1970

Во мне ничего особенного.  
Воробей среди уличных воробьев.  
Промокший в дождь.  
Взъерошенный в стужу.  
От башмака — в кусты.  
И снова прыгаю, едва удалятся шаги.  
Воробей среди воробьев.  
Только лиловый.  
О если б не этот невыцветающий цвет...  
Цвет постоянства.  
Ты одиноко стоял бы

под косо летящим снегом  
на острове одиночества.

1968

Я соринка, высоко взметнул меня ветер  
и выдохнул в высокое твоё  
распахнутое окно.  
На твоём столе телефон  
с гнездами цифр,  
мне нужно только одно.  
Робко я приближаюсь  
и, затаив дыхание,  
укладываюсь в гнезде.  
Эхо пульса в пальцах твоих.  
Ты приступаешь к работе.  
На письменном столе твоём медленно  
растет жемчужина.

— Я ничего не желаю видеть. —  
Тяжелое слово легко произносится — тонкая спичка,  
тонкий голос,  
твой голос можно сломать.  
— Во мне ты меня не увидишь. —  
Дверь и дважды повернут ключ.  
Вот и ответ — пожар,  
спичка горит, горит  
мой сгораемый голос.  
Только глаза. Босиком.  
Только рот. Откровением.  
Спичка черна,  
догорела, и голос  
обуглился.

Как точно и кратко пишется фраза,  
если в ней ничего,  
кроме боли.

Ты взволнован?  
Да, сегодня легко дышать,  
ибо —  
проступает истина.  
Не верится, что я это написала,  
или —  
и вправду здесь и только истина?  
Мы знаем и цену  
лжи, равнодушия.  
Но это какой-то процент,  
топчущиеся.  
Как маска, снято проклятие.  
Во мне отражается политическая Латвия.

1988

## РОМАН С КОКАИНОМ

6.

Эта борьба между Буркевицем, Штейном и Айзенбергом, которую Штейн язвительно окрестил борьбой белой и грязной розы, эта борьба, в которой чрезвычайный перевес Буркевица чувствовался решительно всеми, закончилась тотчас, лишь только единодушное мнение класса было о ней громко высказано.

Это случилось совершенно случайно. Как-то, в начале ноября, утром, когда все расселись по партам в ожидании историка, в класс быстро зашел ученик восьмого класса с такой решительностью, что весь класс встал на ноги, приняв его за преподавателя. Послышались чрезвычайно витиеватые ругательства, причем настолько дружные, что ученик этот, нахально взойдя на кафедру и разведя руками, сказал: — простите, господа, но я не понимаю, что здесь, — арестантская камера для уголовных, в которой вошедшего товарища приняли за начальника тюрьмы, — или здесь шестой класс московской классической гимназии?

— Господа, — продолжал он с чрезвычайной серьезностью, — я прошу на минуту вашего внимания. Сегодня утром прибыл в Москву господин министр народного просвещения, и есть основание предполагать, что завтра, в течение дня, он посетит нас. Мне кажется, не к чему говорить вам о том, ибо вы это и сами знаете, какое значение имеет для нашей гимназии то впечатление, которое господин министр вынесет из этих стен. Совершенно очевидно также и то, что дирекция гимназии, не считая для себя возможным сговариваться с нами в смысле подготовки к такому посещению, будет, однако, смотреть с благожелательством, коль скоро нечто подобное будет предпринято нами самими. Господа, я попрошу вас теперь назвать мне вашего лучшего ученика, который должен будет сегодня вечером присутствовать на маленьком совещании, а завтра он, как ваш выборный, сообщит вам общее решение, которому каждый из вас, желающий поддержать должетную и незапятнанную честь нашей славной гимназии, подчинится беспрекословно.

Сказав это, он приподнял раскрытую книжонку к своим, видимо, очень близоруким глазам и, наострив в бумагу карандаш и моргая глазами, как это делает человек в ожидании звука, добавил: — так как фамилия?

И класс, ухнув гулом голосов, так что в стеклах дзыкнули сотни злых мух, заревел: — Бур-ке-виц. И даже сзади кто-то любовно добавил — выходи, Васька, — хотя и выходить было некуда и совершенно не нужно. Гимназист записал, поблагодарил и поспешно вышел. Игра была проиграна. Борьба закончена. Буркевиц стал первым.

И словно зная, что соревнованию пришел конец (хотя, может быть, еще и по другим каким причинам), вошедший в класс историк, садясь и потом злобно шаркая по кафедре ногами, тут же вызвал Буркевица, и, попросив рассказать текущий урок, прибавил: — попрошу вас держаться в рамках гимназического к-курса. И Буркевиц понял. Он начал рассказывать текущий урок, и рассказал его в духе гимназического курса, в духе незапятнанной чести нашей славной гимназии и в духе господина

министра народного просвещения, который в это утро прибыл в Москву.

— Если бы сопля меня не сделала человеком, то вместо человека я сделался бы соплей. — Так говорил мне Буркевиц во время выпускных экзаменов, после того, как произошедший скандал с гимназическим священником нас немного сблизил. Но это было уже в наши прощальные дни в гимназии. До этого же Буркевиц ни со мной и вообще ни с кем не говорил ни слова, продолжая считать нас чужими, и за все время, вне гимназической необходимости, сказал всего несколько слов Штейну по следующему поводу. Однажды, во время большой перемены, собравшаяся вокруг Штейна толпа гимназистов начала с ним беседу о ритуальных убийствах, причем кто-то с жестокой улыбкой спросил у Штейна, верит ли он, Штейн, в возможность и в существование ритуальных убийств. Штейн тоже улыбался, но когда я увидел эту его улыбку, у меня сжалось за него сердце. — Мы, евреи, — отвечал Штейн, — не любим проливать человеческую кровь. Мы предпочитаем ее высасывать. Ничего не поделаешь — надо быть европейцем. — Вот в эту-то минуту Буркевиц, стоявший тут же, вдруг неожиданно для всех впервые обратил к Штейну. — А вы, кажется, господин Штейн, — сказал он, — испугались здесь антисемитизма? А напрасно. Антисемитизм вовсе и не страшен, а только противен, жалок и глуп: противен, потому что направлен против крови, а не против личности, жалок потому, что завистлив, хотя желает казаться презрительным, глуп потому, что еще крепче сплочает то, что целью своей поставил разрушить. Евреи перестанут быть евреями только тогда, когда быть евреем станет не невыгодно в национальном, а позорно в моральном смысле. Позорно же в моральном смысле станет быть евреем тогда, когда наши господа христиане сделаются наконец истинно-христианами, иначе говоря людьми, которые, сознательно ухудшая условия своей жизни — дабы улучшить жизнь всякого другого, будут от такого ухудшения испытывать удовольствие и радость. Но пока этого еще не случилось, и двух тысяч лет для этого оказалось недостаточным. Поэтому напрасно вы говорите, господин Штейн, пытаетесь купить ваше сомнительное достоинство, унижая перед этими свиньями тот народ, к которому сами вы имеете честь, слышите ли, имеете честь принадлежать. И пусть вам будет стыдно, что я — русский, говорю это вам — еврею.

Я стоял молча, так же как и все. И, кажется, так же, как и все, в первый раз, в первый раз за всю мою жизнь испытывал острую и сладостную гордость от сознания того, что русский, и что среди нас есть хотя один такой как Буркевиц. Почему и откуда вдруг взялась во мне эта гордость — я хорошенько не знал. Я знал только, что Буркевиц сказал несколько слов, причем раньше, чем понял смысл его слов, я уже почуствовал в его словах какое-то особенное рыцарство, рыцарство личного самоуничтожения ради защиты слабого и обездоленного инородца, рыцарство, столь свойственное русскому человеку в национальных вопросах. И уже потому, что никто из нас не обругал Буркевица, что толпа, обступившая Штейна, быстро начала расходиться, словно не желая участвовать в недостойном их деле, и что некоторые говорили — верно, Васька, — правильно, Васька, молодец, — мне по-

казалось, что и другие испытывали совершенно то же, что и я, и что хвалят они Буркевица за то понимающее чувство национальной гордости, которое он этими словами им доставил. Но не испытывал, да и не мог, конечно, испытывать этих чувств сам Штейн. Резко отворачившись, злобно улыбаясь, он отошел к Айзенбергу и, просунув свои громадные белые пальцы за ремень Айзенберга и так притягивая его к себе, о чем-то тихо ему не то говорил, не то спрашивал.

В первые затем минуты я испытывал некоторую смутную неприязнь к Штейну. Однако неприязнь эта быстро прошла, поскольку я сообразил, что если бы тогда, — во время перемены, — когда приходила в гимназию с конвертом моя мать, и я, поступив точно так же, как и Штейн, — отрекся от нее, полагая, что тем самым спасаю свое достоинство, — что если бы тогда к нам подошел бы тот же Буркевиц и сказал бы мне, что негоже сыну совеститься и отречься от своей матери только потому, что она старая, уродливая и оборванная, — а что должно сыну любить и почитать свою мать, и тем больше любить, и тем больше почитать, чем старее, дряхлее и оборваннее она, — если бы случилось тогда во время перемены нечто подобное, то весьма возможно, что те из гимназистов, что спрашивали меня о шуте гороховой, и согласились бы с Буркевицем, и может быть, даже поддакнули бы ему, — но я-то, я-то сам уже конечно испытывал бы этот стыдный момент, не столько навязываемую мне каким-то посторонним любовь к моей собственной матери, сколько вражду против этого вмешивающегося совершенно не в свое дело человека.

И, движимый этой общностью чувств, я подошел к Штейну и, крепко и тесно обняв его за талию, пошел с ним в обнимку по коридору.

## 7.

За две недели до начала выпускных экзаменов, в апреле, когда война с Германией бушевала уже полтора с лишним года, все близко окружавшие меня гимназисты, а в том числе и я, потеряли к ней решительно всякий интерес.

Я еще хорошо помнил, как в первые дни объявления войны я был очень взволнован, и что волнение это было чрезвычайно приятным, молодецким и, пожалуй, даже просто радостным. Целый день я ходил по улицам, нераздельно смыкаясь с — точно в пасхальные дни — праздной толпой, и вместе с этой толпой очень много кричал и очень громко ругал немцев. Но ругал я немцев не потому, что ненавидел их, а потому только, что моя ругань и брань были тем гвоздем, который, чем больше я его надавливал, тем глубже давал мне почувствовать эту в высшей мере приятную общность с окружающей меня толпой. Если бы в эти часы мне показали бы рычаг и, предложив его дернуть, сказали бы, что при повороте этого рычага взорвется вся Германия, взорвутся покалеченными, что при повороте этого рычага ни единого немца не останется в живых, — я бы не задумываясь дернул бы за этот рычаг, а дернув, с приятностью пошел бы раскланиваться. Слишком я уж был уверен, что если такое было бы осуществимо и осуществлено, то эта толпа исступленно, дико ликовала бы.

Вероятно, именно это духовное соприкосновение, эта сладенькая общность с такой толпой, помешали моему воображению разыграть тем образом, который возник во мне через несколько дней, когда, лежа в темной комнатенке моей на диване, представилось мне, что на помосте посередине большой площади, заполненной толпой, приводят мне белого германского мальчика, которого я должен зарубить. — Руби его, — говорят, нет, приказывают мне, — руби его на смерть, руби по башке, руби, ибо от этого зависит твоя жизнь, жизнь твоих близких, счастье, расцветы твоей родины. Не зарубишь — будешь наказан жестоко. — А я, глянув на белокурое темя этого немецкого мальчика и в его водянистые и умоляющие глаза — отшвыриваю топор и говорю: — воля ваша, я отказываюсь. И слышав мой ответ, этот мой жертвенный

отказ, толпа, дико ликуя, хлещет в ладоши. Таково было мое мечтание через несколько дней.

Но как в моем первом представлении, где, простым поворотом рычага уничтожая шестьдесят миллионов людей, я руководствовался отнюдь не враждой к этим людям, а только тем предполагаемым успехом, который выпадал бы на мою долю, сверши я нечто подобное, — так точно в моем отказе зарубить этого стоящего перед моими глазами мальчика я руководствовался не столько страхом пролития чужой крови, не столько уважением к человеческой жизни, сколько стремлением придать своей личности ту исключительность, которая тем больше возвышалась, чем большее наказание ожидало меня за мой отказ.

Уже через месяц я остыл к войне, и если, с подогретым восхищением читая в газете о том, что русские побили где-то немцев, приговаривал при этом: так им и надо, сволочам, зачем полезли на Россию, — спустя еще месяц, читая о какой-нибудь победе немцев над русскими, точно так же говорил: так им и надо, сволочам, не лезли бы на немцев. А еще через месяц вскочивший у меня на носу чирей бесил, заботил и волновал меня если не больше, то уж во всяком случае искреннее, чем вся мировая война. Во всех этих словах, как — война, победа, поражение, убитые, пленные, раненые — в этих жутких словах, которые в первые дни были столь трепетно живыми, словно караси на ладонях, в этих словах для меня обсохла кровь, которой они были писаны, а обсохнув, превратилась в типографскую краску. Эти слова сделались как испорченная лампочка: штепсель щелкал, а она не вспыхивала, — слова говорились, но образ не возникал. Я уж никак не мог предполагать, что война может еще искренне волновать людей, которых она непосредственно не затрагивает, и так как Буркевиц вот уже три года совершенно не общался ни со мной, ни вообще с кем-либо в нашем классе, то мы вследствие сего и не могли, конечно, знать его мнений о войне, будучи, впрочем, уверены, что оно никак не может быть иным, чем наше. То обстоятельство, что Буркевиц не присутствовал в актовом зале во время молебствия о ниспослании победы, было вообще не замечено, и вспомнили об этом только уже после происшедшего столкновения, — касательно же его постоянного манкирования уроков по изучению военного строя, введенного в гимназии вот уже несколько месяцев, то это было толкуемо то ли его нездоровьем, то ли нежеланием отдавать свое первенство, хотя бы физическое, посредственному Такаджиеву, оказавшемуся замечательно ловким и сильным парнем. И присутствуя при этом ужасном столкновении, я в своем невежестве даже не знал, что слова, говоримые Буркевицем, — это только тот гром от той молнии, которая вскинулась вот уже много десятков лет тому назад из дворянского гнезда Ясной Поляны.

## 8.

В нашем выпускном классе был пустой урок. Заболел и не явился словесник, и наш класс, стараясь не шуметь, дабы не потревожить занятий в шестом и седьмом классах, наружные двери которых выходили в это же отделение, тихо бродил по коридору. Начальства не было. Классный наставник, полагаясь на нас, которых он теперь называл — без пяти минут студенты, — отлучился в классную нижних этажей. Настроение у большинства было приподнятое: через десяток дней начинались выпускные экзамены — последний гимназический этап.

У большого трехстворчатого окна, что у самой двери, собралась небольшая группа гимназистов с Ягом посередине, который о чем то тихо, но оживленно рассказывал. Кто-то из окружающих, возражая, прервал Яга, но Яг, видимо обозленный, забыв о необходимости говорить полупшепотом, громким окриком выругался матерно. В это самое мгновение большинство уже заметили, в чем дело, и вся группа начала перестраиваться из

круга лицом к Ягу, — в полукруге лицом к гимназическому батюшке. Никто, однако, не слышал, когда и как он вошел в дверь.

— Как вам не стыдно, дети, — сказал он, выждав, пока все заметили его присутствие, и обращаясь ни к кому, и потому ко всем, своим укоризненно-сладковатым, старческим голосом. — Подумайте о том, — продолжал он, — что через несколько лет вы уже войдете полновластными гражданами в общественную жизнь великой России. Подумайте о том, что те унижающие слова, которые я имел здесь несчастье слышать, ужасны по своему смыслу. Подумайте о том, что, если смысл такого ругательства и не доходит до вашего сознания, то это не оправдывает, а еще больше вас осуждает, потому что доказывает, что эти ужасные слова употребляются вами ежечасно, ежеминутно, что они — эти слова, перестав быть для вас ругательством, стали изобразительным средством вашей речи. Подумайте о том, что вам выпало счастье изучать музыку Пушкина и Лермонтова и что этой-то музыки ждет от вас наша несчастная Россия, этой и никакой другой.

По мере того как он говорил, глаза стоявших перед ним гимназистов становились какими-то тупыми, непропускающими: можно было бы подумать, что во всех этих глазах отсутствует решительно всякое выражение, если бы не знать, что именно это отсутствие выражения должно выражать то, что они-то не ругались, и к ним все эти укоряющие слова нисколько не относятся. Но одновременно с тем, как глаза и лица всей группы становились все более безразлично-скучающими, — глазки Буркевица, который теперь только тихо подошел, делались все более живыми и озорными, губы его тонко разлезались в злую улыбку, — и слова священника, словно иголки, бросаемые в полукруг этих каменных глаз и лиц, уже независимо от воли бросающей их руки слетались и клеились к намагниченной точке буркевицевской улыбки. Выходило, будто ругался Буркевиц, и последние слова о Пушкине и Лермонтове относились уже всецело к нему.

— Вы, батюшка, — возразил Буркевиц тихим и страшным голосом, — знакомы, видимо, с господами Пушкиным и Лермонтовым только по казенным хрестоматиям и считаете более близкое знакомство с ними, поскольку оно опровергает ваше мнение, излишним.

— Да, — твердо возразил батюшка, — для вас я считаю дальнейшее знакомство с этими писателями излишним, как считаю необходимым, прежде чем подарить ребенку розу, срезать с нее шипы. Вот как. А теперь позвольте еще раз всем вам напомнить, что ругательские слова, которые я здесь слышал, недопустимы и недостойны христианина.

Последние слова он сказал резко, старой своей, чуть дрожащей рукой поправляя крест на лиловой рясе. Почему же он продолжает стоять, почему не уходит, — подумал я, но посмотрел на Буркевица и понял. Лицо Буркевица как-то вдруг похудело, стало сырым и дергалось, глаза с пронзительной ненавистью смотрели прямо в лицо священнику. — Сейчас он его ударит, — подумал я. Буркевиц судорожно занес руки назад, словно поймал кого позади себя, сделал шаг вперед и с неожиданной, предприимчивой звонкостью заговорил.

— Ругательские слова, как вы изволили заметить, недостойны христианина. Что ж, против этого никто не возражает. Но уж если вы, служитель Бога, взяли нас на путь истинный, то не взыщите, коли я спрошу вас — где, в чем, когда и как проявили вы сами-то эти неведомые нам достоинства христианина, непременно выполнения которых вы решили нам здесь внушать. Где были вы, к слову сказать, с вашими достоинствами христианина, когда десять месяцев тому назад кроважидные толпы с цветными тряпками перли по улицам Москвы, толпы так называемых людей, по кровожадности и тупости своей недостойные сравнения со стадом диких скотов, — где были вы, служитель Бога, в этот ужасный

для нас день? Почему вы, поборник христианства, не собрали нас, детей, как вы нас называете, — здесь, в этих стенах, в этом доме, в котором вы взяли на себя смелость учить нас заповедям Христа, — где были вы, спрашиваю я вас, и почему молчали тогда, в день объявления войны, в день обнародования закона о поощрении братоубийства, — и вдруг заговорили теперь, подслушав сказанное здесь ругательство? Уж не потому ли, что братоубийство не столько противоречит, не столько идет вразрез с пониманием вами христианского достоинства, сколько сказанное здесь ругательство? Я признаю: ругаться так, как ругаются здесь, — непозволительно христианину, и вы правы, правы, что протестовали против услышанного ругательства. Но где же были вы, служитель Христа, где были вы все эти десять месяцев, когда каждодневно и каждоминутно у детей насильно отрывали и отрывают их отцов, у матерей их мальчиков, — чтобы отнять, насильственно же посылать в огонь, на убийство, на смерть, — где были вы все это время, и почему в ваших проповедях не протестовали против всех этих преступлений хотя бы так, как это сделали здесь по случаю услышанного ругательства? Почему? Почему? Уж не потому ли, что все эти ужасы тоже нисколько не противоречат христианскому достоинству? Почему вы, достойный страж христианства, нашли в себе наглость улыбаться и поощрительно кивать нам вашей священной головой, когда однажды, проходя по гимназическому двору, вы увидели, как нас, ваших детей, учат теперь ежедневно ружейным приемам, как нас учат искусству братоубийств? Чему же вы так поощрительно улыбались, глядя на нас, и почему молчали? Не потому ли уж, что учить детей ружейным приемам тоже не претит вашему христианскому достоинству? И как осмелились вы, прикрываясь именем Христа, нарочито презреть заповеди Того, Чьим светлым именем вы желаете оправдать вашу жалкую жизнь, как посмели вы молиться, слышите ли, молиться о том, чтобы брат победил бы брата, чтобы брат покорил бы брата, чтобы брат убил бы врага? О каком враге вы теперь говорите? Уж не о том ли, о котором еще год тому назад вы сладким голосом вещали, что его должно и прощать и любить? Или, быть может, такая молитва о покорении, о насилии, об убийстве и уничтожении одним человеком другого — тоже не противоречит вашему пониманию христианского достоинства? Опомнитесь же вы, жалкий церковный чиновник, отупевший и разжиревший на народных харчах; опомнитесь и не оправдывайтесь тем, что ваши единоверческие сослуживцы, рискуя жизнью там, на полях ужаса, причащают умирающих и умиротворяют истекающих кровью. Не оправдывайтесь этим, ибо, как вам, так и им слишком хорошо ведомо, что ваша задача, что ваш христианский долг умиротворять не больных, уже истекающих кровью, — а здоровых, только еще идущих убивать. Так не уподобляйтесь же врачу, который сифилистические язвы лечит гольдкремом, и не пытайтесь оправдываться еще тем, что вы потворствуете этому страшному делу — из преданности монарху или правительству, из любви к родине или к так называемому русскому оружию. Не оправдывайтесь, ибо знаете вы, что ваш монарх — Христос, ваша родина — совесть, ваше правительство — Евангелие, ваше оружие — любовь. Так опомнитесь же и действуйте. Действуйте, потому что дорога каждая минута, потому что каждую минуту, каждую секунду люди стреляют, люди убивают, люди падают. Опомнитесь и действуйте, ибо люди и матери, и отцы, и дети, и братья, и все, и все — ждут от вас, именно от вас, чтобы вы — служители Христа, бесстрашно жертвуя вашими жизнями, вмешались бы в этот позор, и, встав между безумцами, крикнули бы громко, — громко потому, что вас много, вас так много, что вы можете крикнуть на весь мир: — люди, остановитесь, — люди, перестаньте убивать! Вот, вот, вот в чем ваш долг.

Глядя на то, как Буркевиц, странно взмахнув рукой, с завалившейся головой, страшно трясясь и шатаясь, прошел мимо нас и вышел за дверь на лестницу, — у меня

была только одна мысль: — пропал, эх, пропал ты, бедный Васька.

Лишь через мгновение, оглянувшись в противоположном направлении, я увидел, как красивым изгибом огладив косяк, исчезла в двери лиловая ряса.

И в ту же самую секунду, когда все бросились друг к другу, взволнованно говоря и махая руками, — где-то внизу начался глухой гул, грозно усиливаясь, словно в дом ворвалась морская вода, шел он сверху, — от дрожали окна и стены и пол, и наконец и в нашем коридоре гул этот разорвался оглушающим грохотом сквозь распахнувшиеся двери шестого и седьмого классов. Урок кончился.

## 9.

Чтобы не сообщать подробностей этого чрезвычайного происшествия двум младшим классам, заполнившим на время перемены коридор, — все мы зашли в класс.

— Это же идиот, ведь это же и форменный идиот, — говорил Штейн, кладя на плечо Яга свою белую руку, которая на черном сукне походила на расплескавшееся пятно сливок.

— Нет, Штейн, ты брат, не мешайся, — отстранился от него Яг. — Ты, можно сказать, европеец, а тут, брат, азиатское дело. Ты пойми: толкование талмуда не нарушено, а потому тебе волноваться не гоже.

И выждав, когда Штейн оскорбленно отошел к своей парте, Яг вполголоса обратился к возбужденной группе, скопившейся у окна.

— Ведь этому дивиться надо, — сказал Яг, — до чего наши еврейчики духовенство обожают: попа, ни Боже мой, не тронь, — все жиды взбунтуются.

— Такая сафпадение, — закачал головой Такаджиев, но никто не засмеялся. В группе шел горячий обмен мнений. Однако никому не давали высказаться, взволнованно перебивая, оспаривая, отвергая. Одни говорили, что Буркевиц прав, что война никому не нужна, что она губительна и прибыльна только генералам и интендантам. Другие говорили, что война дело славное, что не будь войн — не было бы и России, что нечего слюняйничать, а надо биться. Третьи говорили, что хотя война дело ужасное, однако, в настоящий момент вынужденное, и что если хирург во время операции и разочаровался в медицине, то это не дает ему еще права не докончить операции, уйти и бросить больного. Четвертые говорили, что хотя война нам и навязана, и что звание великого государства не допускает заговорить о мире, однако мысль Буркевица правильная, и что духовенство всего мира, исходя из единых принципов христианства, обязано было бы, даже не считаясь с опасностью преследования его военным законом, протестовать и бороться против дальнейшего ведения войны. Против последнего мнения возражал Яг.

— Эх, ребяташки, — говорил он. — Да о каких-таких это вы христианских принципах говорите? Да ежели Буркевицу-то эти самые христианские принципы так уж дороги, так с чего же это он, разрешите вас спросить, три года с нами ни единым словечком не обмолвился? Три года, подумать только. А что-ж мы ему худого сделали, что посмеялись? Да завидя этакую соплю, тут бы и лошади засмеялись. Да я такой соплю, прости Госсподи, за всю жизнь не видывал. Так с чего же это он волком смотрит, все укусить прилаживается. Не-ет, милые, тут дело иное. Ему война, можно сказать, как воздух необходима. Ему не христианства надобно, а его нарушения, — потому он паскуда бунтовать задумал. Вот оно что.

Я стоял поодаль и решал для себя: как могло все это случиться, что Буркевиц, лучший ученик, гордость гимназии, несомненный обладатель золотой медали, — как могло произойти, что этот Буркевиц погиб? То, что он погуб, было очевидно, потому что внизу, сегодня же, быть может уже теперь сзывают педагогический совет, который, конечно, единогласно выбросит его с волчьим

паспортом. Тогда прощай университет. И как же ему должно быть обидно, в особенности, когда все это за десять дней до выпускных экзаменов. (Я постоянно чувствовал, что человек испытывает свое отчаяние тем острее, чем ближе удалось ему приблизиться ко вдруг ускользающей от него конечной цели, — хотя я при этом прекрасно понимал, что близость цели нисколько не означает большую непременно ее достижения — чем с любой, значительно более отдаленной от этой цели, точки. В этом пункте у меня начиналось отделение чувства от разума, практики от теории, — где первое существовало наравне со вторым, и где оба — разум и чувство — не были в состоянии ни, помирившись, слиться воедино, — ни, поборовшись, один другого побороть.)

Но как же могло с Буркевицем случиться подобное? И что это: предумышленная расчетливость, или мгновенное безумие? Я вспоминал вызывающую улыбку, которой Буркевиц привлек на себя слова батюшки и решал: предумышленный расчет. Я вспоминал трясущуюся голову Буркевица и пьяный его шаг и перерешал: мгновенное безумие.

Меня крепко тянуло взглянуть на него, и эта тяга к Буркевицу тонко сплеталась из трех чувств: первое чувство было жестокое любопытство взглянуть на человека, с которым произошло большое несчастье; второе — было чувство молодечества по причине единичности моего поступка, ибо никто в классе даже не помыслил идти к тому, кто уже почитался зачумленным; третье — было чувство, сообщавшее мускулатуру первому и второму: уверенность в том, что мое приближение или даже беседа с Буркевицем никакими неприятностями со стороны начальства не грозит. На часах оставалось две минуты до окончания перемены. Выйдя из класса, протолкавшись вдоль по коридору, полному нестройного стука ног, звона голосов и вскриков, — я вышел на площадку лестницы. Притворив за собой дверь, отчего крики и топот ног, обманув ухо, затихли, и только через мгновение пришли заглушенным густым гулом, — я оглянулся.

Лестницей ниже, около двери карцера, который последние десять лет не был в употреблении, и на котором висел рыжий ржавый замок, — сидел Буркевиц. Он сидел на ступеньках, спиной ко мне. Он сидел раскорякой, с локтями на коленях, — с упавшей в ладони головой. Тихонько на носках и очень медленно по ступеням, я начал спускаться к нему, при этом все глядя на его спину. Его спина была выгнута горбом, — словно два острых предмета подоткнутых под шибко натянутое сукно — проступали лопатки, и в этой скрюченной спине и в этих вылезавших лопатках были и бессилие, и покорность, и отчаяние. Тихонько подойдя к нему сзади, все так, чтобы он меня не видел, я положил руку на его плечо. Он не вздрогнул и не открыл лица. Только спина его еще больше сгорбатилась. Все глядя на его спину, я осторожно перенес руку с его плеча на его волосы. Но только я прикоснулся к его тепловатым волосам, как почувствовал, что во мне тронулось что-то такое, от чего, если бы кто увидел, мне стало бы совестно. Оглянувшись так, чтобы это даже не было похоже на оглядывание, убедившись, что на лестнице пусто, я ласково провел рукой по жестким шоколадным вихрам. Это было приятно. Мне стало сразу так легко и так нежно, что я еще и еще раз провел по его волосам. Не отнимая рук от уткнутого в них лица, и потому не видя того, кто к нему подошел и кто гладит его волосы. — Буркевиц вдруг глухим сквозь ладони звуком произнес: — Вадим? С хрустальной грудью я сразу опустил и сел рядом с ним. Буркевиц сказал Вадим, он назвал меня по имени, и то, что он сделал это, не видя того, кто пришел к нему, означало для меня впервые быть отмеченным не за бессердечие молодечества, а за отзывчивость и нежность моего сердца. Мои пальцы сжались, захватили горячие у корней жесткие вихры волос, — и шибко дернув и вырвав лицо Буркевица из скорлупы закрывавших его ладоней, я повернул это лицо к себе, глаза в глаза.

Близко-близко я видел теперь перед собой эти маленькие серые глаза, странно измененные от отянутой к затылку кожи, где моя рука держала его за волосы. С секунду эти глаза в хмурым своем страдании смотрели на меня, но наконец, не смогли видно одолеть тугие мужские слезы, они, заложив свирепую складку промеж бровей, скрылись под веками. И тотчас, лишь только закрылись глаза, раздался незнакомый мне лающий голос. — Вадим. — Ты. — Милый. — Един. — Ственный. Веришь — Так тяжело. — Я. — От всей. — От души. — Веришь. — И впервые чувствуя как сильные мужские руки обнимают и тискают мою спину, впервые прижимаясь щекой к мужской щеке, — я грубым, ругающимся голосом говорил. — Вася... я... твой... твой... «Друг» я все хотел добавить, но «др» может еще сказал бы, а вот на «у» боялся расплакаться. И жестоко оттолкнув Буркевица, качнув его лицо, которое и закрытыми глазами, и бледностью своею, и коротким носом, походило на гипсовую бетховенскую маску, — я, с равнодушным ужасом сознавая то страшное, что собираюсь сейчас сделать, бросился вниз по лестницам. Я мчался по лестнице так, как мчатся за врачом для умирающего друга, мчался не потому, что врач может спасти, а потому, что в этом движении, в этой погоне должна ослабнуть та тяга на себе самом испытывать те страдания, вид которых возбуждал это совершенно непереносимое чувство жалости.

Лестница прошла. В подвальной обеденной зале ноги приспособляются к скольжению по сине-белой кафели. Последнее окно куском солнца задевает глаза, и сразу темная сырость раздевательной, — по ее асфальтовому полу подошвы влипают ввинченной уверенностью. И опять лестница наверх. Я уже знаю начало, — «как истинный христианин довожу до вашего сведения», — а дальше не важно, дальше пойдет как по маслу, по маслу, по маслу, — при этом я заносил ногу через три ступени и при нажиме кричал — на масле.

Шагать через три ступеньки, да еще такие высокие как в нашей гимназии, понуждало подниматься как бы распластаваясь по лестнице и низким наклоном головы. Поэтому-то я и не заметил, что на верхней площадке уже давно смотрел и поджимал меня змеиными глазами в похоронном своем сюртуке директор гимназии Рихард Себастьянович Кейман. Лишь за несколько ступеней я увидел прямо перед глазами растущие столбы его ног, которые отбросили меня так, словно выстрелили, но не попали.

Молча он некоторое время смотрел на меня малиновым лицом и черным клином бороды. — Тю тьякое с вами, — наконец спросил он. Его презрительно ненавидящее «тю» вместо «что», при котором его губы поцелуйно вылезли из под усов, — было той кнопкой, от которой восемь лет останавливались наши сердца.

Я позорно молчал.

— Тю с вами тьякое, — из презрительного баритона поднимая голос в разволнованный и тревожный тенор, повторил Кейман.

Мои руки и ноги тряслись. В желудке лежала знакомая льдинка. Я молчал.

— Я хачу зна, та с вами такая, — пронзительной фистулой и, чтобы не сорваться, меняя все гласные на «а», крикнул Кейман. Его взвизгивающие вопли, отдавшись об каменные потолки, пошли шатунами вверх по мраморной парадной лестнице.

Но, в то время как в перерывах между директорскими криками, я бесплодно пытался возбудить в себе, теперь все менее понятное и совсем выдохшее, чувство жалости к Буркевицу, которое привело меня сюда, — я одновременно чувствовал в себе все больше нарастающую силу, силу жестокого озлобления против красного Кеймана, который здесь на меня орал. И уже с радостью сознавая, что злоба эта даст мне нужное опьянение, чтобы не осрамиться и чтобы сказать те самые слова, которые я и раньше хотел сказать, — я все же смутно соображал, что хотя слова и останутся те же, однако под влиянием

смены чувства причина говорения мною тех же самых слов — переменялась; — ибо раньше я их хотел сказать из желания причинить боль самому себе, — теперь же единственно, чтобы доставить боль и оскорбить Кеймана. И выражением лица и звучанием голоса придавая каждому слову значимость озлобленного хлопка по красной директорской морде, — но в это мгновение, когда я уже задыхался от злобной ненависти, меня прервала горячая тяжесть легкой мне на затылок руки. И тут же повернутым глазом я увидел лиловую грудь и на ней шибко опускающийся и поднимающийся золотой молоток креста.

— Вы, Рихард Себастьянович, уж простите мне мое вмешательство, — сказал батюшка, курносое и старое лицо которого, оттого что я смотрел на него сильно скошенным глазом, двоилось и плыло. — Это он шел ко мне.

Сказав это, он, обнимая меня одной рукой за плечи, качнув глазами в мою сторону, потом взглянул на директора и многозначительно зажмурился. — У нас тут маленькое дело, совсем не гимназическое. Он шел ко мне.

Кейман из начальника вдруг сделался жуиром. — Но ради Бога, батюшка, я этого совсем не знал. Вы меня, пожалуйста, простите. — И сделал в мою сторону широкий пригласительный жест, которым на сцене хлебосолы зовут к заставленному яствами столу, Кейман, повернув нам спину, расстегнул сюртук, и, заложив руки в карманы и качаясь и шаркая так, словно подходил к даме, с которой будет сейчас вальсировать, — пошел к мраморной лестнице и тяжело кланяясь начал подниматься.

Между тем батюшка повернул меня к себе лицом и, положив свои руки мне на плечи, этим движением соединил меня с собой, точно параллельными брусками, на которых свернутыми флагами свисали широкие рукава его рясы. Теперь я стоял спиной к поднимающемуся Клейману, но, наблюдая глаза батюшки, обращенные мимо меня в сторону лестницы, я видел ясно, что он ждет, пока Кейман взойдет и скроется за лестничным поворотом.

— Скажите мне, — переводя наконец свой взгляд с лестницы на мои глаза, обратился ко мне батюшка, — скажите мне теперь, мой мальчик. Почему вы хотели это сделать? — И его руки на слове «это» слегка сдавили мне плечи. Но, уже примиренный и потому растерянный, я молчал.

— Вы молчите, мой мальчик. Ну что-ж. Позвольте мне тогда за вас ответить и сказать, что вы не сочли для себя допустимым, в то время, как ваш друг, как вы думаете, губит себя за правду Христову, оставаться невредимым, ибо правда эта вам дороже благоустройства вашей жизни. Ведь так, — да?

Хотя я в это время думал о том, что это совсем не так, и что от такого предположения мне даже становится совестно, — однако какая-то сложная смесь вежливости и уважения к этому старику побудила меня кивком головы подтвердить его слова.

— Но раз вы решились на подобный шаг, — продолжал он, — так уж наверно не сомневались, что первое, что я сделаю, это нажалуюсь, донесу обо всем, что произошло наверху. Не так ли, мой мальчик?

Хотя это предположение гораздо больше соответствовало истине, чем первое, — однако та же смесь вежливости и уважения удержала меня от того самого, к чему при первом вопросе побудила. И ни кивком головы, ни выражением лица не подтверждая правоты его предложений, — я выжидательно смотрел в его глаза.

— В таком случае, — сказал батюшка, глядя на меня какими-то по особенному расширившимися глазами, — в таком случае вы ошиблись, мой мальчик. Поэтому ступайте к вашему другу и скажите ему, что я здесь священник (он сдавил мне плечи), но я не доносчик, нет. — И батюшка, как-то сразу одряхлев и состарившись, словно потеряв всякую решительность, все больше затихающим голосом еще сказал: — А ему... пусть будет Бог судья, что старика

обидел; ведь у меня сын... (совсем тихо, словно по секрету) — на этой войне... (и уже без голоса, вышептавающими губами)... убит...

Еще в самом начале, когда батюшка начал говорить, — та близость к его бородатому лицу, к которой понуждали его положенные мне на плечи руки — была мне неприятна, и потому мне все казалось, что руки его меня притягивают. Теперь, однако, мне почувствовалось, будто руки эти меня отталкивают, — так ужасно захотелось мне придвинуться к нему поближе. Но батюшка вдруг снял руки с моих плеч, и сердито отвернув налившиеся слезами глаза, быстро-быстро пошел мимо лестницы вдоль по коридору.

Два чувства, два желания были сейчас во мне: первое — это прижаться к батюшкиному лицу, поцеловать его и нежно расплакаться; второе — бежать к Буркевицу, рассказать все и жестоко посмеяться. Эти два желания были как духи и зловоние: они друг друга не уничтожали, — они друг друга подчеркивали. Их расхождение было только в том, что желание прижаться к батюшкиному лицу тем больше ослаблялось, чем дальше по коридору он от меня уходил, — а терзающее желание выболтать радостную весть и погеройствовать, усиливалось по мере того, как я поднимался по лестнице к месту, где оставил Буркевица. И хотя я прекрасно знал, что излишняя восторженная торопливость очень повредит моему героическому достоинству, — все же не смог сдержаться и, едва приблизившись к Буркевицу, сразу тремя словами выхлестнул все. Но Буркевиц видимо не понял и, глядя поверх меня далеким и усталым от страдания взглядом, — рассеянно, как бы из приличия, переспросил. Тогда уже более спокойно и даже весьма обстоятельно я начал рассказывать ему, как было дело. И вот тут-то, пока я рассказывал, с Буркевицем начало делаться совершенно то же самое, что я однажды уже видел, наблюдая игру двух шахматистов. Пока на шахматной доске — один намозговал и сделал ход, — другой, не глядя на доску, видно чем-то расстроенный или возмущенный, разговаривал с сидевшими рядом людьми и размахивал руками. Его прервали — сказав, что противник сделал ход, и он замолчал и стал смотреть на доску. Сперва в его глазах еще светился тот хвостик мыслей, которых он не досказал. Но чем дольше он смотрел на доску, тем напряженнее становились его глаза, и внимание, как вода на промокашке, захватывало его лицо. Не сводя глаз с доски, он то морщась, чесал затылок, то хватал себя за нос, то выпячивая нижнюю губу — удивленно поднимал брови, то закусывая губу — хмурился. Его лицо все менялось, менялось, куда-то плыло, плыло, плыло, и наконец успокоилось, поставило точку своим усилием и улыбнулось улыбкой лукавого поощрения. И хотя я совершенно не разбирался в шахматах, однако, глядя на этого человека, я знал, что он своей улыбкой воздает должное противнику, и что в игре случилось нечто неожиданное, а главное — такое, что непреодолимо препятствует его выигрышу.

## СОНЯ

### 1.

Бульвары были как люди: в молодости, вероятно, схожие, — они постепенно менялись в зависимости от того, что в них бродило.

Были бульвары, где сетью длинных скрещивающихся красных палок отгораживался пруд, с такими жирными пятнами у берегов, словно в салютную кастрюлю налили воды, на зеленой поверхности которой паровозным паром проплывали облака, морщинившиеся, когда кто-нибудь катался на лодке, — и где тут же, неподалеку, в большом, но очень низком ящике, без крышки и дна, и наполненных рыжим песком, ковырялись дети, — а на скамьях сидели няньки и везали чулки, и бонны, матери читали книжки, и ветерок — качающимися обоями — двигал по их лицам, по коленям и по песку теневые узоры листьев.

Были бульвары шумливые, где играла военная музыка, и в медных начищенных трубах — красной ящерицей заплывал в небеса проходивший трамвай, где под звуки грозного марша становилось невозможно совестно, когда ноги против воли, как в стыдную яму, попадали в воинственный такт: где не хватало скамеек и близ музыки ставились раздвижные стулья с зелеными железными ножками и с сиденьями из ярко желтых пластинок, прорехи которых оставляли ступенчатые складки на пальто; и где под вечер, когда трубы пели про Фауста, — в ближней церкви начинали остро и мелко тилибинить колокола, будто предупреждая о том, что сейчас бархатным громом лопнет медный удар, от которого вальс трубачей вдруг послышится нестерпимо фальшивым.

И были бульвары на первый взгляд скучные — не будучи ими. Там серый как пыль песок был уже так перемешан с семячной скорлупой, что вымести ее было невозможно, — там писсуар формы приподнятого над землей, недоразвернутого свертка давал далекий и щиплющий глаза запах, — там вечером выходили в лохмотьях раскрасневшие старухи и силпыми, грамофонными, неживыми голосами за двугривенный разбазаривали любовь, — там днем, не обращая внимание на разорванный обруч и выпрыгивающую из него красавицу в трико, в персиковую ляжку которой вбитый гвоздь поддерживал этот цирковой соблазн, — шли мимо люди, шли не гуляя, а быстро, как по улице, — и если кто и присаживался на пыльную, пустую скамью, так разве уж для того, чтобы отдохнуть с тяжелой ношей, или нажраться спичками Лапшина, или — глотнув какойнибудь кислоты из аптекарского пузырька, — начавшейся болью остановить жизнь, и тут же в корчах свалиться на спину, навзничь, так — чтобы еще раз, в последний раз, увидеть над собой это жидкое московское небо.

Уже было лето, выпускные экзамены давно были кончены, — но кипятить в себе восторг по причине того, что я наконец студент, становилось все тяжелее, и заметно я начинал еще больше тяготиться наступившим бездельем, чем теми волнениями, которым оно являлось наградой. И только раз или два на неделе, когда у меня случалось несколько рублей, — примерно так, чтобы хватило заплатить за извозчика и за номер, — я выходил.

Эти несколько рублей, которые в месяц составляли до сорока, очень тяжело ложились на жизнь моей матери. Уже бессмысленно много лет она ходила в постоянно доштопываемом, разваливающимся, дурно пахнущем платье и в ботинках с косо сбитыми, кривыми каблукками, от которых, вероятно, еще больше болели ее опухшие ноги, — но деньги, когда она их имела, она мне давала радостно, — я же, брал их с видом человека, забирающего в кассе банка какую-то ничтожную мелочь, снисходительная небрежность которого при этом должна свидетельствовать о величине его текущего счета. Совместно на улицу мы не выходили никогда. Особенно я даже не скрывал того, что стыжусь ее рваной одежды (скрывая при этом, что стыжусь ее некрасивой старости), она знала это, и встретив меня раз или два на улице, улыбаясь своей доброй, будто извиняющей меня улыбкой, смотрела мимо и в сторону, чтобы не заставить меня ей поклониться, или к ней подойти.

В дни, когда у меня случались деньги, но всегда вечером, когда кое-где через один горели фонари, закрыты были магазины и пусты трамваи, — я выходил. В узких диагональных брюках со штрипками, которых уже давно не носили, но которые слишком хорошо обтягивали ноги, чтобы отказаться от них, в фуражке с обвисающими полями ширины дамских шляп, в мундире с высокими, выбивающими второй подбородок, суконным воротником, напудренный как клоун и с навазелиненными глазами, — так шел я вдоль по бульварам, как веткой цепляя взглядом глаза всех идущих навстречу мне женщин. Никогда и ни одну из них я, как это принято говорить, не раздевал взглядом, как и никогда не испытывал чувственности телесно. Шагая в том горячечном состоянии, в котором

другой быть может писал бы стихи, я, напряженно глядя во встречные женские глаза, все ждал такого же ответного, расширенного и страшного взгляда. К женщинам, отвечающим мне улыбкой, я не подходил никогда, зная, что на такой взгляд, как мой — улыбкой может ответить только проститутка или девственница. В эти вечерние часы ни одно воображаемое телесное обнимание не смогло бы так сразу пересушить горло, так заставить его задрожать, как этот женский жуткий и злой, пропускающий в самое дно, хлещущий взгляд палача, — взгляд, как прикосновение половых органов. И когда такой взгляд случался, а рано или поздно он случался непременно, я тут же на месте поворачивался, догонял глянувшую на меня женщину, и, подойдя, прикладывал белую перчатку к черному козырьку.

Казалось бы, что взглядом, которым эта женщина и я посмотрели друг другу в глаза, словно час тому назад мы совместно убили ребенка, — казалось бы, что таким взглядом сказано уже все, все понято и говорить больше решительно не о чем. На самом же деле все обстояло гораздо сложнее, и подойдя к этой женщине и сказав фразу, смысл которой состоял всегда как бы в продолжении только что прерванной беседы, — я принужден был еще говорить и говорить, дабы говоримыми словами вырастить и довести душевность наших отношений до соединения ее с чувственностью нашего первого сигнального взгляда. Так, в бульварных потемках, шли мы рядом, враждебно настороженные и все-таки как-то нужные друг другу, и я говорил слова, влюбленность которых казалась тем более правдоподобной, чем менее она была правдива. А когда наконец, руководимый той странной уверенностью, будто осторожность при нажатии курка — сделает выстрел менее оглушительным, я, — как бы невзначай, как бы между прочим — предлагал поехать в гостиницу и провести там часок, конечно лишь за тем, чтобы поболтать, и все это по причине-де того, что нынче погода (смотря по обстоятельствам) слишком холодная или слишком душлива, — то уже по отказу (отказ следовал почти постоянно), вернее по его тону, — взволнованному ли, возмущенному, спокойному, презрительному, боязливому или сомневающемуся, — я уже знал, есть ли смысл, взяв эту женщину под руку, спрашивать ее дальше, или же нужно повернуться и не прощаясь уйти.

Случалось иногда и так, что в то время, как я догонял одну женщину, только что зацепившую и позвавшую меня своим страшным взглядом, — другая женщина, в идущей мне навстречу толпе, тоже кидала мне такой же откровенно зовущий и жуткий взгляд. Пораженный нерешительностью и непреклонностью быстрого выбора, я тогда останавливался, — но заметив, что вторая оглянулась, поворачивался и шел вслед за ней, при этом все оглядывался на первую, которая уходила в противоположном направлении все дальше, и вдруг, заметив, что и она оглянулась, сравнивал снова обеих, не догнав второй, снова бросался в противоположную сторону за первой, часто не находил ее, успевшую далеко уйти,

толкал встречных, задерживающих меня людей, метался в поисках, и чем больше метался, чем дольше искал, тем искреннее верил в то, что она, именно она, которая звала, оглянулась и скрылась в этой проклятой толпе, — есть та мечта и совершенство, которую, как всякую мечту, не настигну и не найду никогда.

Вечер, начинавшийся неудачей — предвещал их целый ряд. После трехчасовой ходьбы по бульварам, после целого ряда неудач, — где одна неудача обуславливала другую, ибо с каждым новым отказом я все больше терял огневую терпеливую хитрость и становился груб, — этой грубостью вымещая на каждой новой женщине всю оскорбительность моих неудач у ее предшественниц, — я, усталый, измученный ходьбой, с белыми от пыли ботинками, с пересохшим от обид горлом, не только не испытывал чувственных потребностей, но ощущая себя таким бесполом, как никогда, — все-таки продолжал бродить по бульварам, словно какое-то горькое упорство, закусившее удила, какая-то горячая боль несправедливо отверженного удерживала меня, не пускала меня домой. Тяжелое чувство это мне было знакомо уже с детства. Однажды, когда я был еще совсем мальчиком, в начальный наш класс поступил новичок, который мне очень понравился, но с которым я, страдая уже тогда стыдливостью относительно выказывания своих душевных сторон, все не знал, как к нему подойти и как с ним сдружиться. И вот как-то, во время завтрака, когда мальчик этот вытащил пакетики и разворачивал свою булку, я, — желая шуткой начать наши отношения, — подошел к нему и сделал такое движение, будто хочу вырвать у него его завтрак. К моему, однако, удивлению новичок испуганно повернулся, зло покраснел и выругал меня. Тогда, заставив себя продолжать улыбаться, краснея за эту свою улыбку, и как бы спасая достоинство этой уже жалкой улыбки, я еще раз сделал движение, будто все-таки хочу вырвать у него его завтрак. Новичок развернулся и ударил меня. Он был старше и сильнее меня, и он побил меня, — но потом, когда я в дальнем уголке сидел и сопел и плакал, то слезы мои были особенно горьки не потому вовсе, что где-то болело, а потому что меня побили из-за трехкопеечной булки, к которой я потянулся не для того, чтобы ее отнять, а для того, чтобы под предлогом ее отнятия — подарить свою дружбу, отдать частицу своей души. Вот таким-то побитым я часто бродил в эти долгие московские ночи, и когда по мере того, как все безлюднее становились бульвары, и соответственно понижались требования, предъявляемые мною ко внешности искомой женщины, я наконец находил на все согласную жалкую шлюху, то в этот холодный, розовый и утренний час, подходя к воротам гостиницы, уже примиренный не желал от нее ничего, и если все же оставался и брал номер, то делал это больше из чувства своеобразной обязательности по отношению к этой женщине, нежели ради удовольствия для себя. Впрочем, может быть это вовсе неправда, потому что как раз в такие минуты во мне возникало, наконец, то ощущение явной чувственности, которое, как я предполагал, руководило мною весь вечер.

(Продолжение следует)



Иллюстрации **Айварса Рушманиса** к роману М. Агеева  
«Роман с кокаином».

Оформитель I, IV обложки — **Оярс Петерсонс**  
«РОДНИК», 1989, № 7, 1—80

50 коп.

Индекс 77110

# РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,

